1 р. 50 к.



ИНДЕКС 73274

Наш современник. 1991 №3. 1–192

НАШ СОВРЕМЕННИК №3 1991

ISSN 0027-8238

# НАШ СОВРЕМЕННИК

*Журнал писателей России*



№3 1991

*...Я верю в Россию. Если бы я не имел такой веры, я бы не в состоянии был ничего сделать.*

*П. А. Столыпин*



***Материалы о П. А. Столыпине читайте на стр. 151–155.***

# НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

## №3 1991





□

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

# *Содержание*


| | | |
|---|---|---|
| | **ПРОЗА** | |
| Борис ЕКИМОВ | **Гнездо поручейника. Рассказ** | 32 |
| Вадим САФОНОВ | **Литовский замок. Рассказ** | 48 |
| Валентин ПИКУЛЬ | **Барбаросса. Роман-размышление (продолжение)** | 79 |
| | **ПОЭЗИЯ** | |
| Светлана СЫРНЕВА | **Дар** | 3 |
| Евгений КУРДАКОВ | **Самый долгий век над моей страной** | 29 |
| Надежда МИРОШНИЧЕНКО | **Иду к тебе** | 77 |
| | ***Неизвестная поэзия русского зарубежья*** | |
| Ольга ИЛЬИНА | **Стихи** | 22 |
| | **ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА** | |
| Дмитрий ИЛЬИН | **«Русская идея» на полигоне «демократии»** | 5 |
| Александр АНИСИМОВ | **Судьбы России и мировые кризисы** | 130 |
| Анатолий САЛУЦКИЙ | **Начало конца или конец начала? Жестокие заметки (окончание)** | 139 |
| | ***Летопись России: история в лицах*** | |
| Вадим КОЖИНОВ | **Поиски будущего** | 125 |
| | ***Отечественный архив*** | |
| А. НИКОЛЮКИН | **В. В. Розанов и П. А. Столыпин** | 151 |
| В. РОЗАНОВ | **Историческая роль Столыпина** | 152 |
| | ***История Отечества: документы и судьбы*** | |
| Сергей МЕЛЬГУНОВ | **«Красный террор» (окончание)** | 156 |
| | ***Израильский публицист — гость журнала*** | |
| Роберт ДАВИД | **От Сталинграда до Багдада** | 162 |
| | **ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА** | |
| Александр КАЗИНЦЕВ | **Придворные диссиденты и «погибшее поколение»** | 171 |
| | **КРИТИКА** | |
| | ***Круг чтения*** | |
| А. В. МИХАЙЛОВ | **К новому Достоевскому** | 177 |
| Вячеслав ОГРЫЗКО | **Есть и вера, и свобода** | 179 |
| Нина ОРЛОВА | **Горький дар** | 181 |
| | ***Из нашей почты*** | |
| В. ХАНАДЕЕВА | **Наш брат — экватор?** | 182 |
| Г. М. МОИСЕЕВ | **Всем русским матерям** | 186 |
| М. МИХАЙЛОВ | **Что имеем — не храним...** | 187 |
| Сергей НОСОВ | **«Род правых благословится»** | 190 |

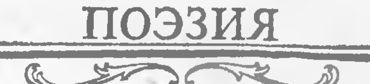


И. о. ответственного секретаря **З. С. Гуляевская**
Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-18 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-24-76 (отдел писем), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.12.90. Подписано к печати 18.03.91.
Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,23. Тираж 276 447 экз. Заказ 640

ИПО Союза писателей СССР, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.


**СВЕТЛАНА СЫРНЕВА**



## *ДАР*

* * *

К заветному дому, к железной скобе у ворот —
рукою подать: по траве переправиться вброд.
Есть вечная радость — упрямство стеблей укрощать,
последней, ничтожной преграды напор ощущать.
Цепляйтесь за полы и путайте ноги скорей
в бессильной попытке меня удержать у дверей!
Вот так я смеялась. И гул изошел из земли,
и я оступилась, и травы меня оплели.
Неслышно качаясь, дышала в лицо белена,
и явь принимала обличье тяжелого сна.
Как будто я — дерево в паре шагов от ворот;
я ветви тяну — но никто меня в доме не ждет;
и сруб почернел, и крыльцо зарастает травой,
и только столетья плывут над моей головой.

* * *

И когда, уходя, ты взглянул назад
и простился с тем, что вовек любил —
в белом инее был неподвижный сад,
и не дрогнул сад, словно нéжив был.
Он глядел вослед поверх бледных сел,
ледяной цветок, голубой кристалл,
и на всем пути тем же цветом цвел
всякий куст — и сердце тебе пронзал.
В белом поле врыт твой нетленный сад,
ни весны, ни лета не будет в нем.
Он, страдалец, быть может, на небо взят,
но и здесь студеным стоит столпом.

И в морозный день с голубых небес
тихо иней падет на тебя, бедняк,
как прощальный дар, запоздалый жест,
хрупкий знак родства и прощенья знак.

* * *

В темноте недвижимых ветвей,
в пустоте подлунной тишины
начинает песню соловей,
сам себе не знающий цены.
Тесный сад над ним переплетен,
душным воздухом оцеплен сад.
Пой, родимый, пой! Ты полонен,
ты, как сердце бедное, зажат.
Пой. Ты к месту своему прирос,
маленькое око не узрит,
как бездонный мир на сотню верст
переполненный тобой стоит.
Он в слезах расплавлен и слиян
с жалким склепом своего певца,
и в один великий океан,
потрясенный, весь перелился.
О, так лучше! Вечно, вечно пой,
наглухо упрятанный во тьме
вечный узник, вечный крепостной
с вечной темой о своей тюрьме.

* * *

Даже там, в темноте, через толщу
земли
мы весну различать научились.
Наши деды детьми в катакомбы
ушли,
внуки их в катакомбах родились.
И вовеки наш род не винил никого
и, надменный, не плакался, мучась.
Нас всегда было мало.
Не просто родство
нас связало — но общая участь.
И деля ежедневное бремя труда,
мы друг друга без слов понимали.
Сколько стоят огонь или хлеб и
вода
в подземелье, когда бы вы знали!
Ничего мы не создали.
Не умереть —
это все, что смогли мы. Наука
нам досталась: беречь,
и дыханием греть,
и спасать, и держаться друг друга.
О сестра, нам доступны веселье
и смех,
день настанет —
и праздник удастся,
но не пустим чужих.
Мы закрыты для всех,
неделимая черная каста.
Мы сильны. Наши очи привыкли
ко мгле.
Но, из недр выходя безоглядно,
мы совсем не умеем ступать
по земле
и в смятеньи уходим обратно.

* * *

Кто обманом, злом, кто честным
трудом
полагаем жить, отводя беду.
Но случится час — и сгорит
твой дом,
и повалит смерч дерева в саду.
И своей судьбы ни один народ
не предрек еще, да и как предречь?
Мировых стихий самовластный ход
в недоступной нам вышине течет.
И когда к рассудку доверья нет,
у пучины гибельной на краю
сердце ищет глупых земных примет
и по ним читает судьбу свою.







ДМИТРИЙ ИЛЬИН

# «РУССКАЯ ИДЕЯ» НА ПОЛИГОНЕ «ДЕМОКРАТИИ»

**Эти заметки не претендуют на откровения, в них не замышлялось даже так модное нынче свое «прочтение» великого наследия русской мысли. Автор ставил перед собой задачу более чем скромную: в безумной оргии беспамятства назвать нечто безусловное, забытое доверчивым русским сознанием, скрепить памятью назойливые повторы исторических лихолетий, удивляющих своей чудной схожестью.**

**Краткость заметок по теме сложной и неохватной не дает возможности избежать фрагментарности, коротких обмолвок, неочерченности смыслового разворота. Хочется верить, что все неизбежные издержки жанра с избытком восполнит уже во многом открытая для восприятия «русской идеи» память читателя...**

Словосочетание «русская идея», введенное в оборот Н. Бердяевым, строго говоря, лишено своей жизненной состоятельности, ибо понятие «идея» как нечто формулирующее, определяющее живой общественный организм едва ли применимо к явлению «русскости», которое определить и сформулировать решительно невозможно.

Однако терминология в литературе устоялась, и мы, прибегая к ней, будем иметь в виду особость, специфичность явления...

Сегодня на журналистском рынке спрос на новые, диковинные темы стал необычайно велик. И журнализм — форма особой вседозволенности — лихорадочно спешит оприходовать всё и вся. Так в оборот суетной, поверхностной мысли попала и «русская идея» — предмет иного, онтологического уровня мышления.

И, как это часто случается в массовой информативной индустрии, читательское восприятие быстро пообвыкло к модному понятию. Привычка неизбежно превратила его в стереотип, лишенный глубины и перспектив осмысления. Понятие «русская идея», по-другому сказать, уже обветшало в информативном потоке, оставаясь между тем нераскрытым по сути и глубине...

«Русскость» возможно воспринять только религиозным или, в широком смысле, философским сознанием, ибо «русскость» хотя и историческое образование, однако в силу особенных историко-географических факторов воплотило в себе одну из корневых основ человеческого бытия.

Как и любую особенность, бытийную черту «русской идеи» можно глубоко почувствовать в сравнении с любой другой, полярной ипостасью человеческого общежития.

Иначе говоря, «русскую идею» выявляет не сопоставление социальных систем по тарифам космополитической пропаганды, как это делается сплошь и рядом в поверхностном журнализме, а путем сравнения сущностно-исторических особенностей разных форм человеческих общежитий. Словом, так, как это делали все русские мыслители, рассматривая, в частности, вечную для нас дилемму «Россия — Запад»...

Человек — неповторимый микрокосмос вселенной. Его уникальность — одно из весомых слов природы. Уже сам факт бытия личности есть неоспоримая форма духовной свободы. Биологи, например, давно обратили внимание на птиц, сидящих на проводах, на то, что они никогда

не касаются друг друга, соблюдая между собой дистанцию и таким образом осуществляя предметно принцип свободы пространства для живого организма. А человек? Ему для раскрытия самого себя, для осуществления природной программы необходима как пространственная, так и духовная свобода.

Но...

Человек — роевое существо. Как немыслима одна пчела, один муравей, так и невозможен социально один человек. Хорошо это или плохо — риторический вопрос. Существенней другое — так распорядилась природа.

Вступая в социальную сферу, человек сталкивается с другой уникальной данностью — себе подобной, и в полном соответствии с двумя природными заданностями (индивидуальность и рой) возникают два равно возможных полярных варианта человеческого обще-жития, бытия:

— система деловых связей «свободных» индивидуумов (западная модель бытия);

— и соборное сознание, или образ «русской идеи».

## Часть I
## ЗАПАД. ИСТОКИ ТОТАЛИТАРИЗМА

Весьма обязывающий термин «демократия», как и многие гуманитарные понятия, давно утратил свои истинные, смысловые значения. Первоначально «демократия» предполагала общественную форму согласия при свободном волеизъявлении каждого. Однако по мере развития цивилизации идея согласия постепенно замещалась идеей борьбы, которая впрямую вытекала из нарождающейся свободной конкуренции в экономике.

Как же оказалась возможной борьба за существование, воспроизводящая на социальном уровне законы борьбы природы, в мире человека? Ведь человек, несомненно, выше, духовнее, «небеснее» материи?

Термин «демократия», то есть «народовластие», появился в античном мире, в сфере так называемого целостного, или синкретического, сознания. Мир в этом сознании был един: природа, материя, дух — все сливалось в целостное мироощущение, которое в конечном счете сводилось к религиозному чувству. Человек воспринимал мир как высшую целесообразность, где борьба не могла определять основание жизни, ибо в человеческом сознании всё друг друга взаимодополняло и обусловливало: в частности, материальное воспроизводилось для духовного, а не для самого себя.

В период зарождения материалистического мироощущения сознание человека утрачивает свою целостность и начинает жить по уже существующим в природе законам материального мира, основанным на БОРЬБЕ.

Таким образом, мир материальной деятельности, осуществляемый через борьбу, породил особый тип демократии — буржуазный. Мы вправе, следовательно, сказать, что такая демократия есть способ существования материи, материального мира, материальной деятельности. «Демократична», иными словами, материя.

Когда же «материальное» сознание человека проектирует борьбу за выживание из сферы материальной жизни на духовную, возникает неестественное, болезненное состояние духа. Борьба за выживание в области духа — это нонсенс, абсурд, ибо дух невозможно победить, отменить, запретить, заменить.

Но именно такой абсурд случился тогда, когда демократия (материальная сфера бытия) вторглась в область духа, когда в итоге борьбы появились победители — обладатели духовной истины не по праву ума, а по праву силы (денежной или групповой), ибо такова логика борьбы за выживание — побеждают сильнейшие.

Так в самой сердцевине буржуазной демократии зарождался новый тип власти, основанный не на авторитете, освященном Церковью, а на силе, победившей в борьбе.

Любая власть, какая бы она ни была, находится на вершине общественной пирамиды. На тонком «острие» этой вершины не может быть в принципе демократии — там, грубо говоря, нет места «для двоих». Природа власти исключает плюрализм на вершине пирамиды.

В этом смысле показателен спор Великого Инквизитора с Христом в романе Достоевского. Великий Инквизитор, ощущая духовную силу, исходящую от истины Христа, тем не менее считал возможным начать с ним диалог, ибо допускал, ничем не рискуя, плюрализм в духовной сфере, но исключал его в политической, категорически выдворяя Христа из сферы власти.

* * *

Хорошо известно, что при распаде авторитарных систем влиятельной силой в обществе становится так называемая масса, которую в идеологических догматах и политических играх часто называли и называют народом.

Между тем народ есть общественное единство, скрепленное нравственной созидательной идеей (правильнее — верой) и жизненно ее сотворящее. Монархия или вообще авторитарная власть, освященная Церковью, в самой наивысшей степени реализует в социальной жизни такое общественное единство, как народ.

Масса — это общественное единство





иного рода, появившееся органично в структуре борьбы, то есть в системе «демократии». Неистовый и артистичный Ницше предвосхитил, а позже многие философы Запада, и прежде всего Ортега-и-Гасет, рассматривали уже как социальную данность необузданное явление масс.

Во всей нашей так называемой «педагогике» учреждено имя Ницше как синоним чего-то самого ругательного и мрачного. Едва ли с этим можно согласиться. Во-первых, Ницше был философ, и уже одно это снимает с него всякую ответственность за социальную вульгаризацию его учения. Его деяния — мысль, а с нею можно только спорить. И чем шире и глубже, тем плодотворнее. Во-вторых, как и всякое серьезное философское учение, идеи Ницше в той или иной степени порождены какими-то важными и существенными изменениями в человеческом бытии. Ницше один из первых почувствовал на исторической арене новую социальную силу — массу.

Попытаемся вникнуть в суть дела.

Человек в период становления капиталистических отношений, преобретая внешнюю свободу и, следовательно, освобождаясь от социальной зависимости (будь то государство, помещик, феодал и т. д.), вместе с тем теряет иерархическое место в системе, основанной на обязенности, долге, вере, ответственности.

В сущности, это крайне простой для понимания процесс: прогресс не есть движение от худшего к лучшему, как принято думать,— это всего лишь приобретение одних качеств за счет потери других.

Страстная любовь к прогрессу, порой доходящая у либералов до паранойи, затемняет и вовсе изгоняет из массового сознания наиважнейшую мысль о неизбежных, а ныне приведших к трагической необратимости потерях.

Одним из самых опасных приобретений прогресса и стал феномен массы, заложивший основы тоталитаризма. Происходило это именно тогда, когда миллионы людей освобождались от общественных связей в авторитарной системе. Сонмище «свободных» и образовали в буквальном смысле слова не связанных друг с другом массу людей.

Легкосопоставимая аналогия (правда, как всякое сравнение, с известной долей условности) поможет нам ясно представить психологический подтекст новообразования. Вообразим себе некую боеспособную армию — дисциплинированную и идейно оснащенную. Но во что превращается она, лишенная этих обязательных стабилизирующих факторов? Наша Февральская революция дала исчерпывающий ответ на этот вопрос. Армия становится безликой, серой и бесформенной массой, с неистовой силой шарахающейся в сторону любого соблазнительного крика, способной круто повернуть в любой, самый непредсказуемый момент, готовой ломать и превращать в прах все, на что будет ловко направлена.

Л. Толстой в романе «Война и мир» изобразил мгновенно-импульсивный человеческий хаос в сцене бегства русской армии под Аустерлицем. Видимо, чем-то социально-существенным казалось писателю скопище «свободных», неуправляемых людей, именно в массе, в сборище представляющее собой некое новое качество, утратившее человеческие свойства. Эта тема прозвучит в том же романе и в сцене расправы с невинным Верещагиным, которую учинит толпа, натравленная главнокомандующим Москвы графом Ростопчиным,— только так, кровью невинного, удалось «накормить» и успокоить в горящей Москве толпу, ищущую выхода для своей ярости. «Народная толпа страшна,— успокаивает себя после злодеяния Ростопчин,— она отвратительна. Они, как волки: их ничем не удовлетворишь, кроме мяса».

В период «омассовления» общества представляется в высшей степени обоснованным появление философии «обуздания масс», которую наиболее последовательно выражали Ницше и Ортега-и-Гасет.

Таким образом, личная «свобода», хаотическая и затем умело организованная масса — это вовсе не преимущество и не недостаток, а естественная организация специфического обще-жития западного образца.

Разумеется, существует большая разница между массой-хаосом в критической ситуации (паника, война, например) и массой, которую необходимо ориентировать на стабильную, долгосрочную жизнь. В первом случае для ее обуздания достаточно энергичной разовой, краткосрочной меры, во втором,— и в этом суть социального управления массами,— требуется постоянная и эффективно действующая система манипуляции массовым сознанием.

Ведь не случайно все дополняет друг друга в случае естественного (а не экспериментального!) развития,— именно в период «омассовления» общества появляется печатный станок, а с ним и газеты.

Кроме того, в самой системе манипуляции разворачивается решительная борьба (конкуренция, привнесенная из материальной сферы) узкокастовых интересов корпоративных групп. И если в средневековье, например, борьба за власть велась открыто во имя династических принципов, то в период становления буржуазной демократии, как отмечают К. Маркс и Ф. Энгельс, «... всякий новый класс, который ставит себя на место класса, господствующего до него, уже для достижения своей цели вынужден представить свой интерес (разрядка моя.— Д. И.) как общий интерес всех членов общества, т. е., выражаясь абстрактно, придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные, общезначимые» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966, с. 61).

Расхождение группового эгоизма и интересов основной массы людей рождает глубокую трагедию так называемого цивилизованного мира. И в этой связи основоположники марксизма замечают: «...Чем дальше идет вперед цивилизация, тем больше она вынуждена набрасывать покров любви на неизбежно порождаемые ею отрицательные явления, прикрашивать

их или лживо отрицать,— одним словом, вводить в практику общепринятое лицемерие, которое не было известно ни более ранним формам общества, ни даже первым ступеням цивилизации...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, с. 177)...

Новая форма социальности (после авторитарной системы) — борьба за власть — раскалывает народ как единство на два противоположных полюса: корпоративную группу меньшинства (понятие «группа» — условное, имеется в виду корпорация интересов, так что групп может быть и множество), жаждущая и в конце концов завоевывающая власть, с одной стороны, и масса — с другой.

Ложь и лицемерие оказываются той формой магнетизма, которая связывает эти полюса. «Первосвященники» таких отношений — адепты эпохи Просвещения — называли такую связь «общественным договором».

Как же конкретно реализуется обман? С помощью манипуляции массовым сознанием. Это и есть скрытая пружина цивилизованного принципа власти — тоталитаризма.

Дело в том, что в авторитарной системе не было необходимости убеждать народ. Более того, невыборность монарха, то есть династический принцип, освобождал его от отчетности, в значит, и возможности лжи. Энергия самодержца, стало быть, уходила не на борьбу за власть (то были эпизоды, но не система), а на воплощение ответствующей перед Богом власти.

Таким образом, **конец авторитарной власти повсюду означал переход к новому качеству власти — в разной степени явленному тоталитаризму.**

Еще на заре широкой демократизации общества, когда массы через новый фермент культуры — книгопечатание — стали обретать живой интерес к миру вообще и к общественному устройству, в частности, то есть тогда, когда стало формироваться общественное мнение, английский материалист Фрэнсис Бэкон один из первых обратил внимание на своеобразное искажение действительности при восприятии ее одиночным и массовым сознанием. Два обстоятельства выделил он при этом: ослабление религиозной веры и появление новых средств (то есть печати) для выражения различных «мнений». Иными словами, вакуум религиозного сознания, который неизбежно образуется при переходе к демократии, заполняется в восприятии не картиной действительности, а стереотипами, которые Бэкон называл «идолами сознания». Среди них — факторы, вытекающие из специфики демократии.

Однако в тот романтический период лишь только зарождающихся буржуазных отношений, позволяющих чуть позже еще инфантильно верить в «свободу, равенство, братство», материалист Бэкон, развенчивая религиозное сознание, был убежден, что предрассудки «идолов сознания» преодолимы и что истовая работа разума способна стереть «случайные черты» стереотипов.

Пропаганда печати и впрямь в тот короткий благодушный период ориентировалась на просвещение масс, то есть вообще на культуру, на свободу от заблуждений, как казалось «просветителям». Вскоре, однако, в тональности газет ощутился вначале чуть приметный, затем откровенно выделяющийся и наконец ставший определяющим крен в сторону политики. И уже зазвучали иные, трезвые и даже тревожные нотки в хоре «демократического» песнопения. Так, Т. Гоббс ставил уже вопрос о правомерности и границах духовного воздействия на людей, о роли печати в обществе высказывались Дж. Локк и Т. Джефферсон.

А уже к концу XX века идея манипуляции достигает в своем развитии высшей формы: средства массовой информации становятся реальной силой в политической власти (см. об этом статью И. Шафаревича «Шестая империя».— «Наш современник», 1990, № 8).

Русский психиатр В. Бехтерев назвал свойство масс поддаваться любой степени внушения «массовым неврозом», оценив его таким образом как **болезненное состояние**, легшее в основу социальной регуляции так называемого «цивилизованного общества» — предмета обожествления наших либералов.

Жесткие тоталитарные концепции управления массой достигли на Западе не только высокой теоретической разработки, но и существенной эффективности в реализации. «Толпа не рассуждает, она верит лидеру... она презирает слабого лидера и рабски покоряется сильнейшему... чтобы иметь успех у толпы, лидер должен «бить ее по нервам»,— вещает французский психолог Г. Тард, которому вторит его соотечественник Г. Лебон: «Общество вступило в «век масс», когда главную роль в социальной жизни играет толпа... Все властители... всегда были бессознательными психологами, инстинктивно понимающими душу толпы... Именно благодаря этому пониманию они становились властелинами толпы» (цит. по книге Г. К. Ашина «Критика современных буржуазных концепций лидерства», М., 1978, с. 17).

Таким образом, людская масса («народ») в мире XX века, кажущаяся по второстепенным признакам распорядителем общественного миропорядка на Западе, ловко и умело аккумулируется корпоративной группой для реализации ее, группы, интересов.

Ведь не секрет,—а в «застойные времена» мы знали это как «Отче наш»,— что в каждой цивилизованной стране истинными хозяевами являются несколько десятков супербогатых людей. Знали мы и об образовании сверхмощных космополитических трансатлантических корпораций, все более смыкающихся в единстве мирового интереса, в свою очередь родивших «теневое мировое правительство», которому принадлежат регуляторы финансов и большая часть прессы. Наша оригинальная гласность вдруг, как по команде, прикусила язык по этому поводу, зато витиевато и широко захлебывается о тамошних «колбасных дождях». И эта дешевая мишура (как будто Россия до революции не знала достатка!), увы, прикрыла голую правду о том, что с избытком заполняло нас в «застойный период», еще раз подтвердив убийственную реальность «массового невроза».

Существует много, чрезвычайно много эффективных способов создания «идолов сознания». Но, пожалуй, самый важный, безотказно действующий способ — это создание мощного информационного потока, разливанного моря различной информации. В море информативности тонет любое, нежелательное для манипуляторов сверхважное сообщение, не организованное с размахом, и, напротив, пустяк становится вровень с мировым пожаром (вспомним инцидент в ЦДЛ, где была допущена бестактность по отношению к писателям еврейской национальности; в стране на межнациональной основе в это время текут потоки крови, царствуют насилие и жестокость, появились сотни тысяч беженцев (в мирное-то время!), а «демократическая» пропаганда раздувает на весь мир пустячный на этом кровавом фоне инцидент, предвещая... апокалипсис).

Секрет эффекта массовой информации прост до чрезвычайности: разная информация в большом количестве «растворяет» любое неугодное сверхважное сообщение, а при акценте на нужный пропагандистский миф вся разная информация становится по невидимой команде одинаковой, единообразной, что эффективно забивается в массовые головы уже за несколько дней.

Другая «технологическая операция» манипуляции — масштабно и громогласно буквально вопиют об одном, а через какое-то время — о противоположном. При «массовом неврозе» воспринимается первое, затем благополучно второе и — напрочь забывается первое.

В умелых руках масса податлива, как ребенок. Какая уж тут память к вчерашнему? К своей истории? Ведь именно ее таким образом и отчуждают от человека. Везде и всегда. Там и здесь..

Некогда популярный миф о «равных возможностях» давно утратил свою обманчивую привлекательность. За три последние столетия философия конкуренции существенно изменилась: соперничают нынче только у основания пирамиды. На вершине уже давно нет конкуренции — в этом подлинная философия самой идеи борьбы за власть, ибо борьба — это все-таки борьба, и она не может длиться бесконечно, в таком буквальном виде она пустила бы в распыл любую нацию, любое государство. По идее и логике социальной борьбы, она должна быть результативна — побеждает сильнейший и удерживает структуру от развала. Что же касается смены внешних «декораций» в результате выборов, то, согласитесь, здесь ведь ничего не меняется по существу: основание системы прочно сохраняется. Это может быть достигнуто только одним: несменяемостью реальной власти, стоящей в «тени» политической жизни. Мне возразят: а зачем коренные изменения? Неизменность корня — благо, препятствующее хаосу, разору? И я с поспешной готовностью соглашусь — конечно! Только будем иметь в виду — стабильность потому и сохраняется, что неизменна реальная «теневая» власть, завоеванная в борьбе и надежно укрытая от общественных глаз «демократией».

Кроме того, целенаправленный и в высшей степени организованный характер давно уже носит духовное растление западного человека. Безумствующая массовая культура, культ насилия, порнография, наркомания, высокая преступность — это не только, а быть может, не столько издержки западного образца жизни. Похоже, здесь глубже надо брать: у нас спаивают народ — там развращают и разлагают народ иными способами. Разные системы — почерк один: размягчить воск аморфной толпы до предела и властвовать, опираясь даже на разные идеологические установки.

И там, и здесь сегодня очень популярен отвлекающий миф о тоталитарных режимах Сталина и Гитлера.

Между тем проницательный ум не может не знать, что Сталин и Гитлер олицетворяли зримый тоталитаризм, выросший из недр закамуфлированного западного. В самом деле, в силу разных причин два вождя решили свои задачи энергичным спуртом. Идеология при этом, в отличие от корпоративных интересов в «демократическом тоталитаризме», играла роль катализатора, и именно ускорение, спурт, энергичное освоение тоталитарного режима привели к огромным жертвам внутри государства; в «демократическом тоталитаризме», если он развивался не эволюционно-длительно, а революционно, жертвы его внутренней жизни были также значительны. Однако у двух этих систем есть общий характер: корпоративные интересы группы и реализация их через возбуждение «массового невроза».

Далее. Все знают об изобилии Запада. Видимо, многие догадываются о том, что богатство западного мира растет за счет обнищания «третьего мира» (разница их уровней жизни за последние 50 лет увеличилась почти в пять раз), но мало кто у нас сегодня оценивает абсурдный механизм самого накопительства. Трудно представить себе большее безумие, чем производство первоклассных товаров, которые никому не нужны. Судите сами: человек по принятым стандартам, условно говоря, обеспечен всем. Товаропроизводитель, зная это, будет на последнем пределе предприимчивости делать всё и сверх того, чтобы через систему рекламной давильни заставить человека все-таки раскошелиться. Я уж не говорю о пропагандистской системе, взбадривающей тонус обывателя, выматывающей его в гонке потребления, повышающей постоянно планку престижа.

Прислушаемся к словам А. Солженицына («Комсомольская правда» от 18 сентября 1990 г.): «...нынче (на Западе) — оглушающая вереница всё новых, новых кричащих моделей, а здоровое понятие **ремонта** — исчезает: едва подпорченная вещь вынужденно (то есть образуется система принуждения к новой покупке; разрядка моя.— **Д. И.**) выбрасывается и покупается новая,— прямо напротив чело-

веческому чувству самоограничения, прямой разврат».

И еще он же: «...при росте производительности труда — цены не падают, а растут! Пожирающее экономическое пламя, а не прогресс. (Старая Россия по веку жила с неизменными ценами.)». Добавим от себя, почему растут цены, догадаться несложно: система *принуждения* к покупке новых вещей стимулирует и товаропроизводителя к безумной гонке пусть пустячных, минимальных, но *изменений* вещи в сторону ее большей престижности, модности. Говоря иными словами, стимулируется не столько улучшение вещи, сколько изменение психологического представления о ней в нужном направлении, зе что и взимается «прибавочная стоимость».

Зачем все это, казалось бы? Такова, увы, логика потребления, она в плену постоянной, изнуряющей, абсурдной гонки производства и сверхпроизводства. Чуть остановишься — сомнут, растопчут. Общество потребления напоминает бегущий к пропасти табун — ни одна лошадь не может остановиться без риска погибнуть. Да отчего же к пропасти-то, спросят?

О, если бы этот абсурд сверхпроизводства и сверхпотребления был всего лишь безобидной состязательностью, имеющей бесконечные резервы. Нет, речь идет о драматической социальной тоталитарности, где проблемы жизни и смерти снимают всякие разговоры о свободе в обществе потребления. Ведь только 16 процентов жителей Земли пользуются благеми на уровне западных стандартов. Если этот процент существенно возрастет, то ресурсы планеты иссякнут за несколько лет. Значит, спасение корпоративных интересов в том, чтобы жестко контролировать эти проценты неравенства, осуществлять для их реализации специальные, долгосрочиые меры в международном масштабе. Навязывать, например, «третьему миру» кввбальные договоры, скупая за бесценок его сырье и рабочую силу, а его строптивость и жажду воли лодавлять силой. Свежий пример тому — кризис в Персидском заливе. Спрашивается: кто способен так энергично и властно регулировать давление на эти 16 процентов в бурлящем котле мира? Ответ может быть один: тоталитарное «теневое» правительство мира.

Мысль о грядущей катестрофе цивилизации не бог весть какая новость. Правда, вы не встретите ее в средствах массовой информации, в мире политики, в бизнесе и в любой идеологии.

От Апокалипсиса (Откровения Иоанна Богослова) до «Римского клуба» ученых-футурологов, научно обосновавших гибель планеты в ближайшие десятилетия даже при существующем уровне потребления (а он ведь растет!), о грозящей катастрофе предупреждали многие русские и западные мыслители.

В этих предвидениях нет ничего ни мистического, ни вообще загадочного, непротив, все объясняется донельзя легко и просто. В той или иной форме футурологи подмечали факт разделения жизнедеятельности человечества (при забвении религиозного сознания) ив *культуру* и *цивилизацию*.

Так вот прогресс, который люди лукавые, предприимчивые или недалекие относят ко всей сфере жизнедеятельности, свидетельствует о развитии *только* научно-технической, то есть материальной деятельности, составляющей сердцевину цивилизации.

Прогресс же в духовной жизни — нонсенс. И по мере все более убыстряющегося развития цивилизации духовная культура, подобно болезненному интеллигенту, что насильно мобилизуется на марафон, отстает и безнадежно падает.

Иоанн Богослов, как, впрочем, и вся христианская этика, отмечал очевидный и с блеском доказанный историей факт: человек, развивающийся *бездуховно*, возвращается к животным, становится агрессивным и самоуничтожается.

А «Римский клуб» взглянул на цивилизацию научно, то есть прагматически: прогресс невоздержанно стимулирует потребности и тем самым исчерпывает конечные возможности природы. Итог тот же — самоуничтожение.

Память человека в большом временном отдапении фиксирует ие плохое, не хорошее, а ГЛАВНОЕ, то есть то, чем жив и продлевается человеческий род (именно род квк духовная ипостась, а не биологический вид). История и природа свидетельствуют, что это ГЛАВНОЕ и единственное есть *целостность* живого космоса, которая отражается в человеческом сознании религиозным чувством.

Спрашивается: может ли память хранить духовно существенное в безумном количестве информации, где сама жизнь нынешнего духовного носителя — информационного знака — основана на сиюминутиости, деградации и отмирании? Ведь человек не способен вместить в себя весь обрушивающийся на него водопад фактов.

Физиологические возможности человека, понятно, ограничены. Это предохраняет его от полного истощения нервной системы, и без того стрессирующей от переизбытка сведений. Каков же механизм ограничеиия информации? «Стирание» ее. Американцы говорят: все, что пишут газеты сегодня, забывается завтра. Иными словами, происходит ежедневное потребление информации и лоследующее опростание от нее. Заметим, цикл абсолютно *физиологический*, подобно потреблению пищи в живом организме. По-другому сказать, человек даже в духовной сфере начинает приближаться к примату. Спрашивается: выгодно ли манипуляторам состояние «проскальзывающей», как пища по телу, информации, отучающей человеке от дум, глубинных чувств, размышлеиий, созерцаний? Несомненно. Между тем высшая — не информативная, а образная «система» не допускает беспамятства. Кто из верующих забывает Бога, молитвы, священные ритуалы? Кто, прочитав, может забыть «Евгения Онегина», «Братьев Карамазовых» или «Войну и мир»? Забываются детали, но в душе вечно хранится след от образа произведения. Потому что происходит не поверхностный процесс минутноэмоционального «проскальзывания» информации, а глубинный, пронизывающий всю душу акт чувствования, вмысливания в бесконечный объем духовной истины. Это, если хотите, высочайшее по смыслу вознесение человека до тех божествеиных высот, каких природным даром достигает автор.

Есть разница? Конечно, и ее, несомненно, чувствуют организаторы мировых информационных оргий. «Явится пресса, а не литература»,— пророчески предупреждал Достоевский.

Скажем окончательио, маиипуляция массовым сознанием с неизбежностью завершилась созданием невиданной по глубине и объему системы лжи: иикогда за всю историю цивилизация не достигала такого уровня социального обмана и демагогии.

Судя по всему, рациональная форме жизни полностью исчерпывает себя. Человек, изобретший идеологию и не совледевший с иею, так и не сравнялся с Богом.

Мне возразят: много несуразицы и абсурда можно отыскать и в авторитарной системе. Воистину так. Разнице, однако, в том, что при всех своих «нелепостях» она в коиечном счете сплачивала индивида и общество, берегла человеческий род именно как *человеческий*, между тем как современная цивилизация плаиомерно *уничтожает* «человеческое в человеке», то есть истребляет сам род, а следовательно, и Землю — вместилище духа и материи.

## Часть II
## РУССКОЕ БЫТИЕ

Самое удивительное, а быть может, напротив, самое естественное состоит в том, что омассовление западной культуры, ивиболее остро чувствовали люди самой этой культуры. Одной из острых форм протеста против обезличиввния, против оболванивания масс явилась философия экзистенциализме. Мысль Достоевского о «пограничной зоне» абсолютной свободы, которую ощущает человек между жизнью и смертью (эта мыспь выражена в образе Кирилова в романе «Бесы»), экзистенциалисты гипертрофировали до предельной всеобщности, исказив, таким образом, и саму мысль, и частную идею экзистенции.

Но речь не об этом. Весьма ценным в их учении была, без сомнения, критика идеи манипулирования массовым сознанием. Они не только протестовали против массового оглупления иарода, но, что особенно важно, вскрыли генезис его. Причину общественного безумия они видели в избыточном доверии человека к рациональному мышлению, которое расщепляет бытие на два противоположных кечества: субъект и объект (подобно делению бытия, как мы отмечали, на материю и дух). Следствием чего вся действительность, в том числе и человек, становится *объектом* познания и практического манипулирования.

Другими словами, человек — органическая часть космоса, элемент более общего — целого — через соблазнительиый самообман («человек есть мера всех вещей») извлекает себя из целостности и искусственно ставит себя над ней. Так Запад по сути дела освободил себя от высшей нравственной инстаиции и обрел новое качество бытия: устройство мира с помощью идей — мировоззренческих и практических.

Удивительный парадокс! Природа взяле на себя труд назначить материальиые ограничения мира человека (рост, сила, скорость движений, возраст и прочее), но доверила ему самому очертить целесообразные возможности разума, ибо безграничность разума требует необходимости в осознании его границ. Это и нвшло свое отражение в известной формуле — «свобода есть осознаннвя необходимость».

Но вот вопрос — реельно ли в приницпе разрешение твкой парадоксальиой задачи: бесконечность, ищущая для себя конечности? Вся история человечества иеопровержимо доказала: рациоиальный ум в плаиетарном масштабе не способен к саморегуляции. Предоставленная самой себе рациональность — путь к самоуничтожеиию.

Сегодня за шаг до бездны нвиболее дальновидные умы не могут не понимать, что рециональный ум включен в единство бытия как его *составляющая*, а не «мера всех вещей». Мера осознаиной необходимости и должне быть свободой для рационализма.

Но кто определит границы этой необходимости?

НЕ ЧЕЛОВЕК, но нечто, стоящее над ним и способное верховным велением сдержать бессильного к самоограничению человека. По-другому сказать, разрушительную свободу может сдержать только нравственный абсолют, который и олицетворяет в социальной жизии целостное единство природы.

Реально абсолют проявляет себя в *вере*. В вере в Бога, если быть последовательиым до конца.

Масса людей, поверившая во всевышние (вне человека) силы спасения и в благодать, стеновится *народом*.

Между тем сегодня, я знаю, в нашем государстве есть множество людей, особенно среди воеиных, которые с большой готовиостью, не побоюсь сказать, с любовью воспринимают, скажем так, русско-патриотическое «прочтение» нашей истории, но которые в то же время ничего не хотят слышать о Православии. Грустный и курьезный итог советского просвещения!

Ведь любому школьнику хорошо известио, что жизнь Суворова, например,— это один из высших обрезцов преданности долгу, присяге, Родине. Но при этом не берется в расчет факт глубокой религиозности Суворова, проводящего часы у церковного емвоиа. Его духовный облик, так восхищающий всех петриотов России во все времена, и особенио военных, есть ии много ни мело кек жизненное воплощение высокого религиозного чувства. И это относилось в полной мере ко

всем россиянам, преисполненным чувством гражданского долга.

А вспомним историю русского воина, о которой нам поведал Достоевский. Плененный кипчаками, он был поставлен перед выбором: мученическая смерть или принятие мусульманства. Умирая от диких, нечеловеческих пыток, русский солдат так и не мог понять, как это возможно изменить своей вере — Православию, ведь она — это и есть жизнь, а без Православия русскому человеку нет места на этой Земле...

Вся история России немыслима без Православия. Русская культура изначально строилась на бытийном самоограничении, а не на гордыне. И, стало быть, разговор о «русской идее» попросту лишен основания, если он не подразумевает православного подтекста его.

Мне уже доводилось разграничивать два существенных состояния сознания: *понимание* и *переживание*. Все материальные законы, а также сфера быта, то есть вся атрибутика материальной жизни принципиально *понимается*, иначе говоря соизмеряется с некими установившимися понятиями рационального ума. Не случайно жизнь материальной сферы отчеканивается в виде осязаемых и законченных форм.

Напротив, жизнь духа может только *переживаться*, осмысливаться глубинно и чувственно так, что весьма затруднительно, а подчас и попросту невозможно наглядно отформовать его в виде набора понятий. Сравнивая «корявость» форм русской литературы с ее аналогами на Западе и Востоке, литературовед В. Кожинов проницательно замечает: «Для русских нехарактерны столь твердые, отчеканенные формы национального быта, поведения, сознания, наконец, самого облика, какие сложились в странах Запада и, с другой стороны, Востока... для русской жизни не была характерна тщательно разработанная, твердая, предметно воплощенная форма и структура (здесь имеется в виду вся предметность человеческого бытия — от зданий и одежды до форм речи), которая могла бы «соперничать» с соответствующими формами, сложившимися в странах и Востока, и Запада» («Контекст-87», с. 127, 131).

Неявленность «русской идеи» — одна из существеннейших черт ее, ставящая буквально в тупик расчетливое западное сознание и вызывающая особую агрессивность у наших либералов из стана «образованщиков», не чувствующих «русскую идею» и на этом основании отрицающих ее, более того, требующих доказать ее, предъявить перечень ее конкретных признаков.

Религиозное чувство, как и любое глубокое переживание, конечно же лишено исчерпывающих его внешних признаков. В самом деле, как выражает свои чувства на людях любящий (и воспитанный) человек? Совершенно очевидно, что это состояние в высшей степени интимное, душевное, *незримое*, не явленное в виде конкретно осязаемых предметов, вещей, вообще материально-рукотворных атрибутов жизни.

Другой вопрос, что религиозное чувство воплощается в своеобразное национальное сознание и соответствующую форму государственного самоустройства.

Однако, скажут мне, религиозен не только русский народ. И это, безусловно, справедливо, но верно и то, что не просто религиозность, а *Православие*, как высшая духовная ипостась в сравнении с «заземленным» католицизмом, не говоря уж о реформаторских суррогатах христианства, стало органической сущностью жизни русских, чему способствовали вполне определенные исторические причины.

Известно, что слово «русские» появилось в летописях после татаро-монгольского нашествия, то есть тогда, когда впрямую встал вопрос о национальном государстве и власти. (В более ранних летописях преобладали такие понятия, как «Русь», «славяне».) Момент, скажем прямо, едва ли не определяющий в понимании истоков русского национального самосознания.

В понятие «русские», иными словами, изначально вкладывалась идея *собирания* всех наций и народов в государственное единство, прочность которого, учитывая многонациональность и невиданные пространства, определяло *одно* религиозное чувство с предельной веротерпимостью к другому. На таких основаниях не складывались ни одно государство, ни одна империя.

«Русские»— в русском языке — единственное название нации, именуемой прилагательным. Весьма красноречивый факт! Прилагательное как бы «не различает» племени. Сравните,— северные, южные, красные, белые и так далее. Русский — относящийся к народам Руси.

Уникальность «собора», стало быть, требовала особых усилий и жертвенности, героизма и разума. Можно выделить как минимум пять особенностей, которые сопутствовали образованию Русского государства.

1. Огромная протяженность территории. Ощущение пространства, точнее его нескончаемости от огромности, впрямую рождало образно-религиозное восприятие бесконечности, придающее русскому характеру черты *распахнутости*, не явленной формы. В определенной мере здесь воплощается греческий античный космос или какие-то отголоски той культуры, в отличие, скажем, от геометрически вычерченного сознания Запада, берущее свое начало от законодательно-контрактной культуры Римской империи.

Проблема *жизненного пространства* для Римской империи была более существенной, чем для мира Эллады. Отсюда и особенность западной психологии, на формирование которой существенное влияние оказывали людская скученность, ограниченность пространства. Такая особенность вырабатывала потребность *считать* и *считаться* (с другим).

Вот что пишет по этому поводу С. Аверинцев: «Когда читаешь католические книги по моральной теологии, поражаешься, как подробно там оговариваются границы права ближнего... и тому подобные загородочки вокруг территории индивидуального бытия — и насколько часто там употребляется одно важнейшее привычное для нас отнюдь не в сакральных контекстах слово: «договор», по-латыни — «контракт»... Далеко не случайно Достоевский ненавидел самый дух морали контракта, в котором угадывал суть западного мироощущения» («Новый мир», 1988, № 9). Напротив,— большие незаселенные пространства порождают в сознании человека чувство бесконечности, коренного единства с природой (анимизм), а также верховенство надличностного, космического, божественного.

Самая яркая характеристическая примета русского анимизма — народная песня. Надо ли доказывать, что в мире нет подобного уникального явления с неповторимым лиризмом, щемящим сердцем, с какой-то надсадной светлой грустью, с вольностью и широтой прямо-таки запредельными. В ощущении одновременно и этой *запредельности*, и слиянности с ней возникает гармония личности и живого космоса.

2. Вторая особенность «собирания» всех наций в «русское» — огромное население (при чрезвычайно малой, повторимся, плотности его).

3. Многонациональность, уникальное обилие укладов, традиций, культур.

4. Разный климат, соответственно — разные социальные требования.

5. И, наконец, слабые коммуникации, затрудняющие общение, связь, соединение.

Достаточно беглого знакомства с представленным перечнем, чтобы со всей определенностью сделать вывод о том, что в изначальном бытии русских все решительно препятствовало их соединению. Степень внешней свободы, иначе говоря, была чрезвычайно великой. Отсюда и невиданное для Запада ощущение анархии и вольницы — изначальных «строительных материалов» русского характера. Такая свобода находила свое выражение в постоянной междоусобице, органично приведшей, с одной стороны, к «варяжской власти», с другой — к татаро-монгольскому игу.

Вольницу русских не в последнюю очередь испытывали и «свободолюбивый» Запад, и «несвободный» Восток. Россия за свою историю подвергалась такому количеству разрушительных войн и набегов, каких не знало ни одно государство мира.

Объединение русских вопреки уникальному набору препятствий стало не только необходимым, но единственно возможным для выживания нации.

**Чем сильнее действовали разъединяющие силы, тем, стало быть, бóльшие усилия требовались для объединения.**

При этом следует иметь в виду, что *проблема жизненного пространства*, как то было у народов Европы, в частности у германского, перед русскими никогда не стояла; это в значительной степени определило важное свойство русской психологии: добрососедство, неагрессивность. И здесь уместно сослаться на работу Ивана Солоневича «Народная монархия» (см. главу из нее — «Наш современник», 1990, № 5), в которой автор убедительно доказал принципиальную *ненасильственность русской колонизации*, ее духовно-государственную ориентацию, в отличие от жесточайшей империализации народов мира со стороны западной «демократии».

Такая духовная направленность объединения впрямую вытекает, как это ни парадоксально звучит, из обстоятельств, препятствующих объединению, о которых шла речь выше.

Огонь и меч, как показывает история, не создают прочных оснований в империи. Это с гениальной прозорливостью чувствовали духовные и державные отцы нашего «собора». Преодолеть мечом невиданные в мире пространства, множество многоукладностей, климатические пояса — задача, скажем прямо, не реальная. Понадобилась иная, особой мощи объединяющая скрепа. Ею и оказалась самая основательная и соединяющая «субстанция» — любовь. Так родилась особая атмосфера «собора», готовая *бескровно* принять христианство и выделить из него самую небесную высшую ипостась — Православие.

Одновременно происходил и уникальный социальный процесс формирования власти *снизу*, то есть выдвижение из народа достойных и лучших для наработки в конце концов социально-психологического института власти, основанного на *авторитете*, буквально — авторитарной власти.

Таким образом, беспредельная и основополагающая свобода русской психологии была *переориентирована*, видоизменена в согласную форму авторитарной власти, в которой внешние свободы всех людей *добровольно* были переданы авторитету, способному распоряжаться ими (свободами) во благо подданных. Стало быть, философия (а не социальная реализация, которая вносит отступления от истинной тенденции, являющейся предметом философии) авторитарной власти никогда не подразумевала несвободу, ибо свобода была воистину осознанной необходимостью.

Но такая свобода оказывалась не единственной, а возможно, и не главной.

Суть русской вольницы сохранилась в ином, благоприобретенном качестве. Анархическая, беспрепятственная свобода переродилась во *внутреннюю свободу*. (Снимите благоприобретенную свободу авторитарной власти, лишите внутренней свободы — веры, то есть разрушьте устойчивые общественные связи, и вы получите первородную свободу русского национального сознания — жестокий бунт и анархию. Именно так и случилось в феврале — октябре 1917 года, но об этом речь впереди.)

В высшей степени любопытен факт непротивления термину «внутренняя свобода» со стороны всех — от «западников» до махровых русофобов. Введенный в оборот славянофилами, постоянно акцентируемый почвенниками и вообще всеми русскими мыслителями, этот термин с поразительным единодушием не отрицается, не комментируется, не включается в дискуссионный оборот никем из оппонентов и хулителей «русской идеи». Словно его не существует, словно для них это бесформенный и бессмысленный звук, который

вроде бы и присутствует, ио не рождает даже позыва для смыслового эха. Так в этом-то, оказывается, и вся суть соотношения русофобов и «русской идеи». Ибо им неведома стихия «внутренней свободы, которая составляет сердцевину религиозного переживания «русской идеи». Она-то и неявлена, онв-то и есмь тайна за семью печатями для тех, кто принципиально ВНЕНАХОДИМ по отношению к «русской идее». Смешно сказать, но именно «вненаходимые» душеведы и льнут активно к исследованию «русской идеи».

Просто откровенным курьезом кажется одно бросающееся в глаза обстоятельство. Если в XIX веке «русский вопрос» в той или иной степени был предметом внимания таких корифеев русской культуры, как Пушкин, Чаадаев, И. Киреевский, Тютчев, Достоевский, Леонтьев и прочие, то сегодня чуть ли не единственные «специалисты» по таинственной русской душе — это писатель В. Гроссман, историк Эйдельман, критики Эпштейн и Бенедикт Сарнов, «специалист» по православию Иосиф Аронович Крывелев и миогие, увы, многие другие...

Уже давно подмечено, что высшие творения создавались художниками, как правило, в период наибольших социальных, то есть внешних несвобод. И это вполне естественно, в период внутреннего самоуглубления, как бы отталкивания от внешней социальной оболочки, внутренняя свобода становится творческой реакцией на скованность внешнего мира. Другими споевами, внутренняя свобода имеет свою саморегулирующую жизнь, как любое высшее отправление духа.

Внутренняя свобода есть переживание религиозного чувства. Бог — это ведь не власть, которая принципиально ограничивает (во благо ли, во зло, ио ограничивает), Бог есть бесконечность. И русский человек, сознание которого изначально зарождалось в ощущении беспредельности, в полной мере вбирало в себя Божью благодать.

Выше мы подробно говорили о социальных «свободах» в мире борьбы за выживание, то есть по сути дела о свободах внешних, приицилиально ограииченных.

Истинная и бесконечиая свобода возможна только в религиозиом сознании, но не в нынешнем поспешающем сознании, в котором религия оттеснена деловой озабоченностью на периферию, а в иерархически уравновешенном мире авторитарной власти. Такую свободу и воплощает «русская идея».

В самом деле, кто может ограничить бесконечное пространство религиозного чувства человека кроме иего самого и Бога? Человека можно стеснить как угодно, убить, наконец, но безнадежно, помимо его воли овладеть его духовным миром. Внешние свободы, напротив, всецело зависят от многих факторов — от случайных, пустяковых до важных, накладывающих сколь угодно большие ограничения.

Вот как характеризует понятие «внутренней свободы» русский философ XX века Иван Ильин, не без успеха, надо заметить, замалчиваемый современными «плюралистами»: «Русскому человеку свобода присуща как бы от природы... Еще при первом вторжении татар русский человек предпочитал смерть рабству и умел бороться до последнего. Таким он оставался и на протяжении всей своей истории. И не случайно, что за войну 1914—1917 годов из 1 400 000 русских пленных в Германии 260 000 человек (1В,5 проц.) пытались бежать из плена. «Такого процента попыток не дала ни одна нация» (Н. Н. Головин)...

Русское православие... воспринимает Бога не воображением, которому нужны страхи и чудеса для того, чтобы испугаться и преклониться перед «силою» (первобытные религии);— не жадною и властною земною волею (разрядка моя.— Д. И.), которая в лучшем случае догматически принимает моральное правило, повинуется закону и сама требует повиновенив от других (иудаизм и католицизм),— не мыслью, которая ищет понимания и толкования и затем склонна отвергать то, что ей кажется непонятным (протестантство). Русское православие воспринимает Бога любовью... Когда русский человек верует... он желает не власти над вселенною (под предлогом своего правоверия), а совершенного начества».

Сегодня, когда впрямую ставится вопрос о выживаемости человеческого рода, сфера борьбы, то есть господствующая система тоталитаризма, должна быть диалектически замещена на систему самоограничения. А это возможно только в религиозной сфере, а социально — в сфере авторитарной власти...

Попытаемся еще более основательно вникнуть в саму «идею» авторитарной власти.

Известна христианская «формула», определяющая соотношение божественного и мирского — «Богу богово, кесарю кесарево». Надо заметить, однако, что она разрешает бытийную проблему, но мало затрагивает практическую жизнь человека.

Ибо Бог един, а кто кесарь?

Мысль о свободе выбора верующим, как гаранте правильности выбора, весьма относительна. Выбор истинен в царстве бытия, но может оказаться ложным в противоречивом быте кесаря. Столкновение неизбежно. И если человек сопротивляется идеям «кесарей», если история воздаст ему за это,— что мирскому быту оттого, что человека, печальника быта, стирают в порошок жернова несовместимости идеи и веры? Что самоценнее на Земле — идея или человек?

Жизнь, увы, не дает однозначных ответов. Однако, как явствует из истории, жизнь по вере в социальном котле (а не в душе верующего, где она может оказаться безупречной) далека от идеала, но духовных и материальных потерь в ней неизмеримо меньше, чем в цивилизованном мире, где жизнь обустраивается по той или иной идее («равные возможности» или «социализм», например) Наверно, стоило бы, полагаю, сравнить и всесторонне оценить, уж коли это делается, не достижения прошлого и настоящего, а потери. Вот где мы бы оказались ближе к истине...

Для постижения глубинных тайн бытия воистине неисчерпаемо творческое наследие Достоевского. Едва ли найдется равный ему по масштабу мыслитель, который бы так глубинно отразил природу человеческого бытия. Интересно, например, что многие пророчества Маркса лопнули как мыльный пузырь, между тем как мысли Достоевского кажутся сегодня не менее современными, чем сто лет назад.

На срезе препарированного бытия в его творчестве оказались многие великие идеи и откровения, к которым, без сомнения, можно отнести и образ Великого Инквизитора, емкий, неоднозначный, словно живой слепок с запутанной и жаждущей совершенного качества человеческой жизни.

Принято считать, что прототипом образа был испанский инквизитор Торквемада и что вообще легенда Ивана Карамазова — это вызов католицизму, который Достоевский не считал религией. Возможно это и так, но при всем при том Великий Инквизитор — не просто идея, неизбежно плоскостная, а художественный обрвз, запечатляющий громадный объем идей и чувств. Разница, как нетрудно догадаться, принципиальная.

Образ Великого Инквизитора, помимо прочего, выражает и мысль о преобразовании веры в идеологию.

Вера — это устройство жизни по нравственному велению; основана на абсолютно внутренней свободе.

Идеология — обустройство политической власти; основана принципиально на несвободе.

Воплотить идеально веру в социальном котле, где иеобходим кесарь,— решительно невозможно. Здесь вера неизбежно вырождается в идеологию. Следовательно, универсальная формула «Богу богово, кесарю кесарево» на практике означает степень компромисса между верой и идеологией.

В русском Православии, на котором зиждилась русская авторитарная власть, идеологии как политической доктрины не существовало, ибо Православие даже не ставит проблему власти («царь не от мира сего»).

Таким образом, русская авторитарная власть в наибольшей степени реализовала возможную в обществе свободу, а именно — внутреннюю свободу.

В католицизме же, иапротив, идеология играет первостепеннейшую роль, отсюда институт папства — «кесаря в сем мире». Поэтому Достоевский, впрочем, как и многие другие русские мыслители, полагал, что католицизм есть вырождение христианства. Как бы там ни было, одно несомненно: Великий Инквизитор не порывает окончательно с Богом, хотя и отказывает людям в свободе, он лишь настаивает иа собственной интерпретации веры, что, несомненно, является уже ие верой (вспомним Л. Толстого), но еще ие безверием. Иначе говоря, здесь мы после русской авторитарной власти имеем следующий уровень внутренней свободы, несравненно меньшей.

И, наконец, полное замещение веры идеологией: «демократия», «социализм», «фашизм», и прочее в зтом роде. Здесь следует полное уничтожение внутренней свободы с заменой ее в лучшем случае суррогатом внешних, бутафорских свобод.

Далее. Сравнительно недавно литературовед П. Палиевский, выступая на одной конференции в ИМЛИ им. А. М. Горького, иапомнил, что Христос в романе Достоевского, уходя, целует Великого Инквизитора. Замечание привело в замешательство многих литературоведов, тут же отпарировавших: это-де мелкая, незначительная деталь, бытовой штрих, этический жест Христа.

Приглядимся внимательно к Великому Инквизитору. Это человек, не только утверждающий свою волю, но, согласно Достоевскому, «любящий человечество».

Формула «Богу богово, а кесарю кесарево» выражает не однозначное, противоречивое единство жизни. Власть и безбожна, и в то же время божественна. Но только та власть, что сохраняет в итоге до возможного предела веру и внутреннюю свободу (не зто ли хотел видеть Христос в Великом Инквизиторе?).

Таковой и была в своей сути (а не в социальном проявлении, порой далеком от идеала) русская авторитарная власть.

Меньше всего мне хотелось бы, чтобы поспешающий ум современного читатвля вынес скорое решение об авторитарной русской власти как современной панацее от всех бед. К сожалению, так уж повелось, дежурные и бдительные русофобы, оккупировавшие печать, завидев лишь, нат, не мысль, а даже предчувствие мысли о правдивом представлении русской истории, тотчас поднимают панику вокруг ее «идеализации», пишут о жаждущих возврата к ней и прочей чепухе.

И кого — подумать только! — берут свбв в защитники: Л. Толстого, Достоввского, Чехова, Салтыкова-Щедрина. Уймите страсти, господа хорошие и лукавые! Ваши «защитники» в отличие от вас были великими патриотами и, как все русские, желали ие более как совершенного качества, когда заглядывали в темные закоулки России. Они жаждали идеала, а не защищали, в отличие от вас, советский или «демократический» рай путем принижения истории России, ибо даже их всесильного воображения едва бы хватило им, чтобы представить масштаб предстоящих катастроф и потерь.

Не будем уповать только на прошлое, хотя бы потому, что многое из него уже не вернуть никогда, но пусть нас не оставит мысль о том, что путь в будущее должен пролегать через всю минувшую историю, а не только через семидесятилетний ее фрагмент.

Для очищения от скверны и лжи нам ничего так не нужно сегодня, как собственная правдивая история.

Дайте нам правдивые факты истории — и мы возродимся!..

Авторитарный тип русской власти, опираясь на веру, неизбежно выражал общечеловеческие ценности. «Русская идея» не только никогда ие носила возбужденно-националистического характера, но в глубоком, бытийном (а не социальном!) смысле никогда не была даже национальной. Что я имею в виду?

В отличие, например, от иудаизма, полагающего кровь критерием «чистоты», рус-

ское в высшем духовном смысле не национальность, а *духовное качество*, наподобие христианства: «не эллин, не иудей». Ведь прекрасно известно, что русским всегда считался подданный империи, исповедовавший Православие, независимо от крови (племенной принадлежности).

Потрясающе по лжи и цинизму желание нынешних либералов «приклеить» русским потребность выделять «чистоту крови».

Русский по национальности значит мыслящий образами русского сознания, чувствующий всем существом своим «русскую идею».

Другой вопрос, что основу, остов русской нации исторически составляли славяне, задающие основной ритм национальной русской психологии.

Любопытен в этом смысле феномен «русскоязычности». Это такое духовное состояние, при котором люди говорят по-русски, а психология и соответствующий ей образ мыслей — не русские, но какого-то иного национального сознания. Не худшего или лучшего, а другого!

Введенное ныне в оборот слово «русскоязычный» ничего не изобретает, а только фиксирует наличествующий *факт* размежевания психологии при одном языке. Поразительно, но именно это слово — знак, мету, тавро,— а не явление, которое это слово только *называет*, встречает в штыки определенная часть людей, как правило, литераторы. Более того, начинается какой-то дикий и абсурдный разговор о крови: что-де понятие «русскоязычный» размежевывает людей по крови. О, нет, лукавые! По духу размежевывает, вот в чем суть!

Мне абсолютно безразлично происхождение Исаака Левитана, имя которого у меня ассоциируется с высоким искусством беспредельно русской души, так же как не волнует меня и происхождение русского патриота Багратиона, равно как и великих русских умов Фонвизина, В. Даля, А. Фета и многих, многих других. Любопытный факт: почти у всех славянофилов, первыми в России ощутивших попрание русского национального самосознания, пращурами были татары. Эти и многие другие подобные им имена стали по праву гордостью русской нации.

Но, право же, трудно помочь какому-нибудь А. Кушнеру, который с такой же маниакальной страстью хочет быть русским поэтом, с какой подверстывает под «русских писателей» Бабеля и В. Гроссмана. Боюсь, невозможно объяснить ему и подобным, что «русский» это не звание и не должность, такое понятие никто не устанавливает и не отменяет.

Русский — это *состояние души*. Если его нет, так нет. О чем здесь спорить?

Живет в Израиле целая группа литераторов, бывших гражданами СССР. Пишут они по-русски, литературу эту называют «русскоязычной». Есть там и журналы русскоязычные, утверждены премии для «русскоязычных» литераторов. И заметьте, при этом нет ни у кого такой испепеляющей жажды быть русским писателем, как у наших внутренних «русскоязычных».

То, что происходит сейчас в сфере национальных отношений,—лишнее свидетельство того, как *советское* вытеснило в России *русское*. Космополитизм «советской нации» потерпел полный крах в национальном вопросе.

В чем Россия, без сомнения, преуспела, так это в решении национального вопроса. Вдумаемся только, ведь нигде и никогда на Земле не было такой *устойчивой*, существующей веками государственной многонациональности, хотя, как мы знаем, и существовали многие империи подобного рода. Мне вновь приходится ссылаться на работу И. Солоневича «Народная монархия», несомненно одну из лучших работ о проблеме русской государственности, которая фактически и красочно иллюстрирует национальный паритет в Российской империи (прекрасна в этом смысле и книга философа Ивана Ильина «Наши задачи»). И дело здесь вовсе не в пресловутом «равенстве» наций — этом лукавом призраке советской «семьи народов», который привел к сегодняшней угрозе развала Союза. Речь шла о свободном выражении своей национальной самобытности, об эволюционном, природно-заданном саморазвитии нации, в которые никогда (за редким исключением, подтверждающим правило) не вторгалась поучительно русская административная власть. Это *невмешательство* совокупно с экономической и культурной помощью, с защитой нацменьшинств от врага внешнего и внутреннего, защиты, сохранившей многие народы от полного уничтожения, создавали благоприятные условия для естественного, то есть жизнеспособного, становления межнациональных отношений на основе русского соборного начала.

Такой оборот дела, это следует отметить особо, в самой наименьшей степени зависел от воли «хорошего» или «плохого» монарха. Согласитесь, субъективизм связан со случайными событиями, между тем как в России устойчиво господствовала *система* органичной национальной политики.

Советское «равенство» сломало именно *естество* национальных отношений и саморазвития наций. Вытягивая все жилы из России, безжалостно ломая самобытность ее народов, советский Центр попытался волевым одноразовым усилием перебросить их из одной исторической формации в другую. И все это, разумеется, на основе «равенства», то есть *выравнивания*, полной нивелировки национальных особенностей. В итоге — дикая, лишенная жизненных оснований, смесь цивилизованной психологии с полуфеодальной и неслыханная озлобленность на советский Центр, несправедливо, до абсурда, отождествляемого с Россией. Я уж не говорю об общеизвестных сегодня сталинских разбоях, учиненных с величайшей жестокостью в отношении целого ряда национальных меньшинств.

Имея сегодня возможность сравнивать две формы межнационального развития — русскую и советскую,— приходится констатировать, что ленинское определение России как «тюрьмы народов»





абсолютно неверное, жестокое и унизительное для России.

Для Ленина-революционера в период важной сиюминутной политической ситуации не существовало ничего кроме выгод, которые можно было извлечь для очередного тактического шага к революции. Многими, порой противоречивыми (разные ситуации — разные сиюминутные выгоды) лозунгами зафиксировал Ленин конкретные политические задачи дня: о «русском шовинизме», о «партийности литературы», о «праве наций на самоопределение» и прочее. Эти тактические ходы, однако, примут потом черты всеобщей идеологической стратегии, станут жупелом для подавления любых ростков естественной общественной жизни.

Таким лозунгом, отражающим момент, стал и ярлык «тюрьма народов». Он был впрямую обращен к национальным меньшинствам, дабы возбудить в них ненависть к России и подтолкнуть к революции. Хорошо ли это было, правильно ли, нравственно ли — все это риторические вопросы применительно к революционерам, для которых, как известно, нравственно все, что работает на революцию...

Духовность — стержень русского национального собора. В самом деле, мог ли принцип «борьбы-демократии» осуществить такое пластичное национальное сосуществование? Примеры образования Германской, Австро-Венгерской, Английской империй решительно говорит об обратном.

Дать простор «русской идее»— значит вызвать центростремительные, объединяющие силы, которые всегда в России увлекали согласием все нации. Делается же сегодня все наоборот: поощряется национализм провинциальный и всеми силами душится «русская идея». Так советские деятели хотят решить проблему национального государства, разоряя и по сути дела уничтожая это самое государство. Ибо, как наглядно показала история, заменить *русское* космополитическим *советским* невозможно, как вообще ничем нельзя заменить нечто духовно первородное.

В этой связи приведу пример курьезного и типично советского разрешения межнациональных проблем.

В июне 1989 года по телевидению состоялась передача «Межнациональные отношения в зеркале мирового опыта», в которой участвовали ученые разных профилей и рангов О. Лацис, А. Искандеров, А. Хачатуров, Н. Симония, журналист-международник С. Кондрашов и обозреватель «Литгазеты» И. Беляев. Вел передачу, к слову сказать, вполне корректно Ф. Сейфуль-Мулюков.

Встреча началась и долго продолжалась под знакомый аккомпанемент уже затертой музыки — «сталинизм», «сталинская национальная политика». Люди в основном далеко не молодые, в *те времена* пели, понятное дело, другие песни, а кто-нибудь, поди, и Сталину успел воздать. Ну да ладно, это, как говорится, в порядке вещей обслуживать время по-советски.

А между тем зашел в передаче разговор о царской России, и все ученые — все, разумеется, большие доки по части русскости — как-то единодушно решили, что-де бессмысленно сегодня ставить вопрос о «старшем брате», о «первых среди равных». И все-то хорошо — традиционный советский променад по национальным проблемам. И тут вдруг И. Беляев подает робкий голос в защиту национальной политики царской России.

Бог ты мой, надо было видеть, что здесь началось с этой ученой братией. Куда что девалось — распектабельность, ученость, надмирный глас пророков в межнациональных отношениях... Особенно неистовствовал О. Лацис, во многом решающий в партийной печати душегрейный «русский вопрос», как решали его сородичи в 20-х годах с помощью маузера и штыка. «Как! — буквально перекосил он от ненависти лицо,— уж не отрицаете ли Вы, что Россия была «тюрьмой народов»!».

И это изрек соловей, который в общем хоре часа полтора пел отповедь сталинизму за трагедии, муки и кровь миллионов людей СССР, словом, за то, чего в России не было никогда и быть не могло.

Ах, Владимир Ильич! Какой же Вы подарок сделали для русофобов, введя в оборот эту сладкозвучную для них формулу — «тюрьма народов»!

Часто приходится слышать о том, что тезис «общечеловечности», вытекающий из «русской идеи», уводит нас от конкретных, насущных задач, тормозит внутреннее самоустройство. Думается, что такое мнение основано на недоразумении. Всемирная отзывчивость и общечеловечность — это вовсе не искусственное стремление к реализации избыточных чувств вовне — на все человечество. Эти категории выражают коренные основы русскости. Они неотрывны от «русской идеи», они, в известном смысле, и есть «русская идея». Духовное бытие «собора», каким стал русский народ, неизбежно включает в себя общечеловеческое. Это не заслуга, не вина и не беда русского народа, а планида, исторический крест. Так суждено было высказаться природе. В то же время это и не мессианство (ведь «русская идея» никому и ничего никогда не навязывала и не противопоставляла ни теоретически, ни практически), а сохранение «человеческого в человеке» до момента опамятования людей на краю бездны. Именно тогда станет ясным до конца великая значимость «общечеловеческого» русского народа.

Суть «русской идеи» — это бесконечное *трехмерное* пространство живого космоса, которое включает в себя три ипостаси бытия: Бог (душа и небо), ближние (душа и Земля), Родина (душа и мир).

В социальном бытовании «русская идея» всегда воплощала авторитарную власть, основанную на Православии.

## Часть III
## РОССИЯ — ЗАПАД. БЕЗ РАВНОВЕСИЯ

Подведем итог.

Россия и Запад, как явствует из сказанного, олицетворяли в своем историческом развитии два онтологических типа обще-жития, которые выражали соответственно два типа власти: авторитарную и тоталитарную. Эти два типа обще-жития не просто различны, но и резко полярны, ибо строятся на основаниях, исключающих друг друга.

Развитие цивилизации, стало быть, заключается в смене авторитарной системы на тоталитарную. Процесс этот, как любое коренное социальное переустройство, происходил всегда и везде с мучительным изломом общественного сознания, драматично, а порой и весьма трагично. Вспомним афористическое «Быть или не быть?» Гамлета, исполненное высшего трагического предощущения, с которым входила личность в мир самопознания, когда рушилась и сходила на нет авторитарная психология на Западе (излишне, полагаю, говорить о том, что авторитарность была и на Западе, но имела, это весьма существенно, совсем иные формы, чем в России, что и обусловило качественно иной переход к «демократии»).

России еще предстояли 300 лет разора, внутреннего собирания, поиска духовных и социальных скреп. Россия в муках выстрадала «идею авторитета», как самую надежную форму духовного собора людей. Идея эта настойчиво обживалась, всемерно крепла и постепенно пронизывала всю формирующуюся государственную структуру.

А параллельно ей и рядом с ней без фундаментальных потрясений, истово и основательно обустраивалась иная, западная форма государственности.

Исходя из исторической перспективы, можно не без основания полагать, что Запад избрал тупиковый маршрут жизненного пути, ведущий к самоуничтожению. Однако следует признать и другое: путь этот не был насильственен, он обусловлен естеством *особого развития*.

Но ведь и русская авторитарность после мучительного самозарождения также развивалась органично, естественно, последовательно.

Тесная географическая соприкасаемость носителей двух типов обще-жития сыграла роковую роль исключительно для России. Ведь нет никакого сомнения в том, что два соприкасающихся бытия не могли существовать без взаимного влияния. В действительности влияние было, но, увы, далеко не взаимным. Напротив. Именно цивилизованный «пресс» Запада доминировал во взаиморазвитии, постоянно, шаг за шагом, в течение всей истории деформируя органическую жизнь русской самобытности.

Менее всего мне хотелось бы давать повод думать, будто я имею намерение обвинять, искать чьи-то «злые козни». Такой стереотип, весьма популярный в современном журнализме, не приемлем для разговора о сущностных путях истории. «Пресс» Запада, то есть одностороннее проникновение западной цивилизации в русское самосознание, вполне объяснимо.

Русский философ С. Трубецкой в своем исследовании «Европа и человечество» писал: «Европейская культура не есть культура человечества. Это есть продукт истории определенной этнической группы». Такой группой философ считал романо-германское племя, которое хотя и выделило из себя со временем различные нации, тем не менее связано общей культурой, историей, степенью родства.

Когда эта этническая группа воспринимает свою, по сути дела, племенную культуру не иначе как общечеловеческой и в таком виде упорно *насаждает* ее везде, где этому благоприятствует возможность, то такой образ действия, как отмечает С. Трубецкой, носит закамуфлированную форму *шовинизма*.

И дело, повторюсь, не в злонамеренных кознях, но в объективных основаниях, связанных с развитием капитализма: острая нужда в рынках сбыта, сырья, рабочей силы, экспорт капитала и прочее.

Западный шовинизм, основанный на эгоцентрической психологии неповторимости и превосходства, с поразительной легкостью входит в *любое тщеславное* сознание, не относящееся к романо-германскому племени, как мысль о приобщении к «мировой цивилизации». Исключительное по важности обстоятельство! В немалой степени оно проявляется и по причине видимого материального превосходства Запада, что особенно бьет по чувствительным нервам снобов и не в меру эгоистичных людей.

Западный шовинизм — это безудержное и агрессивное проникновение *духа материи и коммерции* в поры мировой жизни.

Спрашивается: могло ли русское бытие оставаться до конца стойким перед таким мощным, но *скрытым* натиском?

Вопрос, как кажется, содержит в себе всю суть рассматриваемой нами проблемы.

Речь, в сущности, идет о высшем смысле жизни: как *легче жить* — с нравственным самоограничением в «соборе» или в ореоле самодостаточного эгоцентризма? Совершенно очевидно, что природа человека, и это гениально показал Достоевский, алкает жизни *для себя*. Так жить проще, соблазнительней, такая жизнь приносит больше удовольствий.

«Собор» собирает людей, «эго» разрушает его, ибо получать в обществе удовольствие можно только за счет кого-то. Надо ли доказывать, что разрушать гораздо легче, чем созидать, и соответственно возбудить в человеке разрушительные страсти несравненно легче, чем склонить его к нравственному самоограничению.

Исторический опыт свидетельствует: масса «свободных» людей, «спаянных» потребительством, никогда не сможет добровольно пойти на нравственное самоограничение. Вспомним страстное слово Великого Инквизитора о неуправляемом стаде «свободных» людей, разрушительную свободу которых может обуздать только авторитет. Так на то он и инквизитор, скажут мне. Тогда отчего же Христос поцеловал старца? Есть, видимо, великая и негласная истина в царственных словах Великого Инквизитора: только ощущение смертельной бездны или воля освященного Церковью монарха способны собрать «свободное» стадо в достойное качество — НАРОД.

Так могло ли русское бытие до конца быть стойким перед мощным, но скрытым натиском западного шовинизма? Конечно же, нет. Ибо русские — живые люди без мифологических заявок на «избранность». Поразительно, но нигде в русской мысли вы не найдете не только упоминания об «избранности» русского народа, но даже обоснованного намека на эту очевидную нелепость. «Избранность» и «исключительность», как почетное звание, присваивает русским «малый народ» (И. Шафаревич), чтобы таким безнравственным образом третировать русское национальное сознание. Между тем у русских изначально природная психика такая же, как у всех народов, и в ней, без сомнения, можно всегда обнаружить благодатную почву для семян западного шовинизма, хотя природа людей, разумеется, не единственная нива для такого «посева».

Есть, без сомнения, и объективные причины, ускоряющие этот процесс. К ним в первую очередь относятся: рост городов, торговля, культурный обмен и прочие факторы прогресса. Но вот что в высшей степени любопытно: до какого-то определенного времени (возможно, до реформ Петра I) прогресс не диктовал условия жизни, но, органично вписываясь в «собор», был *средством* духовного развития. Россия жила во имя того, чтобы жить (а не безумно производить), воплощая, таким образом, саму природную идею человеческого рода. Ведь не случайно именно в этот период родилась русская духовная философия, глубину и мощь которой не видывала позже западная мысль. Надрессированные на схоластическом талмудизме гегельянства, фейербахианства, марксизма, мы не только не знали, да ведь и слыхом не слыхивали о наших гениях той поры — Иларионе, Иосифе Волоцком, Ниле Сорском, Пафнутии Боровском, например.

Говоря о сущностных принципах «русской идеи», я почти не касаюсь социально-политического, реально-жизненного воплощения ее, что составляло бы иной предмет разговора, иной круг идей и событий. Реальность сложна и многообразна, здесь, как при трактовке художественного образа, непочатый край желаний, исходных установок, интересов.

У великого народа великая история. И даже драматизм ее велик, ибо развивается на магистральных путях мировой истории. Однако жизненный реализм русской истории не идеален и не безоблачен. Никогда ни один русский мыслитель в отличие от словоохотливых марксистов не предвещал России земного рая. То, что теперь называется «все, как у цивилизованных людей», всегда было в России: частная собственность, рынок, чувство хозяина. Почитайте материалы «Россия 1894—1917 в цифрах и фактах» («Литературная Россия», 1990, № 36) и вы поймете, почему все 70 лет так тщательно скрывались эти цифры и факты. Вы поймете, что революции уничтожили *процветающую Россию*, чьи хозяйственные и социальные показатели превосходили большинство советских. Вы поймете, что «русская идея» никогда не противоречила всем *естественным* формам хозяйствования, включая рынок, но предполагала, однако, зависимость хозяйства от чего-то возвышенного и духовного. Вы поймете, наконец, что, укрывая историческую правду, советские власть имущие таким образом существенно набивали цену весьма скромным достижениям «социализма».

Русская история решала, без сомнения, великую задачу: осуществление попытки сопряжения приоритетных духовных целей с необходимым материальным достатком.

Истина этой жизни в значительной мере созвучна идеям Л. Толстого: производить ровно столько, чтобы испытывать достаток, не возбуждающий желания избытка, сверхмерного куска, оторванного у другого. И если развивающийся рынок требовал энергии иной направленности, то в России доставало и других духовных сил. Ведь не случайно П. Столыпин «разрушал» только общины, насильственно созданные, но не все, а землею он наделял крестьян *без права продажи*. Мысль о хозяине, чья частная собственность делала человека *личностью и кормильцем*, а не хищником, вступающим на большую дорогу, что ведет к бездне, была истинно русской мыслью гениального русского политика Столыпина...

И все-таки, так ли уж безмятежна была истинная жизнь России? Увы. Оказалось, что жизнь духовная в соседстве с агрессивной «материально-эгоцентрической» жизнью не только затруднительна, а порой так и невозможна. Духовное содержание бытия сдерживало рост материальной сферы ровно настолько, насколько сфера «материи» оправдывала себя как средство жизни. В итоге — Россия всю свою историю отставала от Запада в материальном оснащении, которое там все больше и больше из средства жизни превращалось в цель. Когда русофобы с академической серьезностью или с «огоньковским» подвизгиванием клеймят Россию за вечное отставание от цивилизованного Запада, они наглядно демонстрируют свою *вненаходимость* по отношению к «русской идее», то есть практическую неспособность понимать и чувствовать ее.

Судите сами. Во все времена истории в короткие и жизненно необходимые промежутки социальных спуртов Россия демонстрировала образцы такой мобилизации воли, трудолюбия и таланта, которые не снились другим народам. Пример невообразимого, почти мистического решения неотложной задачи показала история организации всех решающих сфер жизни во время Великой Отечественной войны. В то время наша слабая научная и техническая

оснащенность жестко потребовала, к примеру, эффективного компонента для взрывчатых веществ. И он творчески (!!!) был создан за несколько месяцев. В США его изобрели спустя 15 лет.

Спрашивается: да что ж это за нелепость — из эпохи в эпоху плестись в хвосте Запада, имея свой гигантский интеллектуальный и материальный потенциал? А вся нехитрая премудрость «отставания» в том и состоит, что Россия искони пыталась строить свое бытие на иных основаниях сравнительно с Западом.

Уместнее, следовательно, задать другой вопрос: а был ли терпим западный сосед к жизни России? Ведь ее техническое отставание никогда не выпадало из его поля зрения. Любая роковая случайность, любой внутренний разор — и Запад тут как тут, готовый вмиг подогреть варево русской смуты.

Сам Запад, надобно заметить, развивался всегда органично и истово и по своим понятиям с великой целесообразностью. Его внутренняя самодостаточность существует, следовательно, без ущерба для России. Беды начинаются в точке пересечения двух субстанций человеческого обще-жития, там, где в западной психологии просыпается вдруг энергия подавления, замещения, право на первородство от вздорных идей до прямой агрессии. И как при этом испытывается русский характер!

Анализируя исследования историка Л. Гумилева в области этногенеза, философ Ю. Бородай делает весьма важное замечание: при слиянии двух разных культур (особенно при «болезни» одной из них) «...проявляется вандализм, который одинаково деформирует и тех, кого губят, и тех, кто губит. Здесь возникает массовый психологический синдром, выражающийся в потребности во что бы то ни стало «переделать» не устраивающую их природу и культуру, причем переделка эта, как правило, выливается в разрушение».

Так от слияния органических самих по себе мироощущений эллинов и иудеев во II—I вв. до н. э. возник гностицизм — разрушительная система. Но наиболее страшное по своим последствиям оказалось так называемое «манихейство» — результат сращения эллинства, иудейства и иранства в III в.

Вековые смешения западной и русской культур породили в конечном счете систему разрушения, едва ли уступающей манихейству, хотя и декларирующей в отличие от манихейства химерические идеелы справедливости.

Историческая трагедия России состоит в том, что она *не могла и не может окончательно отказаться от своего сущностного естества* (то есть от «русской идеи»), но в то же время как в силу объективных, так и в силу субъективных причин она *бессильна отринуть от себя чужую и чуждую систему западных ценностей*, но именно как систему, *подменяющую* национальную самобытность.

Такая раздвоенность рождала мучительное состояние сознания. Им, по-видимому, и объясняется вечно пульсирующая рефлексия русского ума, взыскующего правды, а по сути дела, своего целостного духовного естества. Эта рефлексия интригующе-соблазнительна для той трезво-отзывчивой западной души, которая инстинктивно тянется к высокой духовности «русской идеи», искренне пытается понять ее, да так и не понимает окончательно.

Возбуждение русского ума, другими словами, объясняется простым и естественным желанием обрести *духовную независимость* от агрессивно навязываемой «цивилизации», жаждущей не *помочь*, а *подавить* «русскую идею», сломать кряжистый и неохватный ствол своеобразной вековой истории.

Вот цепочка только некоторых знаменательных событий в летописи России, перечень которых со всей наглядностью показывает резко прогрессирующее по времени влияние западного шовинизма на уклад русской жизни: *«ересь жидовствующих» — смута — раскол — реформы Петра I — бироновщина — царствование Павла I — декабристы — революционный терроризм — три революции.*

(Эта цепь событий ляжет в основу всех наших последующих рассуждений, и мы будем часто ссылаться на нее.)

Видимо, любая буржуазная школе политологии посоветует вам заметить в этой «цепочке событий» только одно: объективное развитие капитализма в России. А ленинизм добавит к этому и неизбежное движение России к революции.

Однако сегодня даже незрячий увидит здесь совсем иное. К революциям — ни к той, ни к другой — Россия как историческая данность, вопреки расхожим идейкам «демократов», не имеет никакого отношения. Ведь ни одна революция в России, именно как объективно-революционное притязание *нового класса*, не случилась, ибо в России не было в то время никаких иных по отношению к ее историческому укладу новых общественно-экономических образований, существенно влияющих на развитие государства и способных предъявить альтернативные принципы созидания. Февральская «революция» была организована, как хорошо известно, масонами и, следовательно, еще многое хранит в тайне. То, что кучка жалких и презренных шутов во Временном правительстве никого и ничего не представляла, явствует из тотального развала государства за восемь месяцев «мелкой бесовщины». Большевики в чудовищном пире разрушения власть, по убедительному мнению, «подобрали». Утверждать, что они выражали в то время какие-то исторически сложившиеся общественные структуры в России, может сегодня, когда правда о революции постепенно становится всеобщим достоянием, только неисправимый шутник.

«Цепь событий», приведенных мною, дает, конечно, повод говорить о капитализации России, но не как о главном, определяющем процессе, а, напротив, как о сугубо подчиненном духовной доминанте, то есть как о средстве, а не цели. Наши революционеры, подобно всем западным людям, объясняли такой процесс исключительно традиционным отставанием России. Все они — жаждущие революций — никогда не давали себе труда хоть как-то понять Россию, прислушаться к пульсу русской самобытности. Об этом свидетельствует, в частности, их лживый термин «обломовщина», особенно страстно подогревающий революционную бесноватость, жажду научить в конце концов жить русских, «как все».

Выделить из «лени» Обломова субстрат «обломовщины» может сегодня любой надрессированный советской педагогикой школьник. Политизация, плоский журнализм, идеологическая закомплексованность — вот все, что внесли прогрессивные революционеры всех мастей в «русскую идею». Откуда же им с партийной корыстью (это в лучшем случае!) понять феномен Обломова?

Между тем этот образ художественно олицетворяет «русскую идею». Обломов — плоть и кровь России с ее душевной созерцательностью, берущей от материальной жизни *ровно столько, чтобы жить воедино с природой, с людьми, с Богом*, то есть сохранять человеческое в человеке. Всякая избыточно-предприимчивая деятельность в городе (Штольц) рано или поздно превращает «дело» в новую, уже независимую от человека «синтетическую природу», порабощающую человека, отталкивающую его от ближнего, от праматери природы, от Бога. «Лень» Обломова — это болезненная форма протеста против *избытка* «дела», подобно тому, как позже революционный террор в России оказался болезненной реакцией на *избыток* «демократии».

Такова «русская идея», плохая или хорошая ли, но желающая оставаться сама собой без удушающих объятий любвеобильных «демократов».

А они, увы, никогда не были способны желанным и всеобъемлющим сознанием понять, что возможность соборного участия в мировом процессе «русской идеи» в качестве самобытно-несхожего лица — это ведь и есть подлинная демократия. Какого же вам еще рожна, русские г. г. «демократы» всех времен, требующие везде и всюду индивидуальности — неповторимости — свободы и загоняющие Русь в прокрустово ложе единоликой стандартной цивилизации?

Молчат на эту тему русские «демократы» всех времен, знай себе подталкивают придуманное движение России, ускоряют, революционно реформируют, стараясь хоть разорвать ее, в крови утопить, да хоть всю уничтожить, но догнать вожделенный Запад сегодня, сейчас, сию минуту.

Таким образом и формируется в истории России трагическая цепочка последовательного и жесточайшего излома русской самобытной жизни, который наиболее полно и бесчеловечно выразился в *русских революциях*...

* * *

Революции в России — уникальный клубок, запутавший на долгие лета судьбы людей, поколений, классов, государства. Они ничего не разрешили: ни экономических, ни социальных, ни нравственных, ни национальных проблем. Напротив, они осложнили и запутали их до предела. Те достижения за 70 лет, которые, несомненно, были, невозможно отнести, повторюсь, к разряду особенных, специфических, связанных с победой «социализма».

Ведь эти, к слову сказать, весьма скромные «достижения» и сравнить-то не с чем, ибо совсем неизвестно, чего бы достигла за 70 лет Россия без «социализма». Точнее говоря, объективно неизвестно, а предположительно, так, напротив, несложно догадаться, что Россия выглядела бы без чудовищных потерь «социализма» гораздо лучше, если принять во внимание (с любыми оговорками) процветающую Финляндию, с которой у России разошлись дороги именно после революции.

Есть основания полагать, что революции были России навязаны, они были «сделаны» и явились вершиной, а точнее, последним логическим шагом внедряющегося в «русскую идею» западного шовинизма. С известной долей условности можно даже утверждать, что приведенная выше цепь исторических событий свидетельствует о последовательном и целенаправленном движении западного шовинизма к своему безграничному влиянию, *венцом которого и стали революции*.

Здесь вновь уместно оговориться о «вине» внешних, навязываемых России сил. Повторюсь, на онтологическом уровне, который олицетворяет «русская идея», говорить о «виноватых» просто нелепо, особенно когда речь идет о радикальных общественных переменах. Искать на этом сущностном уровне «вину», особенно среди инородцев, значит не понимать коренных проблем истории и оказывать большую честь «малому народу», рассматривая его как судьбоносный в истории великой нации, что совершенно нелепо. Участие «малого народа» в революции несомненно, как очевиден и акцент его участия в гражданской войне, которую он фактически превратил в национальную. Но все это не более как традиционное для «малого народа» использование объективных ситуаций и слабостей людей, групп, государств, использование для внедрения и придание объективным событиям специфических форм, тональностей, окрасок. Однако это уже тема другого разговора.

Необходимо, следовательно, с неизбежной прямотой ответить на самый каверзный *наш русский вопрос*: как великая нация с такой необъяснимой легкостью допускает эксперименты над собой?

Случай помог низвергнуть монарха. И после этого вдруг с потрясающим откровением обнажилась чудовищная истина: авторитарная структура без монарха оказалась *абсолютно беззащитной* перед напором западной формы тоталитаризма (нечто подобное было, правда, во времена Великой смуты). И в этом вся бесхитростная причина успеха русских революций. Но такая кажущаяся простота обманчива: беззащитность перед тоталитаризмом — отнюдь не слабость, а плод духовной истории России.

В беззащитной податливости весь узел

противоречивых бытийных существований России и Запада. Не было в общественной русской психологии, основанной на религиозном чувстве и уважении к авторитету, ни грана готовности к отпору демагогической агрессии, манипуляционного обмана и, наконец, такого уникально бесчеловеческого террора. В пьесе А. Солженицына «Пленники» есть один красноречивый эпизод. Полковник НКГБ Рублев укоряет бывшего офицера русской армии Воротынцева в мягкотелости царского режима: «Вам, чтобы победить, нужно было быть беспощадными», на что Воротынцев резонно возражает: «Но тогда чем бы мы отличались от вас?».

«Вина» России в неготовности к бурной и безжалостной революции заключена в ее духовной самобытности, как оказалось, более высокой, зрелой и человечной в сравнении с пещерными символами и фантомами, привнесенными с Запада революционными идеями.

Трудно, но крайне необходимо понять, что при всех издержках Россия всегда была в состоянии отразить любую ВНЕШНЮЮ агрессию, но не могла в полной мере противостоять агрессивной силе, проникающей извне во ВНУТРЕННЮЮ ее жизнь. Ибо сохранять приоритет духовности и при этом успешно наращивать материальные силы для самообороны от внешней и внутренней агрессии решительно невозможно. Или, выражаясь по-другому, быть великой нацией, к тому же отзывчивой, веротерпимой, неизоляционистской, сохраняя одновременно свое лицо перед мощным давлением безликой цивилизации,— задаче, скажем прямо, невыполнимая.

Какое поистине великое открытие сделал А. Солженицын, указав именно на февраль 1917 г., как на рубеж российской трагедии. Дело в том, что этот рубеж знаменовал собой, по сути дела, *мгновенный переход* от авторитарной системы власти к тоталитарной. В спрессованной исторической «точке» (февраль — октябрь 1917-го) не было ни вековой западной постепенности, ни долголетних становлений новых организационных структур, ни упорной отладки, как это было на Западе, бескровной системы манипуляции.

Здесь воистину оборвалась связь времен. В короткое время *масса* стала всевластной силой, разрушив за восемь месяцев все нажитые за историю общественные институты.

Вышедшая на историческую арену народная масса Запада обуздывалась десятилетиями, веками. Для обуздания неистовой, неожиданно выплеснувшейся русской анархии были отпущены дни, месяцы.

Какая же сила была способна осуществить это едва ли реальное дело?

Только та, что могла творить во имя ЛЮБОЙ ПРИДУМАННОЙ ИДЕИ массовый и неслыханный по масштабам террор.

В «русской идее» такой волевой готовности не было никогда. (Иван Грозный и Петр I, несомненно, выделялись из всех русских монархов своим своевластием, но, во-первых, не были одиозными в контексте всемирной истории, во-вторых, не разрушали культуру, и в-третьих, не делали из террора *цель*. Это слишком очевидно, чтобы тиражировать байки русофобов о традиции террора в России.)

Ситуация в России алкала сдерживающей и крутой силы. И она явилась. Рожденная в недрах западного тоталитаризма, выплавленная в горниле мировоззрения *борьбы за власть* клана, корпорации, партии (о чем мы пространно говорили выше). Марксизм впервые открыто и радикально явил в своем опыте то, что впрямую вытекало из самой природы западной демократии, а именно — идею борьбы за власть *любыми средствами*.

Не важно, что никакой реальной революционностью рабочий класс не обладает, не важно, что в России не было вообще рабочего класса как влиятельной общественной силы, не важно, что капитализм, как явствует из его истории, никаким социализмом не чреват.

Важно было другое: почти детская беззащитность обезглавленной авторитарной системы перед напором любой формы демагогии и манипуляции создавала в России социальный вакуум, то есть идеальные условия для апробации любой авантюры. Не теория «социализма» подвигла большевиков к захвату власти, а *реальная возможность захвата*.

Вдуматься только! Ни до 17-го года, ни после, ни десять, ни семьдесят лет спустя никто не знал *конкретно*, во имя чего все это делается. Ведь в период «военного коммунизма», то есть через каких-нибудь три года, УЖЕ стала ясна вся абсурдность эксперимента.

НЭП явился вовсе не новым и конечно же не гениальным прочтением эксперимента, которое нынче возбудило ортодоксальные умы очередной интерпретационной эйфорией. НЭП оказался единственным и вынужденным шагом назад, чтобы не доканать голодом всю страну. Он наглядно показал, что «учение о социализме» на практике есть ристалище для борьбы за власть кланов, корпораций, групп, то есть вариант *тоталитарной системы*.

Весьма колоритно и на пределе искренности передает ощущение борьбы во имя «перспективной пустоты» герой романа Ю. Домбровского следователь Яков Абрамович Нейман («Факультет ненужных вещей»): «Теперь уж не я перед людьми виноват, а они передо мной. И безвыходно, пожизненно, без пощады и выкупа виноваты! Отошли их времена, настали наши. **А вот к лучшему они или к худшему, я уж и сам не знаю** (выделено мною.— Д. И.)». И далее он же: «А я разве во что верю?».

Россия не была, да и не могла быть готова к ненасильственной перемене уклада. «Цепь событий» наглядно показывает, что западное внедрение росло и ширилось, не прививаясь и не внедряясь целостно в здоровый организм России, но неуклонно раз за разом подрывая его, чем ближе к 17-му году, тем глубже и шире.

Не Ленин, так Троцкий, не Троцкий, так Бухарин, Сталин, Савинков... Много их было, могущих террором воссоединить прерванную связь времен. И в этом была, увы, своя чудовищная логика истории...





Гений Достоевского пророчески предсказал ее как *реакцию на бесовщину*: они (то есть бездумно расшатывающие действия: февраль 17-го, хрущевская «чехарда», «перестройка») необходимы: «...для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал: для того, чтобы всех обескуражить и изо всего сделать *кашу* (разрядка моя.— Д. И.), и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, но с бесконечною жаждой какой-нибудь *руководящей мысли и самосохранения* (разрядка моя.— Д. И.) взять в свои руки...» («Бесы»). Из этого поистине гениального предвидения впрямую вытекает: сталинизм — это гипертрофированная тоталитарная реакция *самосохранения* государства на вирус тоталитарной бесовщины в феврале 1917 года, брежневизм — бескровная реакция на бескровную бесовщину хрущевской «чехарды». А какова будет реакция на бесовщину перестройки?

Константин Леонтьев сравнивал государственный организм с живым. Аналогия в высшей степени уместна в нашем случае. Что такое болезнь для живого организма? Она *неестественна* для него, но *естественна* с точки зрения самосохранения и *реакции* организма на возбудителя болезни.

Все социальные отзвуки на болезненную бесовщину в России — сталинизм, брежневизм — трагичны, мучительны, нездоровы. Но в то же время они представляют собой специфическую (сообразно вирусу) *реакцию самосохранения* государственного организма от развала, распада, *каши* («Бесы»), которых упорно и насильно добиваются российские бесы, вооруженные идеями западного тоталитаризма.

Коммунистический тоталитаризм, таким образом,— это венец *западного*, проявившийся открыто как специфическая реакция на прививку его русскому государственному организму, то есть тяжелая тоталитарная болезнь от внесенного извне вируса тоталитаризма.

Всё в итоге обрело черты Великой смуты — ни «русской идеи», ни западной «демократии». Таков неизбежный итог всех попыток насильственного навязывания России западной «демократии», попыток, кажущихся «бесам» чрезвычайно легкими в среде доверчивых и терпеливых русских людей.

Есть еще одна важная и поучительная особенность русских революций. Они со всей основательностью развеяли миф о «несвободе» авторитарной власти.

Идея о том, что русский самодержец обладал неограниченной властью и, стало быть, воплощал власть тоталитарную, насквозь безграмотная и лживая. Русский историк Ключевский, оценивая восстание декабристов, справедливо отмечал, что оно знаменовало собой конец *реальной власти* дворян, которой предшествовала, к слову сказать, не менее реальная власть бояр. Вспомним, каким веским для монарха было слово Земского собора.

Начиная с середины XIX века политическую арену России обживают реальные оппозиционные силы в лице либеральной интеллигенции, земства, активного крестьянства, партии, прессы и вообще достаточно основательный пласт, именуемый «общественным мнением».

Иначе говоря, во все времена русской истории, кроме единичных случаев, связанных с особыми обстоятельствами, мы легко обнаружим в общественной среде подвижную, но стойкую когорту людей с активным общественным интересом. Этот слой я бы назвал «активным классом», имея в виду его реальное влияние на власть монарха.

Авторитарная власть, следовательно, через «активный класс» ровно настолько была несвободна, насколько можно было исключить опрокидывание ее в тоталитарную систему. С другой стороны, она была в такой же степени реальной силой, способной сдерживать первородную русскую анархию, управлять самым большим в мире государством, сохранять самым деликатным образом межнациональные связи.

Русская авторитарная власть — это сбалансированная система народовластия и силы единоличного авторитета. Оттого-то и не было в России таких оргий безумного террора, ослабевающего экономику, военную мощь, разрушающего культуру. В России никогда не было *самоуничтожения*, даже в трудные времена Ивана Грозного и Петра Первого.

Отчего же возникла необходимость таких жестоких мер и массового террора в гражданскую войну и, что особенно странно, в 20-е годы? Ведь, казалось бы, власть монарха низвергнута, он и его семья расстреляны, гражданская война выиграна. Есть, казалось бы, все основания угомониться, чтобы начать строить так желанный социализм. Откуда же, спрашивается, такая жажда террора в этот победный час? Отнесем к насилию не только прямые убийства, но такие злодеяния, как высылка интеллигенции из России, организованный в 33-м году искусственный голод на юге России и Украине.

Есть, без сомнения, резон в суждении об истреблении русского народа радикалами-националистами из среды национальных меньшинств. Да, геноцид русского народа, без сомнения, был, но была и еще одна причина террора и социального геноцида: уничтожался *«активный класс»* русской авторитарной власти. Офицеры и священнослужители расстреливались, интеллигенты выселялись из России и всячески преследовались, самое тягловое крестьянство вырубалось под корень. Можно с полной уверенностью утверждать, что большевики покончили с русской авторитарной властью только в начале 30-х годов.

Но вот что любопытно. Вакуум «активного класса», кстати сказать, в высшей степени трудового класса, цвета нации, стал заполняться уникальной прослойкой дармоедов-управленцев из тех комбедовцев, люмпенов и «малого народа», которые вовремя влились в стихию бунта,

умело захватив позицию «револьверных вожаков». Это была серая, безграмотная, беспощадная масса, овладевшая основными трескучими лозунгами и не умевшая ничего, кроме тупого и беспрекословного исполнения любых команд. Именно они составили костяк будущей командно-административной системы. В 1921 году их было уже около 4 млн. человек. Они-то, в той или иной степени, и были исполнителями «чисток» в 20-е годы. Они-то и оказались фалангой тех, от которых исходила реальная угроза превращения, как всяких победителей, в новый «активный класс».

Сталин зорко вглядывался в зарождающиеся события, результатом чего и явилась вторая волна репрессий 30-х годов, с помощью которых Сталин ликвидировал «когорту победителей 20-х», уничтожив в зародыше саму потенцию «активного класса».

Русские революции, отметим, итожа сказанное, не были объективной необходимостью. На социальном уровне они воплощали смуты, организуемые горсткой революционеров, никого собой не представляющих, озлобленных, недовольных, обнищавших духовно и материально людей, которые наличествуют в любом обществе. Апелляция к озлобленным и обнищавшим, как показал философ А. Ципко («Новый мир», 1990. № 4), является чуть ли не краеугольным камнем марксизма.

И это в высшей степени логично, ибо истинный человек труда, человек, созидающий и ценящий труд как одну из высших форм нравственности, не может психологически быть готовым к разрушению и бунту. Самый характерный пример — «бунт» дяди Вани в пьесе Чехова.

Чем больше сегодня вскрывается фактов, связанных с революционными событиями 1917 года, тем все более становится ясным, что это был звездный час самых низменных человеческих страстей, о которых поистине пророчески поведал нам еще Достоевский. За идейными, парадно-романтическими аксессуарами официальной историографии постепенно проступают реалистические черты «движущей силы» революции: зависть к чужому добру, открывшаяся возможность с помощью револьвера вмиг вознестись к жизненным благам и компенсировать свою некчемность, возбужденный национализм, натренированная терроризмом садистская психология. Неужели можно поверить, что зверскую расправу над царской семьей, например, совершали нормальные люди? А кровавые «бани» в Петрограде, Киеве, Одессе, Крыму, на Дону в отношении казачества? А зверства над священнослужителями? Тут на сталинизм ничего не спишешь.

Определял ли в полной мере революцию весь этот ужас,— не берусь судить, ибо сам сравнительно недавно, что называется, прозрел. Кое-что, однако, в этой трагической истории вырисовывается наглядно: отсутствие объективных предпосылок для революции понуждало революционеров *любой ценой* брать власть и *любой же ценой* ее удерживать, насилуя реальное естество жизни. При этом никакого здравого ограничения у этой цены, естественно, не существовало. Какие силы человеческого духа могли оплатить векселя такой «революции»? Разумеется, только подкорковые, темные, иррациональные.

Из какой истории теоретики марксизма-ленинизма извлекли ненависть как созидающую силу? Где и когда герастратов комплекс создавал творения, достойные человека?

Ненависть — это природа, и ее не вылечить никаким «лекарям», как презрительно называл Достоевский революционных «бесов». Ненависть нельзя устранить, исправить, заменить. Ее возможно только превозмочь. Добром и любовью.

Революционное разрушение — удел люмпенов, абсолютного меньшинства, жаждущего определиться за чужой счет. Это такой же, если не хуже, акт несправедливости, каким является общество эксплуатации. Русская исконная вольница давала повод для бунтов, и они, естественно, были, как и в любом обществе, но никогда не носили характера национального бедствия.

Революции потому и оказались возможными, что гуманный авторитарный режим монарха беспрепятственно позволял им развиваться. Столыпинский «террор» — шулерская идеологическая утка советской историографии. Ведь хорошо известно, что «полевые суды» казнили убийц, которых социал-демократы окрестили «революционерами». Известно, что от их рук погибло более двух тысяч невинных людей, среди которых было много женщин и детей (между тем по решению «полевых судов» казнили около семисот человек, схваченных на месте преступления).

В относительной дозволенности революционных смут и вся правда революционных успехов. А точнее говоря, **в столкновении человечной, гуманной русской авторитарности с безжелостным западным тоталитаризмом, носителем которого в России и были революционеры.**

Таким образом, при всей кажущейся случайности победа революции в России в той или иной форме была предрешена. Она знаменовала окончательное утверждение в так называемом «цивилизованном мире» новой сущности человеческого обще-жития — тоталитаризма.

Сила авторитета была заменена авторитетом силы. Освященный Церковью монарх — властью кланов, корпорантов, групп.

Либералы, комментируя революционное насилие, все в один голос вещают: не было в России опыта демократии — гаранта от насилия. Но почему, позволительно спросить, России нужен опыт *другого бытия*, как мы пытались показать, отнюдь не универсального, а частного опыта — жития романо-германского племени? Ведь опыт народа определяется не чьим-то желанием, а органичной реализацией народной воли. Если бы Россия была готова к разгулу демократии, то это было бы государство с опытом западной тоталитарной структуры, имеющим схожую с Западом историю. Россия же имела свой лик. Свою историю. Свои блистательные достижения.



Свой вклад в мировую культуру, который еще скажется с особой силой, ибо будущее не кончается...

Россия была *не хуже и не лучше* Запада. Она была в такой же мере своеобразной, как и Запад, поэтому вытеснение с исторической арены западным тоталитаризмом русской авторитарности не означает поражения России и победу Запада, то есть не выражает *преимущества* западного бытия, гарантирующего победу. Вытеснение означает всемирно-исторический этап — окончательное перерождение *культуры в цивилизацию*. Оно знаменует завершение подготовительной работы человечества к движению в тупик. **Другими словами, крушение авторитарной России было, по сути дела, поражением *человечества*.**

## Часть IV
## ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?

Страшно подумать: будущее страны находится сегодня в руках экономистов — узкопрофессиональных ремесленников, не знающих ни жизни, ни истории, ни духовных ориентаций, ни России, по наивности или по лукавству полагающих с помощью планов и формул спасти государство. Такие же прожектеры, как революционеры в 17-м! Между тем эти ремесленники должны быть лишь исполнителями воли великих личностей, которые должны «видеть дальше всех и хотеть больше всех» (В. Плеханов), которые просто обязаны относиться к государству как к культурному накоплению всей предшествующей истории.

И здесь во главу угла должна быть поставлена аксиологическая проблема, то есть проблема жизненных *ценностей*.

Что мы хотим? К чему стремимся? Что нам следует приобрести и во имя чего? От чего нужно отказаться?

Нужна реальная *цель*, определяющая духовные ценности, в которые можно и нужно *верить* и без которых немыслима Россия.

Ведь что получается. Декларируют социализм, то есть по крайней мере не потребительскую психологию, а тоталитарные средства массовой информации теперь уже по «перестроечной» команде всей грубой мощью пропагандистской давильни заставляют взирать на иные ценности — «колбасные дожди» Запада. Это и жестоко, и безнравственно — при пустых полках бесцельно дразнить и дурачить народ. Зачем это показывают, говорят и пишут об этом? Чтобы народ лучше работал? Да нет же, не развращенное пьянством большинство населения трудится в поте лица. А внушаемый материальный «рай» ничего кроме *потребительского инстинкта* не пробуждает. Отсутствие его элементарного удовлетворения неизбежно ведет к преступности, особенно детской.

Воистину безумие творят нынешние средства массовой информации, находящиеся в руках «демократов». Творят, по слову поэта Ю. Кузнецова, или по какому-то «дьявольскому плану», или от тоталитарно-идеологической ограниченности.

Аморально пропагандировать нереальные материальные *ценности*. Ведь потому, помимо прочего, общество «потребления» и бездуховно, потому и велика там преступность (по данным МВД, сегодня преступность в США в несколько раз превосходит нашу, даже «взорвавшуюся» за последние пять лет), что широко пропагандируемые там материальные ценности и уровень престижа далеко *не всем по карману*.

Вот в чем бесхитростное и великое преимущество приоритета духовных ценностей: обыденное сознание человека не мучается от недостатка благ, а ДОВОЛЬСТВУЕТСЯ имеющимися.

Возьмем в качестве примера ситуацию радикальную и, следовательно, более наглядно иллюстрирующую нашу мысль. Во время Отечественной войны все помыслы нашего народа были неотделимы от святой веры в защиту Отечества. Кто помнит страшные материальные лишения тех лет? Разве могло тогда общество в целом позволить себе роскошь *желать* больших материальных благ?

Ценности корректирует сама жизнь. Не дай Бог вновь испытать нам прошлые лишения. Но отведи, Господь, наш народ и от другого безумия — полного замещения духовных ценностей жаждой потребления.

Самая насущная задача сегодняшнего дня — это определение жизненных общественных ЦЕННОСТЕЙ, исходя из трех наиважнейших социальных посылок:

— традиционной психологии народа;

— складывающейся на данный момент реальности;

— намеченной цели общественного развития с опорой на всю историю государства.

Совершенно очевидно, что наше спасение, как и спасение всего человечества,— во внутреннем самоограничении, в стремлении ограничить потребительство духовными императивами. Каковы же они, критерии ограничения? Они заключены в *балансе возможностей* природы и рукотворной деятельности человека, то есть в ощущении единства природы, в возврате к первородному целостному сознанию (разумеется, на каком-то новом витке развития). Мечты? Отнюдь. Цена этому жесткому велению — *выживание*.

Но не менее очевидно и другое: такой «возврат» не обеспечат ни манифестация воли, ни декларации, ни даже законодательные акты. Он возможен, если еще возможен, только через современную форму авторитарности и *религиозное сознание*. Ощутить даже практически

единство природы как цельную, неделимую данность, от которой зависит жизнь,— значит невольно почувствовать над собой Создателя. Повторюсь, к этому неизбежно приведет даже практический разум, почувствовавший реальную опасность всеобщего распада, хаоса, смерти.

И вот здесь-то любой добросовестный радетель Отечества невольно столкнется со стихией «русской идеи», умевшей подчинить потребности высшим ценностям, дающим свободу для самоограничения.

Будем справедливы, за тысячелетие, несмотря на многочисленные попытки тотального истребления, в русском народе сохранились только те его нравственные черты, которые органичны для его общественного лика, а именно: православие и национальная самобытность.

Как реализовать «русскую идею» в форме императивного самоограничения в век разнузданного потребительства? Быть может, это и будет в каком-то виде социализм, в который я, например, искренне верил еще шесть лет назад, но верил именно в тот социализм, который после октября 1917 года смог сохранить хоть и в болезненном виде коллективное (соборное) сознание как единственную альтернативу гипертрофированному потребительству?

Привлекают внимание в этом смысле идеи А. Солженицына в брошюре «Как нам обустроить Россию?».

Две важные мысли, на мой взгляд, пронизывают его плодотворные предложения в плане организации российской власти. Во-первых, неприемлемость для России партийной борьбы за власть. Во-вторых, поиск прежде всего нравственных, а не политических начал ее обустройства. Предлагаемые А. Солженицыным институты земства (в небольших населенных пунктах) с выборами известных, пользующихся доверием лиц или многоступенчатые выборы (в крупных городах) на той же основе во многом воплощают власть авторитета в сочетании с «активным классом».

Завидная оперативность, с какой уже вознамерились принизить голос писателя, лишний раз свидетельствует о полном незнании России как власть имущими, так и полупросвещенными полудемократами.

«Рынок — не рынок» — это вопрос искусственный, навязанный от безысходности, от желания продлить судороги власти и также судорожно попытаться исправить экономическую ситуацию, которая худо-бедно, но обеспечивала шесть лет назад норму жизни и которую власть имущие свели буквально к нулю. Рынок нельзя делать, создавать волевыми мероприятиями. Он образуется естественно, формируется веками, с трудом преодолевая консерватизм общественной психологии.

«Рынок — не рынок» — это не тот вопрос, который надо решать после почти вековой катастрофы. Он должен быть вторичным, вытекающим из ценностных ориентаций. А последние впрямую зависят от ЦЕЛИ, к которой стремится общество.

Рынок не может быть целью жизни. Он должен быть способом практической реализации ЦЕЛИ, в которую в той или иной степени ВЕРИТ народ.

Здесь, пожалуй, самое время, опираясь на некоторые уже сделанные обобщения, коснуться проблем нынешней перестройки.

Оценивая реформации Хрущева, М. Горбачев в начале перестройки высказался в том смысле, что неудача реформ была обусловлена нерешительным и непоследовательным внедрением в жизнь демократизма. Судя по всему, лидер испытывал огромное удовлетворение от посетившего его озарения. И... сделав решительный шаг в этом направлении, он вскоре же пожинал хаос, отдаленно напоминающий распад России после февраля 1917 года. Жизнь России, оказывается, вовсе не похожа на простенькую игрушку, с которой можно так беззаботно играть.

В чем же дело? А в том, что подобные «революционные шаги», во-первых, осуществляются на пустом, не готовом для обновления месте, а во-вторых, как следствие из первого,— все революции на практике в России сводятся к крушению и ломке предыдущего уклада. А он (это следует подчеркнуть со всей решимостью) всегда зиждется в России на той или иной форме ВЕРЫ. **Жизнь по вере, а не по контракту — это самый важный и ответственный итог всей русской жизни.** Другими словами, в революциях происходит ИЗЛОМ ВЕРЫ многомиллионной массы народа без «религиозной компенсации». Такая затея, как свидетельствует история, обречена на провал.

Ведь все буржуазные революции Запада, при всех национальных особенностях, имели одно общее свойство: они осуществлялись не на пустом месте, но утверждали то новое, что УЖЕ было накоплено и создано веками с природно-естественной постепенностью. К моменту революций УЖЕ родился новый класс, УЖЕ были «включены механизмы» для «наполнения новым содержанием» «перестройки». Задача сводилась к тому, чтобы снять неестественные препоны для естественного развития новообразования. С другой стороны, буржуазные революции коренным образом решали проблему религиозного сознания путем естественной, эволюционной, целенаправленной работы — сначала религия деформировалась (реформация), затем вырождалась (кальвинизм) и наконец была полностью замещена абсолютно новой основой человеческого обще-жития — системой контрактно-деловых связей.

Принципиально по-другому осуществлялась радикализация общественной жизни в России — жития по ВЕРЕ. Радикальные реформы в России (например, раскол, преобразования Петра I), ломающие веру в установившиеся каноны, осуществлялись под жесточайшим контролем авторитарной власти. Чем шире и глубже преобразования, тем энергичнее и жестче был контроль власти, которая понимала и знала Россию и оттого умело сдерживала русские анархию и вольницу там, где в условиях реформации ослаблялись связующие скрепы «старой веры» во имя новых форм религиозного сознания (как точна мысль Пушкина: Петр взнуздал Россию). Поэтому «потери» Петра I, вопреки расхожим мнениям, были минимальны на фоне поставленных и решенных задач.

Кек же действуют наши «демократы» в XX веке? Русская буржуазия не представляла собой, как отмечалось, реальную социальную силу в государстве. Она не предъявила к 17-му году ни волю нового класса, ни самодеятельные формы господства во всей экономике. Она, следовательно, не могла предложить «взамен» веры ничего равноценного. В итоге все свелось к грубому и примитивному разрушению старого уклада и веры.

Большевики потому и победили, что на основе кровавого террора сумели в короткий срок заменить истинную веру пусть ложным, но наличностным мифом — верой в коммунизм, который от изнуряющей усталости и разрухи показался народу новым, светлым и невидимым горизонтом. Без сомнения, такая вородоступность исключала любовь и благодать, но оказалась тем идеологически духовным суррогатом, который сумел восполнить жажду религиозного сознания.

Хрущев, ничего не предложив, сломал веру в Сталина, с которым народ олицетворял идеи социализма. Реакция не замедлила сказаться — наступил период хаоса, развала, социальной чехарды. Процесс был приостановлен одной из самых извращенных и ложных форм религиозного суррогата. Если при Сталине верили в него искренне и непоколебимо, то полу-вера при Брежневе стала последней ступенью духовного распада веры, ибо нет более уродливых эрзацев в духовном мире, чем состояние половинчатости.

И все-таки вера в социализм, как бы там ни было, существовала. Перестройка, вновь не предъявив народу нового «религиозного» символа (**ведь «демократия» это не вера, а способ борьбы**), неизбежно свелась к повальному разрушению. Реакция не заставила себя ждать — вспыхнул невиданный по масштабу национализм. Идеологические соловьи как по команде запели об упущениях командно-административной системы в сфере межнациональных отношений. Им легко возразить — все было упущено, но отчего же «выстрелило» самое мощное социальное орудие — национализм? Ответ прост, он вытекает из логики тысячелетнего развития России.

Национальное самосознание явилось мгновенной реакцией на излом веры в социализм. Национальное сознание всегда является мощным **религиозным стимулом** в жизни народа.

Так религиозная стихия сама властно внесла коррективы в беспомощную политическую близорукость советских власть имущих.

Каков будет следующий этап «религиозной компенсации»?

«Критика» мрачных фрагментов семидесятилетней истории ни в коей мере не должна уподобляться предмету критики — разрушительному пафосу. Трезвый и честный взгляд на историю обязан выдержать любое эмоциональное впечатление от тяжелых ее фрагментов. Кажется, Спиноза говорил, что философ не может смеяться и плакать, он вправе понимать. Это, без сомнения, относится и к любому, кто берется размышлять о превратностях истории.

Зачеркнуть 70 лет истории — значит поступить исключительно «по-революционному». Дело здесь вовсе не в достижениях «социализма», которые, не устану повторять, весьма скромны, а в самом народе, в его общественной психологии, которая, в чем-то резко изменившись, сохранила (пусть в искаженном виде) черты соборного (коллективного) сознания. Ломать в одночасье психологию великого народа нельзя без риска впасть в грех «революционности».

Зачеркивать любую историю безнадежное дело: как не смогло «советское» уничтожить «русское», так и становление любой будущей перспективы невозможно с полного отрицания только что минувшего весьма длительного периода.

Выход из затянувшегося семидесятилетнего кризиса должен быть плавным, последовательным и долгим. Мы, опираясь на авторитетное мнение философа Константина Леонтьева, сравнивали государственный организм с биологическим. Так вот, существует научно обоснованная теория лечения человеческих заболеваний с помощью голода: выход из голодания должен длиться ровно столько же дней, сколько сам процесс голодания. Считается, что это идеальная схема полного оздоровления организма.

Размышляя о возможности нравственного возрождения Ставрогина («Бесы»), Достоевский писал: «... Прыжка не надо делать, а восстановить человека в себе надо (долгой работой, и тогда делайте прыжок)». Речь, заметьте, идет об одном человеке. А возрождение государства? Народа? Оно разве возможно скачком?

Далее. Этот выход, как следует из истории **всех радикальных перемен в России**, о которых мы говорили выше, должен осуществляться в условиях абсолютного единовластия, то есть той политической структуры, которой сегодня к месту и не к месту запугивают народ, называя ее «сильной рукой». Мне думается, если общество не осознает необходимости согласного установления власти «сильной руки» как вынужденной и переходной законодательной структуры, то «сильная рука» явится сама. Стихийно. Но тогда ее заботы будут сильно отличаться от нужд общественных. Как бывало уже не раз.

Смысл абсолютного единовластия — в истовой подготовке на всех уровнях **новой общественной силы**, способной, как в Японии, например, плодотворно принять демократию в согласной связи с национальными традициями.

Ведь о чем бы мы ни говорили, такой общественной силы, такой общественной психологии у нас нет, а без них все хлопоты о «цивилизации» пусты и призрачны. Что же касается наших «ряженых демократов», лишь только вчера снявших охранительную маску «застоя», то все это не более чем организованный, но пустопорожний гвалт.

**Общественную силу формируют годы и годы, а не трибуны Советов, и даже Верховных.**

Сейчас, кажется, еще то время, когда единовластие не сможет жить по-старому, оно просто вынуждено будет искать и без изматывающих споров поправляться. Сейчас еще такое время. Но оно, увы, не будет таковым вечно...

Петр I, обладая политической волей, мог после поражения под Нарвой вернуться к исходному пункту своей «перестройки», чтобы начать ее заново, вобрать в нее уроки из прошлых ошибок и просчетов.

У российской авторитарной власти, стало быть, всегда была возможность для политического маневра в период «перестроек». Но если в этот период российская власть возжелает быть «демократической», то есть властью пустопорожнего многословия, то она неизбежно обретает форму «дурной» рефлексии, приводящей, по верному замечанию С. Кургиняна, к эффекту «Бориса Годунова» — предвестника или Великой смуты, или, добавим от себя, Временного правительства.

Разговор о единовластии неизбежно приводит нас к проблеме авторитета, личности, лидера. Для России, скажем прямо, это вопрос не праздный. За ворохом идей, горластыми митингами, размножающимся, как муха дрозофил, местечковым бонапартизмом, совсем затерялся печальный итог семидесятилетней тотальной уравниловки, приведшей к полному исчезновению особо мудрых и волевых лидеров, радеющих об Отечестве.

Поразительно, но тоталитарная система, основанная на идее «вождя», не выдвинула ни одного с о з и д а т е л я, равного по масштабу благодеяний Петру Аркадьевичу Столыпину. О нем сейчас начали говорить. Пока сквозь идеологический скрежет зубов, сквозь плохо скрываемое желание покопаться в прорехах его политики.

Все претенденты на советский «трон» усваивали в лидерстве самое важное для себя: только уже одетая «шапка Мономаха» бронирует место в истории. Можно себе представить, какой широкий круг людей соблазнялся такой уникальной перспективой, какой эмоциональной работы требовало восхождение на Олимп в условиях жесточайшей конкуренции, на что расходовалась не бесконечная энергия души! Где уж тут достать сил радеть об Отечестве? Выразимся определеннее — тоталитаризм не рождает созидателей, ибо основан на бескомпромиссной борьбе форм эгоизма.

Столыпин был последним русским управителем, у кого величие ума и авторитарная воля были соразмерны религиозной, то есть истинной, не клановой и не партийной, любви к Отечеству. Все «рецензенты» его политики не желают считаться с тем, что лишь за несколько лет, ничего не разрушив, он создал в России больше, чем за весь советский период сделали все вожди, вместе взятые. Есть версия, доказывающая, что Столыпина убрали из опасения серьезной конкуренции России на международном рынке (много потрудился в организации заговора американский миллиардер Яков Шиф, ярый русофоб и конкурент российскому экспорту). Где и когда за семьдесят лет на международном рынке опасались конкуренции СССР?

Говоря о феномене лидерства в советское время, хотелось бы вспомнить любопытное событие, связанное с «коронованием» Брежнева. В смутный переходной период его, никчемного и послушного, возвели в лидеры, чтобы за этой «подсадной уткой» отсидеться, осмотреться, сосредоточиться. А когда ситуация стабилизировалась и приступили к формированию реальной власти, «Леня» вдруг оживился и неожиданно раскрыл во всей красе искусство советской аппаратной школы, где не учили радеть об Отечестве, но в совершенстве наделяли умением бороться за власть и удерживать ее. «Леня» не занимался государством, но показал, как можно далеко зайти при тоталитаризме, занимаясь только собою. Чем в этом смысле отличались от него все лидеры после Ленина?

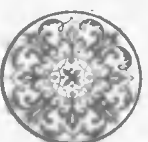
Вот два полюса вождизма: Сталин, сколько сделавший для государства, столько же, если не больше, разрушивший; Брежнев, ничего не делавший для общества, но и не стремящийся сам к разрушению. У них, и у всех «промежуточных» между полюсами лидеров, была единообразная философия власти: Отечество не предмет любви, а полигон для безудержной эгоистической страсти.

«Что такое «единовластие»,— спросят меня,— есть ли в нем опасность возврата к пресловутой командно-административной системе?» Несомненно, как это бывает всякий раз в подобных случаях, когда за просчеты демократии надо расплачиваться. И тем не менее единовластие — это естественный путь выхода из кризиса при условии непрерывного преодоления его, то есть с т а н о в л е н и я новых общественных структур. Реставрация отнюдь не обязательна, но если она происходит, то уже не в виде п р я м о г о в о з в р а т а (Наполеон I в значительной степени был УЖЕ выразителем нового класса — буржуазии)...

Что же нам делать? Все честные умы России должны осваивать «русскую идею» с возрождающимся Православием хотя бы как альтернативную «идею», не учитывать которую сегодня равносильно самоубийству. Ибо демократия с «человеческим лицом» — это рукотворный баланс прогресса и консерватизма, а не тотальное давление либерал-радикалов.

«Русская идея» жива. Она неистребима, как неуничтожаем дух мира. Она не стара и не нова, а качественно суща.

Русский человек! Во имя бытия своего и Отечества не отринься от животворящей стихии своей!








**ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ**



# САМЫЙ ДОЛГИЙ ВЕК НАД МОЕЙ СТРАНОЙ

## Маргинал

*Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст...*

*Иосиф Бродский*

Бормотанья и хрипы ровесника, сверстника шепот,
То ли плохо ему, то ль последний исчерпан припас,
То ли просто не впрок предыдущих изгнанников опыт,
Что и в дальней дали не смыкали по родине глаз?

В причитаньях, роптаньях давно не родным озабочен,
И родное, не мстя, оставляет ему на пока
Инвентарь маргинала: силлабику вечных обочин,
Да на мелкие нужды — потрёпанный хлам языка.

Утки-обериутки свистят между строчек по-хармски
В примечаньях к прогнозам погоды с прогнозом себя,
С переводом иа русско-кургузский, на бы́строизда́нский
По ходатайству тех, кого вмиг подвернула судьба.

Эти мо́биле-но́беле, вечная шилость-на-мылость
На чужом затишке, где в заслугу любой из грешков,
Где бы можно пропасть, если в прошлом бы их не случилось, —
Этих милых грешков из стишков, из душков и слушков.

Под аттической солью беспамятства мнятся искусы,
Только соль отдаленья по сути глуха и слепа:
Растабары, бодяги, бобы, вавилоны, турусы,
Кренделя, вензеля и мыслéте немыслимых па.

Не обочине ведать, что станет виной, что заслугой,
Чем матёру проймут те, кто нынче не спит за столом, —

То ли смятым окурком, плевком, запрессованным в угол,
То ли песней родной, — но сейчас не о том, не о том.
Огороды державы опять расцветают картошкой,
Топит бани народ и упрямо за водкой стоит,
И ему недосуг разбирать, кто там потной ладошкой
Всё-то машет, привлечь, всё бормочет, всё что-то хрипит.

* * *

Всё — рядом... Лагманная в смраде и чаде
Обжорствует буйно, хмельна и грязна, —
В прозрачном урюковом розовом саде,
Где сладко и терпко вздыхает весна.

И праздность, и радость, — всё разом и рядом,
Как всё в этом мире... За этим столом
Вот так и дышать этим смрадом и садом,
Лагман запивая дешевым вином, —

Чтоб в предзабытье до конца напитаться
Простой благодатью извечной тщеты,
Где разом и рядом не блажь святотатства,
А святость и благо, и жизнь, и цветы, —

С лагманом в урюковом саде (всё рядом!),
С миндальным дыханьем апреля (всё здесь!),
С простым человеческим плотским обрядом,
Извечным, как страждущий вздох:
даждь нам днесь...

* * *

Нет мёртвых слов и мёртвых
языков,
Они вокруг и в нас живой толпою
Шумят, перекликаясь меж собою
Гортанным лёгким окликом веков.

В них гул страды и отзвуки тревог,
Накопленные в тризнах и молитвах,
В пророчествах, пирах,
кровавых битвах
На перекрёстьях Хорсовых дорог.

В них эхо тех отмеренных забот,
Когда от грома гроз рождались
всходы,
У летних вод кружились хороводы,
И сводом храма гнулся небосвод.

Горох в горшке, и рожь в горсти,
и кров
Над головою, и картуз, и кóрзно, —
Всё древним однокровным смыслом
Хорса
Наполненное, билось в звуках слов.

На взгорьях догорала Кострома,
Костром страды, зажжённым
на Купало,
Ярилась рожь, а ночь плескалась
ало
Созвездьями Орала и Ярма.

И каждый день стекал,
красноведрян,
Как холст из кросен, вы́белен,
но красен, —
И красный мир был потому
прекрасен,
Что Хорсом был навеки осиян.

...Со снизки красных слов сниму
одно,
Которое из древности стоустой,
Из этой хóрсой, рóсой, ру́дой,
русской
Взошло и речи огненной дано.

Той речи, что до нынешнего дня
Сквозь мглу — и пронесла,
и сохранила
Высокий свет, горячий жар светила,
И кровный дух небесного огня.



* * *

Снова судьба без мерил
и без правил
Бросила душу в распыл и раскол,
С вечной тоскою о том,
что оставил,
И недоверьем к тому, что нашёл.

Снова устало, и трудно, и глухо,
Вдруг отбормочется тёмным стихом
Высвобожденье потухшего духа,
Самопрощенье пред завтрашним
днём, —

Чтобы опять — без мерил
и без правил
Править судьбу до конца и всерьёз,
Где никому ничего не оставил
И ничего навсегда не унёс.

## *Жаворонок*

Ковыльный холм, волнуясь,
серебрится,
И там над ним, развесив зеркала,
Журчит взахлёб полуденная птица,
Таинственно мерцая в два крыла.

То — жаворонок в знойном
поднебесье
Не устаёт собой напоминать,
Что песне нужен свет,
чтоб сбыться песней,
А свету — песня, чтобы светом
стать.

* * *

В мареве горячем и туманном
На исходе ветреного дня
Потянули гуси над Зайсаном,
На ходу устало гомоня.

Потянули чибисы и чайки
Вслед, туда, где в розовый закат
Торопливо выпорхнули стайки
Первых звёзд, мерцающих вразлад.

...К ночи ветер стихнет понемногу,
И высокой млечной полосой
Звёздную гусиную дорогу
Ночь отметит в бездне вековой.

И опять сомкнутся до слиянья
Ширь воды и берега вдали,
Где хранятся, как предначертанья,
Знаки неба в памяти земли.

* * *

*В белом венчике из роз —*
*Впереди — Исус Христос...*
*А. Блок.*

Самый долгий век над моей страной шелестит во мгле,
Самый белый снег, самый желтый зной, самый чёрный хлеб,

Самый красный флаг, пятипалый знак, пятикрылый страх,
Бесконечный враг, безнадежный мрак, пустота и прах.

Покосился храм, отвернулся Бог, усмехнулся бес, —
И легко ветрам над страдой дорог, под тоской небес...

И опять вдали, где ни зги, ни снов, где рассвет белёс, —
То ли свет земли, то ли тьма снегов, то ль — Исус Христос.




**БОРИС ЕКИМОВ**



# ГНЕЗДО ПОРУЧЕЙНИКА

**РАССКАЗ**

## 1

Управляющий колхозным отделением, а по-старинному — хуторской бригадир, Чапурин заехал в контору к вечеру и лишь отомкнул свою комнату, как зазвонил телефон. Подумав, он все же поднял трубку, буркнул в нее недовольно:

— Чапурин.

Звонил секретарь парткома колхоза. Как всякое другое начальство, он первым делом спрашивал о севе: где да чего... Чапурин привычно докладывал. Секретарь выслушал, похвалил.

— Хорошо. Ну, давайте там... — и спохватился: — Да-а... Я тебя искал не затем. Сев — это уже прошедшее время. Разберись со своими школьниками. Чего-то они у тебя с ума посходили, все восьмиклассники уходят. Некого в девятый передавать.

— Ну и правильно... — посмеялся Чапурин. — Зубатиться научились, выросли — в дверях подгибаются. Пусть идут в колхоз.

— Это все — разговоры... — перебил его секретарь. — А разбегаются — это факт, мне доложили. Директор говорит...

— Вот пусть у него, у директора школы, голова и болит, — поспешил ответить Чапурин. — Он за это деньги получает, и неплохие. А у меня — другие заботы. С севом еще не раздыхались, а уже...

— Это все — демагогия, — остановил его секретарь парткома. — Отчурались от школы. Свиней да коров вы не забываете, а об детях — голова не болит. Потом жалитесь: нет людей. Переселенцев привлекаем, свои — текут. Уже на ферму зайдешь и не поймешь, об чем гутарят. Там — на мордовском, там — на чувашском, там — чечены. Вроде в чужой стране. Так что ты не отпихивайся, а узнай. Я тебя лично прошу. А то доложит районо в райком. И мне вольют как следует. Поговори. Если надо, я подъеду. В чем дело? Мы им такой интернат отгрохали. Теперь туда телят, что ль, загонять? Поговори, узнай и сообщи мне.



— Мило не мило, вези, кобыла, — положив трубку, вслух сказал Чапурин и решил нынче же поговорить с женой. Она должна знать: что и как, — словом, все новости.

Но вечером, когда пришел он домой, жена охала и стонала.

— Болею... — жаловалась она. — В огороде либо продуло. Не вздохнуть. Сходи к Арчаковым, Рая пусть надбежит, банки поставит. У ней легкая рука.

Жена зимой хворала долго и теперь не очень выправилась, порою неможилось ей. А пособить кто мог? Больница с врачами далеко. Бабки-знахарки вывелись. Жила на хуторе фельдшерица, до седой косы — девка, но она в последние годы вовсе испортилась: часто убегала куда-то, уезжала, пропадая надолго. Выручала людей девчонушка арчаковская — Раиса. Арчаковы жили возле медпункта, и Раиса с малых лет крутилась у одинокой фельдшерицы. Та, забавляясь, обряжала девчушку в белый халат, сшила ей белую шапочку с крестиком. Потом девочка подросла, халат не надевала, но умела наложить повязку, поставить компресс ли, банки. Вначале над ней посмеивались, потом стали хвалить за легкую руку. Теперь она была нарасхват. Особенно банки ставить, хуторские бабы считали их очень полезными.

Арчаковы жили на бугре, возле медпункта. Чапурин подошел ко двору. Сам хозяин, Василий Арчаков, сидел у ворот, скотину дожидаясь.

— Твоя лекарка-то дома? — спросил Чапурин. — Не в школе?

— Приехала, — ответил Василий. — На мотоцикле лётает, — засмеялся он. — Старый «ковровец» ей подладил, мыкается на нем, — не поднимаясь, позвал: — Раиса! Рая! К тебе!

Девчонка выглянула из двора, увидев Чапурина, спросила:

— Случилось чего?

— Да захворала моя. Жалится, продуло. Банки просит поставить. Не надойдешь?

— Хорошо. Сейчас иду.

Девушка ушла во двор, а Чапурин остался с хозяином, на скамейке. Солнце садилось. С бугра виделся заречный луг, где паслась скотина. Луг лежал широко, влево уходя и скрываясь за деревьями займища, вправо простираясь до песков и соснового леса. Козье стадо правилось к хутору, за ним, поодаль, брели коровы.

Во дворе рыкнул мотоцикл, завелся, девушка выехала на улицу.

— Пешки далеко идти... — попенял ей отец. — Ноги стариковские.

— Скорая помощь... — заступился Чапурин. — Езжай, езжай, доча. Прямо в дом заходи, она там и лежит, стонает. А я скотину подожду.

Девушка включила скорость, прибавила газ и покатила. Светлые волосы ее плескались под ветром.

Они все были светловолосыми, Арчаковы: и сам Василий, и жена его, и обе девчонки. Чапурин их уважал. Василий работал на тракторе, хозяйка его на ферме доила. Оба — работящие, спокойные, сроду ни шуму, ни крику, и дети такие же.

Арчаков на погляд казался мужиком невидным. Невысокий, кащелый, на голове — всегдашняя кепочка с зеленым козырьком, лишь руки лежали на коленях, словно тяжелые клешни: большие сильные пальцы, с крупной скорлупой ногтей. На вид — словно парнишка, особенно рядом с могучим Чапуриным; но таких работников на хуторе и в округе оставалось все меньше, а новых не прибывало.

Сейчас он отдыхал, опершись спиной о забор.

— Отмучились, — сказал Чапурин, сочувствуя.

Собеседник понял, о чем речь, усмехнулся.

— С одним отмучились, другое подступает. Теперь до белых мух.

— Но все же... — возразил Чапурин. — Три тысячи гектаров свалили. Аж страшно...

Василий вздохнул. Он не мог еще отойти. Нынче к вечеру пригнал трактор, вылез из него и теперь сидел, как чумной.

Прошлой осенью кидали зерно в сухую, словно пепел, землю, а потом стояла долгая холодная зима, и пришлось все заново сеять да подсевать. Майских праздников в работе не видели. Первый за весну выходной объявили по колхозу на завтра.

— Картошку не сажал? — спросил Чапурин.

— Когда? — ответил Василий. — Завтра уж.

— Вот и я планую — завтра картошку и все остальное. Хозяйка болеет, в огороде — конь не валялся.

— У меня девчата — молодцы... — похвалил Василий. — Понимают. Сами все посадили. Мать лишь прибежит с фермы, укажет... От меня вовсе толку нет. Все на девчатах. А у них тоже: выпускные классы, экзамены — самая учеба.

— Лекарка-то в медицинский правится? — спросил Чапурин.

— Говорит, пойду. Может, и поступит. Навряд ли...

— Но учится-то она хорошо?

— Отметки носит неплохие. Но мне не верится. Городские — они смысленей. Двоюродный брат у меня в городе, говорит, трудно там. Спросы великие. И начальства дети туда стремятся.

— Мы ей бумагу напишем, — улыбнулся Чапурин. — Мол, докторица готовая, лишь диплом дайте.

— Как уж Бог припутит... — махнул рукою Василий. — Не поступит, пойдет на фельшера. Это тоже неплохо. А мы растопыримся тогда на три дома. Одна — в городе, другая — в интернате.

— В девятый пойдет?

— А куда ее? Вроде и дылдачка, а куга зеленая, дитя дитем.

— Другие, говорят, не желают, — вспомнил Чапурин разговор с парторгом. — Куда-то бегут...

— Наша тоже взыкалась. Но мы ей говорим: прищеми хвост. С одной примешь колготы. А двух отпустить — вовсе ума лишиться. Интернат — на близу, душа — на спокое. Раису, ту видно: стремится, желает. Она и будет работать по этой части. А эта про какую-то химию галдит. Всю голову разбила. Химия-фимия... Сама не знает чего!..

Козье стадо подошло к плотине тихо-мирно, а дом почуяв, кинулось врассыпную по хуторским дорожкам да стежкам с меканьем и топом.

Чапурин поднялся.

— Пойду, бывай здоров. В понедельник цепляй тележку, семена возить, кукурузу.

— Ее еще глядеть надо, эту тележку. Давали мартыновским. А из чужих рук...

Со двора выбежала младшая дочка Арчаковых, рослая, выше отца, тоже светловолосая, на лицо приглядная, с румянцем.

— Я встрену, папка! — крикнула она.

— Ну, встрень. А я посижу, — сказал Василий. — Чего-то неможется.

— Занеможется... — сказал Чапурин, сочувствуя. — Считай, месяц из трактора не вылезал. Тут занеможется. — А потом, девочку взглядом проводив, добавил: — В химию вы ее не пускайте. Такое дитя, цветок лазоревый. А там — газы, враз зачахнет. Тем более наши, хуторские, привыкли ко всему... — обвел он взглядом землю и небо и вдохнул полной грудью. — Все невладное... Чисточко. А там — какой только гадости нет.

Он издали углядел табунок своих коз и заспешил к ним, на ходу подзывая:

— Кызя-кызя-кызя!

— Кызя-кызя! Кызя-кызя-кызя! — неслось над хутором разноголосое.

А на плотину неторопливо вступали коровы. Солнце село. За коровьим стадом, с полей, крались светлые сумерки.

Чапурин пригнал коз, сходил за коровою и уж подгонял ее к базу, когда навстречу, от дома, тронулась старшая Арчаковых дочка. Она подъехала к Чапурину, сказала:





— Я все сделала. Пусть только не встает. А корову я вам подою.

— Не надо, моя доча, — отказался Чапурин. — Спасибо тебе. Управимся. Марию попрошу, она помогает нам. Спасибо.

Рыкнул мотоцикл. Девушка поехала. Чапурин проводил ее взглядом, подумал: «Славная девченушка... Семья хорошая, и дети — на завид».

А в доме жена лежала, укутанная в теплое, тоже хвалила:

— До чего смысленая... Дите дитем, а все разумеет. Банки поставила и ногу так хорошо мазью растерла. Прямо чутко, что оздоравливаю.

Она хвалила девочку и хвалила, с тем и заснула, и утром, чуть свет, поднялась без обычных охов и ахов.

Чапурин тоже встал на заре, привел из табуна лошадей и весь день не уходил со своей левады. Земля под картошку была вспахана с осени. Он проборонил ее, и стали картошку сажать. Сам ходил за плужком, утопая в мягкой земле; жена кидала в борозду клубень за клубнем.

Сверху, ко двору поближе, посадили полсотни рядков красной «скороспелки», дальше, до самого низа — белую «вешенскую», ее осенью по ведру с куста накапывали.

К обеду с картошкой разделались. Чапурин вновь прицепил борону и, стоя на железной решетке, лихо правил лошадьми, посвистывая. Позади оставалась ровная паханина темной земли.

Потом занялись огородом. Чапурин копал гряды. Лопата в его больших руках казалась игрушечной. Орудовал он ею быстро, словно забавляясь.

— Привык затороном... — говорила жена. — Гляди, как дед Архип... — указывала она на соседа. — Спокойничко, все до дела. И помидоры у него — на завид, и огурцы — мостом лежат.

Чапурин усмехнулся:

— На пенсию пойду и буду, как дед Архип, ковыряться.

— Люди и не на пенсии, а об своем деле горятся, — не сдавалась жена. — Конечно, и в колхоз нужно, но и свое из рук не пускать. Дети приедут, внуки, их колхоз не накормит, да и самим надо чего-то кусать. А ты, как с полоху, на заре увеешься и — до звезды. У меня, сам знаешь, здоровье некудовое.

Рядом с рослым и, в полсотни своих лет, чубатым и могутным мужиком она и впрямь гляделась нездоровою: худая, бледноликая, с теплым платком на пояснице.

Стояла майская теплынь. Цвели сады. Солнце грело вовсю. Чапурин сбросил рубаху. Да и не только он. Нынче на огородах весь хутор трудился. Хуторские дома тянулись над речкою, к воде и займищу спускаясь левадами. И нынче, в день воскресный, весь хутор был здесь. Мужики помоложе да ребятня сверкали молочной белизной до пояса обнаженных тел.

Занимались картошкой, копали гряды, высаживали из парников помидорную да перцовую рассаду, прикрывая ее до поры прозрачной пленкой на дугах.

— Я бы и рада все дочиста поделать, — говорила жена, — а нет могуты. Внагибку поработаю — темная ночь в глазах делается.

Чапурин слушал жену, верил ей. В прежние годы она его трудов не просила, управляясь на леваде сама.

— И чего эта хвороба прилепилась, не отлепится. Врачи не совладают. Видно, уж покель глаза землей не покроются... — жаловалась жена.

— Не нарекай, Христа ради, — мягко попенял Чапурин. — Чуток уж выбилась из квасов. А ныне тепло пошло, за лето оздоровеешь. Вчера жалилась, а ныне — работаешь.

— И правда... Я ныне уж какую грядку сажаю, — похвалилась она. — И вроде ничего. Раиске спасибо.

— А ты отдохни, — сказал Чапурин. — Тут и осталось-то...

Виделся уже конец делам. Грядка, другая — и шабаш на сегодня. Тогда можно и садом заняться.

— Ты бы на буднях со светом приходил, — говорила жена, — и помаленечку, по грядочке. А теперь такую страсть за день одолеть.

— Сеяли... Тоже — страсть... — мягко отвечал на упреки жены Чапурин.

Нрав у него был мирный. И денек нынче выдался славный: солнечно, тепло. Вишни цветут такой ослепительной белью, глядел бы на них да жмурился, жмурился да глядел.

День на исходе, солнце пошло к закату, в огороде много сделано. Еще чуть-чуть, и можно, жену проводив домой, спуститься к речке, к садам. Чапурин любил возиться с деревьями. Обкапывать их, подрезать, прививками заниматься. Еще одну грядку вскопать, проводить жену в дом и пойти. Там, внизу, у речки, в затишке и вовсе хорошо. Вечернее солнце греет, покой. Доцветает смородина, купаясь в сладко приторном духе, и гудят шмели. Они любят смородину и возятся там, тяжелые, мохнатые, в золотой пыли.

Груша — в белом цвету и светлой зелени, яблоня — в розовых бутонах. Вишня, груша да яблоня — они будто не пахнут, но пройдет вольный ветер — и тонешь в нежном духе цветенья. И допоздна, до заката, пчелы гудят в чашах цветов и возле. Белое дерево поет будто живое. Весенняя благодать.

Чапурин глядел в сторону сада и словно был уже там, в тихом гуле шмелей и пчел.

А потом вдруг вспомнился день вчерашний, разговор с парторгом.

— Кто у нас нынче восьмилетку кончает? — спросил он.

Жена думала недолго:

— Арчакова младшая, Покручин, Кривякин, Силкин. А чего ты об них?

— Да слыхал, учиться больше не хотят.

— В техникум они навострились, — объяснила жена. — В химический.

— В какой, в какой?.. — не поверил Чапурин.

— В химический. Все доразу.

Удивленный Чапурин, оставив работу, поглядел на жену пристально.

— Взаправду?

— Тоня Покручина отправляет Петра. Там у них Леонид трудится, старший. Петро — туда же.

— Ну, это понятно, хоть к брату, — сказал Чапурин. — А другие?

— Кривякин, тот с Петром — неразлейвода. Говорит — поеду. И Силкин к ним прислоняется. С Вихляевки едут, с Дубовки.

— Все в химический?

— Все туда. Это приезжал Ленька Покручин, на своей машине, дюже хвалил работу. Зарплаты хорошие, квартиры дают, курорты, харчатся при заводе бесплатно. Свои магазины. И девкам там есть работа. Вот все и желают туда.

— Да-а... Медом намазано. Ох, и глупые. Да это же химия... — Чапурин плюнул с досады. — Деньги там зазря не дают. Там в два счета здоровье погубишь. А потом верни его. Ну, молодежь, эта об здоровье не горится, думает — на век. А родители куда глядят?

— Чего родители? Леньку-то Покручина все видят. С машиной, при галстуке. Нынче побыл чуток и на юг покатил, на море. Путевка бесплатная. В квартире, говорят, мебель вся блестит. Вот про эту химию все бабы и гутарят, про Леньку...

Чапурин похмыкал, закончил последнюю грядку и проводил жену в дом. Сам же, взяв секатор, пилу да нож, отправился в сад.





На левадах людей поубавилось. Бабы подались домашние дела управлять. День клонился к вечеру. Чапуринский огород, после трудов, гляделся картинкою: ровные грядки, гущина первой зелени, лука, петрушки да чеснока, четкие ряды рассады. Еще вчера царило здесь запустенье: прелый лист, черные бурьяны, заплывшая осенняя паханина. Теперь земля освеженная словно взбухла, жадно вбирая солнечное тепло, воздух, весеннюю влагу.

Чапурин поглядел на труды свои, довольно хмыкнул и пошел вниз, где над речкою тянулись хуторские сады.

Нынешней зимой снега лежали не больно высокие, воды оказалось мало, и речка, быстро отыграв, в мае вернулась в свои берега. Прошлогоднюю кладку из веток, по которой на ту сторону переходили, не унесло. И теперь ее подновляли Покручины, старик и внук.

— Здорово работали... — окликнул их Чапурин.

— Слава Богу, — ответил старик. — Поздновато ты прибыл. Либо подглядал, пока кончим?

— Ага, — согласился Чапурин. — Думаю, как начнете обмывать, тут и я.

— Обмывать ныне, парень, власти не велят. И правильно делают! — решительно поддержал он.

Старик Покручин в колхозе уже не работал по возрасту, а когда-то был бригадиром, вроде Чапурина. Он хромал с войны, получив ранение, но был еще крепок: сено косил, плел плетни, понемногу плотничал, держал пчел для себя. Седая борода. Фуражка, китель да шаровары — всю жизнь донашивал он военную амуницию старшего сына — сверхсрочника.

Кладку обновили по-доброму: снизу — толстые вербовые слеги, поверх — гибкие ветки, вдоль и поперек. Старик прошелся с берега на другой, остался доволен. Внук прыгал посередине. Кладка пружинила, подбрасывая его.

— Провались, провались... — говорил ему дед, усаживаясь с кисетом. — Провались да намочись, мать тебе дранки даст.

Мальчонка был рослый, но легкий. Кладка играла под ним, и он смеялся, потом вышел на берег, сказал:

— Я побежал, дедуня.

— Топор да пилу забери.

Мальчик взял инструмент и помчался берегом, скрываясь из глаз.

— Жених... — проводил его взглядом Чапурин.

— Жених, — подтвердил старик, зажигая самокрутку.

Сизый махорочный дым поплыл, опускаясь к земле.

— В девятый класс пойдет? Иль на побег?

— На химию, к Леньке, — сказал старик. — Там у них, при заводе, училище.

— Химия, химия... — досадливо покачал головой Чапурин. — Сбесились все с этой химией. В глаза ее не видали, а лезут, как глупые телки. Это же вредное, — объяснил он. — Химия-то — гадость. У меня в городе кум. И далеко живет, а ветер повернет от химзавода, веришь, дыхать нечем.

— Ленька хвалит, — возразил старик. — Приезжает мордатый. Денег полон кошель. Машина. И мебель в квартире — вся малированая.

— Это на погляд — мордатый, — не поверил Чапурин, — а внутри весь бандур гнилой. Химия — это не мед. Тем более для наших. Городские к вони привычные. А нашим вся статья по своему делу, по крестьянскому. Ваш парень старательный. На току работал, скирдоправом — на сене. Вот и шел бы по нашему делу.

— Нехай мать с отцом думают, — отмахнулся старик.

Чапурин вздохнул, соглашаясь, и хотел уйти, но старик сидел рядом, покуривая и поглаживая калеченую ногу. Дышало в лицо пресное речное тепло, зелень займищных тополей да верб была мягка

и нежна, сквозило через редкий лист голубое небо. И резко пахло молодым тополевым листом, липким еще и горьким. Хорошо было над речкой, покойно. Совсем рядом, над водой, попискивала малая синичка-ремез, качаясь в пуховой зыбке своего будущего гнезда, которое она ладила на конце гибкой вербовой ветви. Давно Чапурин не был здесь, у речки. Светлая сеть солнечных бликов играла на воде, завораживая, не отпуская.

Он сел рядом с Покручиным и сразу почуял, что за день все же устал; и за день устал, и за этот месяц, пока готовились сеять да сеяли. А здесь было покойно и удобно, на теплой земле. Старик Покручин курил. Малая синеперая птаха, попискивая, но людей не боясь, тащила новый и новый пух для гнезда. Они всегда селились здесь, эти малые птахи, над водой. Звали их поручейниками и берегли. Даже ребятня не трогала гнезда их — пуховые рукавички. Бывало зорили сорок, ворон да грачей, добирались до коршунов. Но знали: нельзя тронуть ласточку — она дом бережет — и малого поручейника, который хранит чистую воду.

— Вот тебе и химия... — проговорил Чапурин. — Бегут, а скажи, отец, ныне ли у нас не жить? А? Конечно, труды и труды. Но деньги получаем. В твою бытность про такое мечталось, чтоб на ферме скотник заработал триста рублей? Скажи, кто получал такие деньги?

Старик лишь засмеялся.

— Во сне не видали.

— Вот так... А вспомни, как трудились. Как ныне? Я еще захватил: у отца на прицепе да на комбайне штурвальным. Пашем, хлеб убираем, на хуторе нас и не видать. Лишь набежишь раз в неделю побаниться да белье сменить. От света до света работаешь. А то и ночьми. А ныне?

— Да... — сказал старик. — Прожили век за куриный пек. Нынче кинулся бы в работу: и туды, и сюды. Глазам завидно, а мочи нет.

— Я не об тебе. Вы свое отработали. Я — про молодых. У внука, конечно, в голове не сеяно... Как у гулюшки ума. А отец с матерью должны бы и доброго вкласть. А тот дай ни дай химию. Химия — рай господний.

Старик Покручин согласно кивал, поглаживая седую бороду, которую он стриг, чтоб длинная не росла, не мешалась.

А тем временем на той стороне, из займища, показалась старая женщина с вязанкой сухих веток за плечами. Она подошла к берегу, увидела новую кладку, людей, обрадовалась:

— Вот спаси Христос доброго человека, наладил переход. Теперь сухой ногой будем ходить.

Она перебралась через воду, сняла вязанку.

— Здорово дневали, казаки.

— Слава Богу, слава Богу, — ответил Чапурин. — А ты чего, тетка Таиса, хворостом занялась?

— Вдовье хозяйство, оно и хворосту радо, мой сынок. Об зиме думаю...

— Об зиме... — удивился Чапурин. — Она лишь из глаз выкатилась, а ты ее кличешь.

— Я ее не кличу, сынок. Да она все одно придет.

— Дровами, что ль, бедствуешь?

— Бедствую, мой сынок.

— Пришла бы, сказала. Подвезли бы...

Тетка Таиса в прежние времена работала на ферме. Теперь она жила одна и Чапурину редко на глаза попадалась, и, может быть, потому показалась очень старою. Вроде была помоложе, а нынче: лицо — отекшее, руки, в коротких рукавах, — костлявые, с обвисшей кожей.

— Пришла бы, — повторил Чапурин. — Дрова-то есть в лесничестве, подвезли бы.





— Да я приходила, ты обещал, а потом захворала...

Как быстро она постарела... Ведь недавно будто крепкая баба была. Последние годы с телятами занималась. Потом — на пенсию. Чапурин помнил, как провожали ее, знак «Почетный колхозник» сам вручал. А теперь словно другой человек: запали губы, глаза ввалились и слезятся.

— Тягаю помаленьку... — говорила тетка Таиса. — Это мне по силам. Много нынче хворосту, и лесники не ругают. За лето наберу топки. Кладку поправили, спаси Христос. Теперя сухой ногой.

— Ты, тетка Таиса, зайди на наряд, дадим трактор, — пообещал Чапурин. — Маленько с севом раздыхались, посвободней. Теперь дадим.

— Спаси Христос, надойду.

— Чего стоишь? Чалься к нам, — пригласил ее Покручин. — Табачком оделим.

— Садиться боюсь, — сказала тетка Таиса. — А то и не встану. Неможется ногам.

— Мы подымем, — пообещал Покручин. — Погрей старые кости. Новости расскажи.

— Чего я вам расскажу, мой хороший... По людям не хожу, хвораю. Из хаты да в хату. Лишь во сне чего увидишь, — посмеялась она.

— И чего тебе грезится? — спросил Чапурин. — Либо казаки молодые?

— Отоснились казаки. Теперь все каша молошная снится.

— Каша? — удивился Чапурин.

— Каша, — подтвердила тетка Таиса. — И к чему бы? Какой уж день. И ныне молошную кашу во сне варила. В печи, по-старинному, цельный казан. Протомилась каша, с пенками. Лишь ложку взяла, а покушать не успела. Кошка разбудила. Сигнула на кровать и не дала покушать.

Старая женщина посмеивалась над собой.

Чапурин спросил:

— Корову давно не держишь?

— Два года как перевела. Сено косить не в силах. Себя уж не держу.

— Вот тебе и снится молошное, — сказал Чапурин.

— Может, и так, — согласилась тетка Таиса.

— Ты к нам заходи, — пригласил Чапурин. — Захочется молочка, приходи. Или на ферму, к бабам. Чего они, не вольют? Ты ж сама работала. Банку-то всегда вольют. Это выписывать воспрещают, а бабы — вольют.

— Не бери в голову, мой сынок, — сказала тетка Таиса. — Это все по глупости. Ночи длинные, вот и грезится.

— А мы про старое гутарим, про старую жизнь. Вот как ты в доярках работала. Теперь разве сравнить? Скажи...

— И рядом не покласть, — согласилась тетка Таиса. — Такие труды... Все на себе да на себе. Солому, сено — сапетками да вахлями, навоз — тачками, воду — ведрами. От рук отстанешь. А ныне: на работу и с работы — легкой ногой.

— А получали... — напомнил Чапурин. — Как сейчас?

— Мы такую копеечку и издаля не видали, — проговорила старая женщина. — Ныне сто рублей — мало, не деньги. Бывало, год отработаешь, распишешься — слава Богу, не должен. А ныне — сто рублей в месяц... Копылит нос... Чудно. Помню, мама была живая...

Чапурин глядел на хутор. Отсюда, снизу, дома скрывались за гущиной садов, лишь крыши виделись: белого железа, да суриком крашенного, да шифер. Давно ли в мазанках жили, под соломой да чаканом, носили крашенную луковым отваром мешковину, работали на хлебе, а ели желуди, козелок, лист курагага парили в чугунках, лебеду, спали всей семьей на полу, постелив валяную полсть; мололи

на ручных жерновах горсть пшенички иль кукурузы жменю, бережно сбирая крылышком мучную пыль. Поднять бы стариков покойных, отца да мать...

Тетка Таиса взялась за свою вязанку, приговаривая:

— Спаси Христос, кладка теперь. Сухой ногой перейду.

Поднялся и Чапурин.

— Я помогу, — сказал он старой женщине, а Покручину стал внушать: — Ты своим молодым вкладывай ума, они об той жизни забыли. Им ныне все не дорого, не мило. Дай ни дай город. А умом кидать надо, чтоб слезы не лить. Додумались: химия — рай господний. Казня — а не рай, и в эту казню родных детей пихают. Ты — старший в семье, с тебя спросится.

Покручин согласно кивал головой. Путь его лежал вдоль речки. А Чапурин с теткой Таисой пошли через сад. Чапурин нес в руке легкую ношу.

— Ты приходи, — приглашал он. — На наряд приди, трактор дадим. А молочка, если надо, моя нальет. Или на ферму, скажи — я велел.

Он проводил старую женщину, кинул через забор хворост и пошел к себе. Возле чапуринского двора сидел народ, дожидаясь скотину с попаса. Жена куталась в теплую безрукавку да пуховый платок.

— Болеешь? — спросил Чапурин. — А чего сидишь? Лежала бы...

— Да ничего... — ответила жена. — Просто зябну.

— К Ольге прислонись, — посмеялся Чапурин. — Как к печи.

Кривякина Ольга, пышнотелая молодуха, и впрямь полыхала. Голые руки ее и плечи обгорели на солнце и теперь светили алостью.

— Реветь буду, — пожаловалась она, осторожно трогая кожу. — Картошку сажали, вроде не чутко, а потом...

— Мужиков приманивала, — посмеялся кто-то. — Сверкала.

— Своего бы куда сдыхать, — ответила Ольга.

Чапурин пошел было во двор, да вспомнил, спросил Ольгу:

— Алексея своего тоже на химию цепите?

— Туда стремится, с Покручиным, — ответила Ольга. — Говорит, желаю.

— Желаю... — передразнил Чапурин. Он встал у ворот, рослый, плечистый. — Вы в глаза эту химию видали? Хоть издаля?

— Откель... — руками развела Ольга. — Ленька Покручин приезжает, хвалит. Деньги хорошие, харчи дармовые, спецовку — все дают. Общежитие, а женишься — квартиру.

— Хвали тюрьму крепкую... Спецовка, харчи... А то заголодали. Ты у моей спроси. Мы гостили в городе, у своих, в том краю, где химия. Ночевали. До химии еще сколь остановок ехать, а дыхать нечем. Нечем дыхать — и все. Спроси.

— Взаправду, — подтвердила жена и заморщилась. — Тухлиной какой-то несет. Прям гребостно. Как люди живут...

— Это до химии еще ехать да ехать, — сказал Чапурин. — И то не продохнешь. А чего там, в самой? Какая там казня... Дите глупое, а с вас, с родителей, спрос. Поезжай сама да погляди, а потом пихай. Семь раз отмерь, люди говорят. А вам Ленька в уши надул, харчи дармовые... а то ныне плохо живем? Глаза-то не зажмуряйте. Какие хаты понастроили. А в хатах... Сколь мотоциклов, машин. А вы пихаете не знай куда.

— А ты? — напрямую спросила Ольга. — Ты своих тоже — от берега веслом. Плывите, мои деточки...

Чапурин глянул на жену, вздохнул и ответил:

— Чего завидного. Теперь вот кинулись: она болеет и корову некому подоить. Мне еще подломиться — и воды некому поднесть. А теперь кусай локотки: не вернешь ни дочки, ни сына. Так-то вот, глядите на нас и думайте. А парень твой неглупого десятка. Куда ни поставь — делучий. Его бы в зоотехники, в агрономы. Техникум — на близу,



внаэирку будет учиться, родительская душа не боли. Выучится, ему цены не установишь. И возле родителей, старость их допокоит. А Ленька Покручин, ты на него встроми глаза, он ведь вощаной сделался. Не то что ты — гладырка, не ущипнешь... — засмеялся Чапурин. — А химия... Вон картошку от жука опрыскиваем. Иль гербициды. Скажи как сладки! Это лишь раз понюхать — и то дурнит. А люди в ней работают. Вот это химия. Она и называется так — химия! Да! Да! Химия! — подчеркнул он и пошел во двор.

Воротца он захлопнул, шаг-другой сделал и остановился. На воле, на скамейке, все разом загомонили:

— Взаправду, — подтверждала жена. — Дыхать нечем.

— Покручин — он настырливый, а наш — телок...

— И правильно гутарит, приманывают дурачков хуторских.

Чапурин ухмыльнулся довольный.

Пришли с пастбища козы, потом коровы, теленка загоняли, птицу. Сели за ужин впотьмах.

— Химия... — вспомнил Чапурин. — Как я их.

— Взгалчились, — засмеялась жена.

— Может, зайдет к тебе тетка Таиса, ты молочка ей влей.

— Это почему?

— Старый человек, корову перевела, а молока просит душа.

— Коли просит, не переводила бы. Их полхутора без коров. Всех не оделишь. И у нас лишнего нет. Маслица спахтать ребятам.

— Говорю тебе — влей, — твердо сказал Чапурин.

— Волью, волью... Не шуми, да она сроду не придет.

— Почему?

— Из чужих рук молоко не сладкое, полыном отдает, — объяснила жена.

Чапурин подумал и кивнул головой, соглашаясь: «Тоже верно».



## 2

По утрам над хутором стоял птичий гомон. По-весеннему крикливо ссорились воробьи. Взахлеб заливались скворцы, трепеща в упоенье крылами. Томно стонали голуби-клинтухи. Носились со щебетом ласточки, круто взмывая и падая вниз. Соловьи над речкой стихали; в камышовых заводях покрякивал селезень, любушку свою потеряв. Вставало солнце, и совсем низко над хутором с серебряным звоном пролетали с ночлега лебеди. Они дневали на теплых ериках. Стая летела кучно. Казалось, большие розовые крылья легко задевают друг дружку и потому звенят.

По утрам с хутора улетала ребячья стая. В вихляевскую восьмилетку и дальше, на усадьбу центральную, в девятый, десятый класс. Зимой их возили в тракторной будке-прицепе. По теплому времени каждый управлялся своим транспортом, чаще велосипедами. Малышня крутила педали, просунувшись в велосипедную раму. Старшие лихо правили мопедами, а кое-кто мотоциклами. До центральной усадьбы лежал путь немалый, чуть не в двадцать верст.

Чапурин шел через пустошь в контору, к утреннему наряду. Перед ним, по набитой дороге, промчалась на велосипедах ребячья стайка. Одетые по-летнему, простоволосые, они летели наперегонки. Когда-то детворы было больше, и ходили в Вихляевку пешком. Чапурин помнил эту дорогу, веселую и не такую уж длинную, ведь всегда не хватало времени договорить и доспорить. И вот здесь, у амбаров, прежде чем по домам разбежаться, договаривали. Чапурин встал, провожая рассеянным взглядом ребятишек, а видел не их. Казалось, ступи он сейчас на эту старую, избитую дорогу, ступи и шагай, и рядом пойдет все, что было когда-то, — все воротится.

Скрип тормозов вывел Чапурина из забытья. Это арчаковская старшая дочка — Раиса подъехала на мотоцикле.

— Меня ждете? — спросила она. — Что-то случилось?

— Нет, поезжай, доча. Это я так... — Чапурин кашлянул, не зная, как объяснить свое минутное забвенье.

Девушка улыбнулась, рыкнул мотор, и старый «ковровец», набирая ход, помчался к грейдеру.

Чапурин пошагал дальше. Минуту спустя гул мотоцикла пропал и сам он скрылся из глаз. И что-то тревожное колыхнулось в душе Чапурина. «Молодежь... — подумал он. — Летают...» Он глянул в даль, но мотоцикла не было видать, а гул будто слышался.

Тревога в душе осталась. Она была не очень понятной, потом ее заслонили дела, но что-то, видно, помнилось, потому что вечером, когда Чапурин увидел входящих во двор Арчаковых, ему стало не по себе.

Гости пришли с недобрым. Василий горбился, вздыхал; жена его, бабочка смиренная, еще с улицы начала кланяться, причитать со слезой:

— К тебе, к тебе... с делом. Може, не ко времени... прости...

Чапурин поднялся с крыльца, где отдыхал перед ужином, спросил с тревогой:

— Чего случилось?

— Прости Христа ради... Мы в дело, в дело... — частила арчаковская хозяйка. — В дело мы... Вот ее постановь на ферму. Мы мучаемся без подменной доярки. Пихаешь нам кого попадя. А Раиска к делу приученная, с каких лет доит, — говорила она, подталкивая к Чапурину дочь, на погляд. И девушка послушно шагнула. Лицо ее было неживым, застывшим, глаза безучастно глядели куда-то мимо Чапурина.

— Мартыновская ферма, сам пойми, не с руки. Работает нехай дома. Чужие углы холодные...

Чапурин ничего не понимал.

— Какая Мартыновка? — спросил он. — Кого в доярки?

— Раису, вот ее... — снова подталкивая дочь, повторила Арчакова. — Она будет стараться.

— Возле нас, возле нас... — поддержал ее муж.

— Ничего не пойму, — снова сказал Чапурин, не отводя глаз от мертвого лица девушки. Ему почудилось страшное. — Да вы садитесь и толком говорите. — Родителей он усадил, а девушка осталась стоять. — Какая ферма? В какие доярки? Ты, что ль, сбираешься? — тронул он девушку за плечо.

— Я, — коротко ответила она.

Мать вскинулась, открыла было рот, но Чапурин остановил ее.

— Либо я — глупой, либо вы плетете несусветное. Раиса, обскажи толком: чего ты желаешь?

— Я хочу на нашу ферму, к маме. Им подменная доярка нужна. Ведь все равно где работать. А в Мартыновке, по чужим людям... Пусть лучше здесь, — девушка говорила ровно, спокойно, лицо ее не живело, и глаза глядели мимо Чапурина.

— Опять вы заулками, околесом... — начал злиться Чапурин. — Какие доярки? Какая Мартыновка? Зачем это нужно? Вы мне напрямки скажите: чего желаете?

— А вы разве не слыхали? — спросила девушка.

— Я много кой-чего слыхал. А об чем вы галдите — не пойму. Кидаю умом, а не догоню.

— Нас сегодня собирали в школе, было собрание, приезжали из района и наше колхозное начальство. Сказали, что мы должны год отработать на ферме и никуда не поступать. Иначе исключат из комсомола и дадут плохую характеристику. Посылают на Мартыновскую ферму, там доярок нет. А ведь у нас тоже нет подменной доярки. Лучше я здесь, на нашей ферме, я буду хорошо работать, вот увидите.



Я прямо сейчас могу начинать, до экзаменов... Все равно ведь теперь... Зачем они нужны.

Девушка говорила спокойно, ровно. Мать с отцом глядели на нее испуганно. Чапурин вздохнул облегченно, даже улыбнулся.

— Вы чего-то не так поняли, — уверенно сказал он. — Ты, моя доча, чего-то напутала. Это, может, кто желает. А силком никто не имеет права. У тебя паспорт на руках. Ты, моя доча... — тронул он девушку за плечо и почуял дрожь. — Моя доча... — повторил он мягко. — Ну, чего ты...

Девушка подняла к Чапурину глаза, полные слез. А через теплую соленую слезную влагу, все растопившую, глянула на Чапурина такая боль, что он отшатнулся.

Не всхлипнув, голоса не подав, девушка бросилась вон со двора. Мать, растерянно глянув на Чапурина, поспешила за нею.

— Доча, доча... — звала она вдогон. — Погоди, моя доча...

Они исчезли в вечереющей мгле. Лишь голос матери, словно клик ночной птицы, недолго слышался и растаял в тиши.

Вот теперь Чапурин поверил. Правда, не совсем. Уж больно нелепо все было.

— Ты узнавал? Был в школе? — спросил он у Василия Арчакова. — Чего там?

— Смотался. Поспрошал. Говорят, приказ из области. Отработай год на ферме — и никаких.

— Ты с кем говорил-то?

— С учителями. Они Раису жалеют, вроде сочувствуют... — Арчаков говорил негромко, вздыхая. — А не могут. Пришло указание. Начальство приезжало.

Он сидел, сгорбившись, и гляделся не мужиком, а мальчонкой, в своей кепочке с зеленым целлулоидным козырьком.

«Господи... — подумал Чапурин, раздражаясь. — Тоже мне, папаня, заступник. Дочь родную...»

— А ну, пойдем, — наливаясь злостью, сказал Чапурин. — Это все же какая-то дурь. Я этому не верю.

Они прошли в дом, к телефону. Чапурин набрал один номер, потом другой, долгие гудки слушая, уселся, далеко расставив длинные ноги.

— Садись...— кивнул он Арчакову.— В ногах правды...— и смолк, потому что подняли трубку. — Чапурин, — громко представился он. — Ну, да... Здорово живете. Мы, слава Богу. Готовимся. Начали возить. Земля чуток подойдет, а так все готово. Будем стараться. Я чего позвонил... Ко мне народ идет, а я не в курсе. Про десятый класс, об каких-то фермах гутарят... Ага... Ага... — внимательно слушал он, повторяя: — Ага... Ага... — А потом рубанул сплеча: — Это дурость! Да, да! Это они умом рехнулись. А может, сроду им обнесенные... Чем? Да умом! Да нехай хоть три обкома! Это нам не помочь, а вредительство. А я говорю — вредительство, потому что узнают люди про эту дурасину и завтра последние ребятишки от нас утекут. Самые малые. Лишь ходить научатся и рысью — из колхоза. А мы останемся и вовсе яко наг яко благ. Своих детей эти разумники сюда не пришлют. Они их в тепло да в холю. А наших научились пихать. Я не богую, а говорю — вредительство. Так оно и есть. Всем скажу! И скажу! И буду говорить! — возвышал он голос. — Потому что голимая правда! И вы это знаете, но привыкли начальникам в рот заглядать. А меня пугать нечего. В тюрьму меня не посадишь, а хомут свой я тебе хоть ныне отдам. Еще и бутылку поставлю. В скотниках спокойнее. Повторю: я не богую. Это они привыкли боговать. Нас щуняли, щуняли, теперь за детей взялись. Не надо такой подмоги. Ни мне, ни в Мартыновку. На слезах замешонная подмога нам не нужна. Мы на людских слезах в рай не поедем. А вы спите спокойно...

Чапурин положил трубку. Василий Арчаков ни о чем его не спросил.

— Пойду, — сказал он. — Дома теперь вдвох ревут да и третья к ним прислонилась тоже. Ты уж похлопочи за Раису. Может, оставят здесь, все же при доме.

У летней кухни, в сумеречной полутьме, цедила молоко жена. Чапурин проводил Василия молча, не зная, чем его утешить, и вернулся во двор.

— Об Раисе горится? — спросила жена.

— А ты откель знаешь?

— Скотину ждали, бабы говорят...

— Да... — вздохнул Чапурин. — Доумились...

Он сел на крыльцо. От кухни, позвякивая посудой, говорила жена:

— Бабы гутарят, всех прищемят. Вроде паспорта назад будут забирать. Народу нет, работать некому. К старому воротятся, на притужальник.

— Это брехни! — резко ответил Чапурин.

— Може, и брехни... А вот налицо, Раиска-то. И надежи нет. Ныне кто восьмилетку кончит, девятый класс — все уедут, пока не спутляли. Бабы так и гутарят: надежи нет. От берега веслом отпихнуть... Плывите, мои деточки, — повторила она чужие слова. — Плывите, може, и порадуетесь жизни.

Слова были не ее, кто-то сказал их нынче. Но запомнилось, потому что родные дети уже который год плыли там, по чужой воде, и материнское сердце о них тосковало.

— Садись, повечеряем, — позвала она мужа.

— Чего-то не хочется, — отказался он.

— Иди. Конечно, жалко Раису, девченушка стремилась. А матерю с отцом еще жальчей, у них вся душа теперь выболит.

В густеющей темноте лица жены было не видать. Чапурина усадив и поставив еду, она осталась стоять и глядела в ту сторону, где жили Арчаковы, словно хотела увидеть: что там? Тянулась душа к чужой беде и о своей думалось.

— Душа... — презрительно фыркнул Чапурин. — Тут не душой болеть, тут за горло кой-кого надо взять. Потому что это не помощь, а вредительство. Придумал какой-то дурак, а другие дураки потакают. А мы — лишь слезы льем... Душа... Василий бы поехал да за горло взял. А я бы помог. Уж я бы все высказал.

— Ты, отец, не влезай, — остановила его жена. — На тебе и так всякий едет. Весь мир, его крылом не прикроешь. Нехай уж сами они, их дитя. Ты об своих больше думай да почаще на провед езди. А то все дела, дела да чужие заботы. Василий — сам не маленький. И бабы правильно гутарят: надо умом кидать. А слезы точить да жалиться всяк умеет. Раиску бы отправили после восьмого, теперь училась бы на фельшерицу и горя не знала. Вот и мы... — Недолго перемолчав, поворотила она. — Тоже не подумали... А теперь кому жалиться? Строились, строились. Сколько трудов поклали... — окинула она взглядом свой дом. Он во тьме словно раздался вширь и вырос, стал огромным. — Какая денежка, труды невозможные...

— Надо бы не строиться? — спросил Чапурин. — В котухе жить?

— Не в котухе... А ежели по-умному, на станции бы надо строить.

— Плетешь...

— Вот и плету... Я болею, надо бы врача — на близу. Где он? Да и ты не вечный. Об старости люди имеют загад. Не гордись, старость, она всех равняет. Ныне — во славе, все вроде в руках, а завтра чего? На станции — магазин. Чем-чем, а хлебом не обнесут. И больница, скорая помощь приезжает. Свои — рядом. Сюда их не затянешь, а там — завсегда подмогнут.

Дочь выдали замуж в райцентр, помогали ей строиться.

— Ладно... — остановил жену Чапурин. — Это все — пустая говóря.



## 3

Дома, в постели, сон пришел к Чапурину сразу: закружились перед глазами черная земля, цветущие деревья, речка и пуховое гнездо малой птахи — поручейника; все кружилось и уходило, проваливаясь в сладкое небытие.

А проснулся он словно от толчка, разом открыл во тьму глаза и услышал, как вздыхает и всхлипывает жена.

— Что с тобой, мать? — с тревогой спросил он.

— Да чего-то раздумалась...

— О чем?

— Да об жизни... И на сердце как-то нехорошо. Либо заболел кто из наших.

— Позвонили бы.

— Это правильно... — согласилась жена, но, подумав, добавила: — А может, булгачить не хотят. Отчурались. Сваты рядом — они родней. А мы... Бирюками останемся посеред степи, воды некому подать. И ты не гордись: управ, управ... Из могуты выбьешься, и никому не нужон: ни людям, ни колхозу. И будем, как тетка Таиса, на горбе хворост тягать да об молоке гориться... Да еще тебя упрекнут былым... Скажут, комиссарил, ходили к тебе на поклон. Теперь сам покушай.

— Я-то при чем... — стал оправдываться Чапурин. — Чего мне кланяться... Сама знаешь, в чужой воле.

— Да разве я тебя виню... Но как-то Бог установил неправедно. Свиньям и тем везут, а мы у них отымаем. Срам.

Это она недавнее вспомнила. В соседний хутор, в откормсовхоз часто возили свиньям то рыбу морскую, а то вовсе доброе: печенье ли, еще чего, где-то со складов списанное. Нынешней зимой возили осетровые головы. Со всех хуторов люди сбежались, тянули. Над округой веял запах осетровой ухи.

— Ладно... — вздохнул Чапурин. — Не ночьми об этом гутарить, голову забивать. Завтра хворать будешь. Спи.

Он притих и будто задремал. Но вечернее, и дневное, и ночное, слова и думы — все тревожило душу. Старик Покручин, он ведь когда-то был на хуторе бригадиром, в газетах о нем писали, награды имел. Кто помнит теперь об этом? Так и он, Чапурин, отбудет свое. А потом, правду жена говорит, еще и попрекнут. Хотя в чем он виноват? Крутишься день и ночь. Ни техники доброй в руках, ни людей. Доярка ли заболеет, скотник ли запьет — бегаешь язык высуня, ищешь замены. А уж над техникой этой трясешься... Хоть надвое каждый трактор дели: одно колесо — туда, другое — сюда. И с молоком... Той же тетке Таисе. Конечно, заслужила она. Но одной выпиши, завтра все прибегут. У того — дите, другой — инвалид, третий... Словом, все сбегутся и будут трясти Чапурина. А надо ведь — и в столовую, и в детсады, в школу. Туда да сюда. И всякий день начальство кричит: «Разбазариваешь...» Да только ли с молоком. Чего ни коснись: зерно ли, солома, сено. Чапуринская бы воля, сказал бы людям: берите сколь нужно. Все равно потом унесут, потому что жить надо. А ты прижмуряйся, вроде не видишь. И в чем упрекать его? В других хуторах людей струнят да сажают. А он, слава Богу, никого в тюрьму не пихнул. Но вспомнят ли добром? Вряд ли... И по-хорошему, по-умному, давно бы уйти надо с управляющих, все бросить и уйти в скотники. Пасти — через день. Отпас — копайся в огороде, в саду. Зимой — на ферме вилами ворочай. И ни о чем не думай. Есть ли корма, нет их, техника, запчасти, электричество, грязь, заносы, школьники, пьяницы — ни о чем голова не боли. Знай свое: отпас, помахал вилами — и домой.

Эта мысль пришлась Чапурину по душе, и он уж хотел с женой поделиться, но вовремя спохватился: стояла ночь, жена спала ли, дремала и трогать ее грешно. Пусть отдохнет. А Чапурина сон не брал.

Думалось всякое. Вспоминались люди, которые жили на хуторе и ушли. Прошлое возвращалось, годы прежние, молодость. А что до будущего, то уже короткое время спустя Чапурин ясно понял, что в скотники идти — тоже не особая радость. Столько лет пробыл в управляющих, этого не скинешь с рук. Как ни говори, притерся, и в новом хомуте будет не ловко, а привыкать уже трудно — не молоденький.

Чапурин, считай, не спал и, лишь забрезжило, осторожно поднялся с постели, вышел из дома.

В сером сумраке просыпалось раннее хуторское утро. Над речкою гремел соловьиный бой. Обломок луны белел над головою, рядом — звезды.

Взяв лопату да вилы, Чапурин почистил коровий баз, козий, заодно у свиней прибрал и у птицы, выпустив на волю кур да гусынь с гусятами.

Той порою звезды в небе погасли, на востоке посветлело, занималась желтая заря.

Поднялась жена, загремела у кухни подойником, сказала:

— Либо вовсе не спал?

— Ты же меня коришь: некудовый хозяин, — отшутился он. — Вот исправляюсь.

Жена его шутку не приняла.

Начинался день. Но еще было время до утреннего наряда, до завтрака. И Чапурин пошел вниз, через огород и леваду, к речке.

Речная вода была темной, без солнца. К берегу прибивало желтую накипь опавших вербовых сережек. Рядом, в терновых кустах, допевал соловей: ударит — и замолчит; переждет — и снова рассыплет трель. Но соловьиная ночь была позади. Запели дневные птицы. Впереклик неслось звонкое кукованье, стоны голубей, писк и щебет, журчанье, стук дятлов и протяжные песни иволги. Просыпалось утро. Тяжелая роса лежала на обережных травах.

Старый знакомец поручейник уже работал, ладил свое гнездо. Чапурина увидав, он весело просвистел:

— Тинь-тирлинь!

Просвистел и унесся. И скоро вернулся с легкою ношею в клюве. Синеперый, ловкий, он утолок пушинку, приладил ее, просвистел короткую песнь и умчался.

Качалось на тонкой ветке гнездо над водой.

— Тинь-тирлинь! — снова просвистел поручейник, избочась взглянул на Чапурина глазом-бусинкой и умчался.

Вот она жизнь... И чапуринский дом вот он, чуть подалее, тоже над водой. Та же зелень, та же земля, то же небо над головой — словно у птахи. Только песен нет.

— Тинь-тирлинь! — поручейник примчался, принес пушинку и снова пропал. Вновь вернулся.

Гнездо росло на глазах. Пуховая рукавичка, невеликая, словно с детской руки.

— Тинь-тирлинь! — прозвенел поручейник, поглядев на Чапурина. И словно почуяв человечью душевную смуту, синичка, оставив труды, уселась рядом на ветку и принялась распевать: «Тинь-тирлинь! Тинь-тирлинь!» Чапурин глядел на нее, слушал и вспомнил о внуке: тоже вот так что-то лопочет, свое, звенит голосок, а о чем — не поймешь. Лишь внимаешь, слушаешь, и волна вовсе не мужицкой нежности поднимается и подступает к горлу.

Чапурин прикрыл глаза. Что-то чудилось ему, что-то грезилось: птаха ли малая, внук ли, глупое дитя, а может, арчаковская светловолосая девочка...

— Тинь-тирлинь! Тинь-тирлинь! — пел поручейник, невеликая синеперая птаха.

И гнездо его, пуховая рукавичка, качалось рядом. Здесь ему висеть и висеть, над водою, под старой вербой. Поручейник пробудет





лето, выведет птенцов и улетит в теплые края. А гнездо будет качаться, висеть, и лишь поздней осенью, в предзимье, мокрый снег его облепит, и оно упадет, утонет в холодной воде. А птицы улетят далеко, к теплу. Улетят, но потом воротятся к этой вербе, к светлой воде, к своему дому. Они воротятся, но путь будет долгий, тяжелый, для многих гибельный. Господи, помоги им...

Пора было уходить. Чапурин окинул взглядом зеленое обережье и вдруг увидел светловолосую девушку, Арчаковых дочку. Она сидела поодаль, на берегу, обхватив руками колени.

И для Чапурина все вдруг пропало разом: весеннее утро, сады, птичье пенье. Все пропало, и вернулся вчерашний вечер: глаза девушки, слезы и боль. Боль в глазах... А сколько ее там, в душе, куда не заглянешь? Сколько в сердце, еще не знавшем горя?

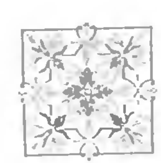
Чапурин подошел к девушке, кашлянул. Она испуганно вскинулась.

— Не зорюется? — сказал Чапурин. — Ну, пошли тогда. Поехали, доча...

Она не вдруг поняла его, а может, и вовсе не так поняла. Но послушно поднялась и заспешила вослед высокому, плечистому, широко шагавшему управу.

Короткое время спустя, нехотя рыкнув, тронулся от чапуринского двора желтый пикап. За рулем сидел управляющий, рядом — девушка в парадной школьной форме, с белым передником и кружевными манжетами, воротничком.

Помоги им, Господи...



# ПРОЗА



ВАДИМ САФОНОВ



## ЛИТОВСКИЙ ЗАМОК

РАССКАЗ

1

В узких, вытянутых вверх оконцах, где еще не опускали шторок, отражались лампочки и вся тусклая внутренность вагона, а снаружи стекла заливала чернильная тьма. Вагон, сотрясаясь, несся сквозь нее, жарко натопленный, со спертым густым воздухом. И лишь когда хлопала дверь в тамбур, врывалось оттуда, с клубами холодного пара и угольным запахом, лязганье каких-то металлических челюстей.

Вагон был плацкартным, то есть ступенькой выше тех, что назывались общими. Место указывалось точно, и в данном случае повезло: вторая полка в «отделении» — не какая-нибудь боковая, над либо под окошком, когда приходилось складывать столик, а лежа любоваться ногами или головами мимо идущих.

Впрочем, Дмитрий Ергушов не придавал всем таким вещам чрезмерного значения: подумаешь — одна ночь! Жил поверх них. Знакомая девушка, занятая по преимуществу сама собой (успев при том и кой-кого из окружающих убедить в том, в чем убедила себя),— живая, некрасивая девушка роняла фразу: «У меня высокая самооценка», —что также позволяло ей пренебрегать многим досадным и неприятным; она была еще очень юна, и предстоящее ей впереди казалось необъятным. Ее звали Леокадия. Любопытно, что станется с ней дальше. Случай с нею был, конечно же, резко отличен от ергушовского, совпадала лишь зеленая молодость обоих. Но Ергушов ни за что не повторил бы ее коронной фразы. Дело было для него вовсе не в высокой самооценке. Не грешил этим. Просто жил поверх и таких рассуждений, доверяясь, однако, посулам укрытого в тумане грядущего. Поди-ка разберись в подобных вещах до конца!



Вагон был плацкартным. Не купейным, тем более не мягким и не международным. Последние два находились вообще вне ергушовского рассмотрения. Особенно по старинке и неведомо почему так именуемый международный. Приземистый, незапамятно-бельгийской стройки, весь в темно-коричневых дощечках, уже расхлябанный по всем своим сочленениям, он таил в себе нечто загадочное. Равно как и малая кучка тех, кто с совершенно невиданным, скрипящим кожей, пестреющим яркими наклейками багажом в полном безмолвии поднимались в него, почтительно провожаемые взглядом проводника, облаченного в форму, утвержденную еще царем Горохом. Говорили, что такие проводники наделены, в частности, чудодейственной властью, пренебрегая извитыми очередями к заветным окошечкам касс, тут же, на месте, выписать билет, отворяющий Сезам: к залитому фиолетовым сиянием притененной шелком лампочки рытому бархату двухместного купе с двуязычными надписями вроде: «Sous le lavabo se trouve une vase» — «Под умывальником принадлежность».

Пустяки! Все это было пустяками для Дмитрия Павловича Ергушова. Придет время — будет и такое. Он не сомневался в том, вовсе не предаваясь какими-либо специальным рассуждениям. Скользя мыслью. Выпадет и для него из повитого туманом грядущего. Сбудется и принадлежность под умывальником. Но то ведь было совсем же другое, чем у девушки Леокадии!

Как всегда, попадая в вагонный мирок, он как бы сбрасывал с себя будничную шелуху. И с особенной зоркостью, обостренным вниманием приглядывался ко всему вокруг. К попутчикам. Ехали разные люди. Поди угадай, кто зачем. И по-разному вели себя. Всегда находились некоторые, что исправляли свою вагонную судьбу, начертанную на плацкартной бумажке. С кошачьей ловкостью, достойной быть отмеченной почетным значком покорителей высот, они взбирались ввысь под самую крышу вагона и после борьбы с уткнутыми туда корзинами и узлами, а главное — обладателями их, втискивались в тесный проем поднебесной третьей полки. Никто не спешил угомониться. Женщины уложили лишь детей. На столиках позвякивала извлеченная посуда. Дырявые нитяные носки бойко беседующего, возлежащего на своей полке, длинного старика, выдавались в проход, никто не мог миновать их прелого духа. Крепко сколоченный, широкий в кости парень, с крупной головой, очевидно, уверенный в себе вожак во всех подобных обстоятельствах, стоя в соседнем отделении, затевал, слегка картавя, песню:

Послушайте, ребята, вы меня,
Да-да!..

Двое-трое неуверенно подтянули. Этого ему было мало. Требовательней, громче, так, что картавость стала слышней, взмахами рук он стал расчищать дорогу песне:

Заложу я руки в брюки
И пойду гулять со скуки...

Число подтягивающих умножилось. Подошли из соседних отсеков. Только парни, ни одной девушки. Плотно сбитый запевала дирижировал мужским хором. Видели друг друга в первый раз, и не важно, знали ли слова, и кому какое дело, кто зачем едет,— тем более нет никому дела до цели поездки Ергушова, хоть и была она, верно, единственной на весь вагон.

Гоп со смыком — это буду я!

2

Когда Андрей сказал: «Придется съездить тебе. Да ты и любишь ездить?» — полувопросительно и словно извиняясь, то была правда. Особенно чувство ожидания чего-то, быть может, необычайного охватывало перед выпадающей поездкой, никому не рассказывал о нем, никто и не догадывался — догадывался Андрей; Андрей был как брат. «Ведь у тебя,— кинул он вроде вскользь,— к тому же что-то... или кто-то есть в Ленинграде. Так?» И это правда.

Сколько лет они с Андреем? Сегодня утром, укладывая чемодан, Ергушов перебирал бумаги. Попалась завалявшаяся книжечка, «буклет», как тогда называли. Проспект выставки Ван Гога, 8 страничек, одна занята черно-белой картинкой — «Ночное кафе». То самое, в Арле, где можно сойти с ума или совершить преступление, как отозвался о нем сам живописец — и залил полотно мертвым желтым светом, от которого нет спасения. Это врезалось в память Ергушову, хотя музей давно наглухо закрыт, да и нет в нем больше «Ночного кафе» — широким кавказским жестом отправлено на дом американскому послу Буллиту, которому приглянулось. На буклете, сверху, полустертым карандашом угловатая надпись — видно, что писалось на весу: «Эта книжка, увы, ничему не научит тебя, но мне ее некуда девать. 9.IX А. Ц.» — и закорючка. А под ней, внизу, вторая: «Через 5 минут. Как жаль, что я забыл, что ее можно спрятать в карман! АЦ». Ергушов улыбнулся. Что-то тепло щекочущее подступило ему к горлу. Сколько лет минуло! А Андрей все тот же Андрей. На выставку в двадцатых ходили вместе. Буклет был один на двоих.

Посмотрели «Красные виноградники» с игрушечными вагончиками поезда на краю мокрой равнины. Постояли перед портретом врача лечебницы, где пытались исцелить художника от тяжелых приступов нервной болезни последнего года его жизни. Однажды бритвой он отхватил себе ухо и написал замечательный автопортрет с забинтованным лицом. Возле «Хижин», возникающих из волнообразно вскинутых увалов, подобно шекспировским пузырям земли, Андрей сказал:

— Тебя никогда не поражали исполинские травы Камчатки? Растительный мир — будто через гигантскую лупу?

— Ну, как тебе сказать? Пожалуй, что с детских лет. Когда прочитал в «Вокруг света». И картинки, фотографии там. Мечтал поехать, посмотреть, потрогать своими руками. И спрятаться, как в лесу,— разве я никогда не рассказывал тебе?

— Посмотреть... в лесу спрятаться — от кого? А я вот не мечтал — разные мы с тобой. Еще не уверен, но что-то такое мерещется. Ведь сколько ни объясняли, остаются пробелы, лакуны, а в лакунах этих... чего доброго подход к новым закономерностям, вот так, не исключено! Понимаешь, что означало бы, если до самого донышка разгадать, взять в руки ключ?

— «Остров доктора Моро»! — сказал Ергушов.

Однако многое, немыслимое прежде, теперь стояло у порога. Вот-вот прогремят американские опыты Меллера с Х-лучами, с рентгеномутациями у дрозофилы, с ускорением, умножением их числа во сто, полтораста раз. И что только не покажется возможным!

— А теоретически я бы хотел добиться логической безупречности. В строгой узде. Большая посылка. Меньшая, с распределенным средним термином. Коралларий. Ты знаешь, что такое коралларий, само слово?

— Каюсь...

— Победный венок. Венок победителю. Та аподиктическая точность, чтобы комар носу не подточил.

Андрей был невысок ростом, неширок в плечах, возможно, слабогруд. Не умел чисто выбриться, проскакивали золотистые волоски,



особенно заметные на бледной коже, когда по большому лицу его, словно извиняясь, блуждала мимолетная улыбка.

— Ну что же,— откликнулся Ергушов,— писывали и так и сяк. Ты что, возревновал к мудрому Спинозе, а то и к самому Ньютону с его «principia mathematica»? Однако посмотри, к примеру, совсем иначе у Галилея в «Discorsi».

— Знающие итальянский язык говорят «Discorsi», прочие предпочитают «Рассуждения», «Разговоры». К твоему сведению, ты с этой своей усмешечкой идеальный Мефистофель. Обрати внимание, кстати, что такое Фауст сам по себе, без Мефистофеля? Сделай опыт, перечитай, изъяв все от беса,— что останется? Рифмованная высокопарность, зевнешь и бросишь.

При чем тут был Ван Гог? Хоть вовсе не оставил равнодушными, даже многим глубоко задел — вон через сколько лет, пусть под спудом, хранилось в памяти!

Но так они разговаривали, Цветов и Ергушов. Ловя на лету любые намеки друг друга и бог весть почему получая от этого ни с чем не сравнимое наслаждение. Что бы подумал посторонний, хоть краешком уха подслушав подобный разговор!

— Это я Мефистофель? Так вот, коснись меня, в кухне ведьмы тебе бы не бывать, а Прекрасной Елены — как своих ушей...

— Скажи еще — ни Маргариты. Оставь хоть маргаритку. Садовую, на грядке. Какая пестрота форм! Крупные «грандифлоры», в полтора пятака корзинки. Все цветки язычковые. Все цветки трубчатые. А где дикие родичи? Цепочки переходов? Ты не задумывался? — И вдруг перебил себя: — Вот, говоришь, любишь Ленинград.

Никакие скачки мысли не удивляли их. Но как же давно, выходит, шевелился в его сознании Ленинград!

— Я говорил это?

— Ты, а кто же? И будто знаешь его? Я все хотел спросить тебя: Литовский замок...

— Его нет. Разрушен, сожжен. Еще в февральскую.

— Развалины?

— Думаю, убрали, расчистили.

— Уверен? Семь башен. Семибашенный замок. При Екатерине вышагивали в кургузых мундирчиках, шляпах с плюмажами — или какая там форма у Литовского полка? Потом, сто лет, больше, тюрьма. Оплот. Устой. Вплоть до революции. Вообрази, каково заживо погребенным. Русская Бастилия! А ты и не добрался до места? Недостало времени? Или любознательности? А у меня, признаться, не выходит из головы. Семь башен. Заживо погребенные.

Он, слегка повернувшись, прямо смотрел на друга широко, доверчиво раскрытыми глазами, и Дмитрий Ергушов знал, что ни в каких до того сказанных словах, иронических шутках, тоне голоса, ни в чем сейчас нет столько настоящей правды, сколько в этом взгляде. Андрей был ему как брат.

— Бастилия?

— Да, та, французская. Также уничтоженная революцией. Стертая с лица земли. Но контуры ее выложены камнем по площади. Отец, когда с матерью был в Париже, шаг за шагом обошел обвод. И представь себе, показалась она ему гораздо меньше, чем судил до того по картинкам, описаниям.

— Тебя в Париж не взяли? А где ж ты тогда был?

— Вот и вопрос. Ломаю голову: где я был? Ты случайно не знаешь? Во всяком случае на свете меня не было, еще, знаешь ли, не успел явиться.— И круто сменил тему.— Завидую, как тебе легко жить.

— Мне... что? С чего ты взял?

— Через кочку и пу́чину скользнешь, ручек-ножек не запачкаешь, крылышек не обомнешь.

— Духовидец! Ты всерьез?

— А ты сам спроси себя всерьез... себя о себе.

Какой давний полустертый разговор! Всплывший из-за мятой книжечки, буклета...

### 3

Специальность у обоих была одна.

Но то, что для Ергушова специальность, у Андрея — дело жизни. И Дмитрий отлично понимал это.

Понимал и то, что если бы их обоих изобразить графически, кругами, круги далеко не полностью наложились бы один на другой, не совпали бы, но значительными отрезками, секторами выдавались бы в разные стороны.

Работали на одной и той же опытной станции.

Познакомились раньше, в студенческую пору, с радужными надеждами на будущее. Кончив, с дипломом в кармане, один из них, не дожидаясь разверстки, определился на эту станцию и тотчас потащил за собой другого. Обоих зачислили чуть не одним приказом, так что оставалось гадать, кто застрельщик, кто кому проторил дорожку.

Дело жизни Андрея Цветова, однако, тоже не целиком совпадало с профилем станции, с ее уклоном на возможно скорую практическую отдачу. Теория с попытками прорыва к глубинной сущности явлений изменчивости, их генетической природы и вероятного эволюционного значения не укладывалась в жесткое ложе сиюминутной утилитарности.

Все это не то что одобрялось, сколько снисходительно допускалось прежним руководством. А после двух-трех публикаций, подписанных, как водится, не одним Андреем, а в сообществе с вышестоящим лицом, невинным, как младенец, в данной публикации, стали мелькать даже ссылки, с осторожной оглядкой упоминания в отчетах — вот, мол, и у нас, не так мы просты, ведутся фундаментальные исследования. Вескость слова, в последнее время особенно часто и уважительно повторяемого, была вне сомнений, так что все шло как бы в актив и в плюс для всей станции.

Руководство сменилось, куда-то испарился и невинный младенец соавтор: а другой, профессор, с очень выпуклыми глазами и клочком бородки под нижней губой, вроде одобрявший, не входя в детали, усидчивость молодого человека, шагнул тоже в сторону и ввысь — в столичный институт.

— Ну-с, Андрей Николаевич, попытаемся подвести черту под вашими усилиями за последний год,— сказал новый замдиректора Пигусов.— Как учит диалектика: тезис — с чего начали, антитезис — ваши трудовые и теоретические устремления, каков синтез? Гегелевская триада, которую, как вам ведомо, перевертываем с головы на ноги. Давно почитывали «Диалектику природы» старика Энгельса? У меня настольная книга. Должна бы и у вас, особенно при вашем сугубо микрообъемлющем уклоне. Сигиллярии и лепидодендроны, юрская, меловая,— с особенным удовольствием выговорил Пигусов.— Итак, давайте грубо, зримо: чем мы отблагодарили тех, кто нас с вами поставил сюда, кормит и поит? Ваш вклад в практику сельскохозяйственного строительства?

Он говорил весело, никакого начальственного железа в голосе. Разговор лишь пошерстил и кончился ничем. Андрей съездил в Город — так в местном просторечии именовалась Москва. Возникла надобность в разных согласованиях, а с истинной целью — добиться наконец серьезной встречи с вершащим теперь дела в столичном институте профессором Дудуновым, от каковой тот, страшно выкатывая шарообразные



глаза и похлопывая по плечу, прежде с удивительной ловкостью увертывался. За день Цветов ничего не достиг, где-то переночевал, а то и просто — летнее время — прошатался по улицам, прихватив еще день, вернулся на третий.

— А, пожаловали! — громогласно провозгласил Пигусов: в самой интимной обстановке, с глазу на глаз, он, не давая своему голосу поблажек, чувствовал себя словно на трибуне. — Я, изволите видеть, вынужден был подписать пре-по-хабнейший приказ — полюбуйтесь, выписка на вашем столе!

Однако все поручения и согласования в Городе — оставляя в стороне личную истинную цель — были успешно выполнены, грозное выражение постепенно слиняло с лица Пигусова. Он обронил:

— Все решительно? Хорошо, оставьте, посмотрю.

А Ергушов после спросил друга:

— Так что Дудунов? Ты прошиб его скорлупу?

— Многого захотел. С налету прошибить то, что выпестовано десятилетиями! Однако что-то проклюнулось. Выслушал. Переспрашивал. Тебе, кстати, привет. Настаивал, что помнит — мефистофельскую твою усмешку или что другое, уж не знаю, не пояснил. В таблицы тем не менее вник. Исправил две опечатки толстым коричневым, с поросячью ногу, карандашом — откуда такими их снабжают? И вообрази, ни разу не выкатил на меня этих своих шарообразных, которые, как тебе известно, подают жесткий сигнал: время истекло, пора, дверь за вашей спиной, затворите снаружи. Вообрази, ни разочка!

— Очень живописно, а толку-то?

— А толку... Призадумался. «У меня иной профиль» — скользкий уж, но ведь прав: мой «профиль» это, не его. «Нуждаетесь, я так понимаю,— это он мне,— в своего роде арбитраже? В сверхарбитре, я бы определил». «Вот если бы Николай Иванович?» — попробовал я позондировать.— «Ого! Вавилов! Высоконько замахнулись!»

— Высоконько? Так и отбрил: высоконько?

— Ну да. Не стоит обижаться на манеру: привыкли. Усмехнулся: «Он же сейчас на абиссинских высокогорьях!» Это, во-первых. А, во-вторых... Понимай, мол, сам: куда метишь! Но стал серьезен — и я ему благодарен. «Свет не сошелся клином. Верзилин? Ближе всего к тому, что ищете. Не вижу никого, кроме Верзилина.— Посмотрел на меня, пронизывая словно рентгеном. Я бы сказал — рентгеновским взором.— Что? Немножко не тот коленкор? А между ними двумя разлад? Коллизии, контроверзы. Нормальнейшая вещь в науке! Потомки разберутся — оставим им это удовольствие. Не станем встревать». Итак, про собственное мнение — молчок. Скользкий уж! — сказал Андрей.— Еще поерзал в кресле, подумал: «И тоже путешественник.— Это про Верзилина.— Кататься любит. Пусть не на Крышу мира: у каждого свой размах маятника Фуко.— Узнаешь красочную манеру? — Но,— прибавил,— микроскоп и пробирка. Пробирка и микроскоп! Тут,— постучал костяшками пальцев по моим листкам,— его область и больше ничья. Имя! Авторитет! Собрал вокруг себя команду мальцов-помощников — все на подбор! Уж если замолвит словечко, захочет замолвить, оценив эти... эти наметки, тогда вашим Пигусовым — накося выкуси. Накося выкуси!» Гаркнул — и выкатил шары.

— Значит, ехать? — спросил Дмитрий.

— Значит — так. Если чего-то стою...

— Конечно. Ты должен.

— Но...— И замялся.— Ты пойми, я хочу... Сам рассуди: ехать надо не мне, а тебе.— И горячо заговорил.— Даже лучше. Объективней. Ты же в курсе. Пусть работы говорят сами за себя. Да тебе и легче подпишут... подпишет командировку. У меня к тому же эксперимент заложен, не прервать — вот главное...

Пораженный, Ергушов не находил, что сказать. Но ясно понимал — нет, не главное.

...Тот разговор с Цветовым Пигусов закончил так:

— Да, кстати, заверните-ка на минутку-другую в отдел кадров. В нашу скинию завета. Что-то там никак не разберутся с вашим папашей, проясните, кто он был у вас — не поп ли расстрига? — И осклабился, готовый захохотать: веселая шутка.

— Какой поп, почему?

— Ну, не знаю, не знаю. Вояжи за рубеж, какая там, чего доброго, еще и родня. С ними, с ними, только с ними — их претензии!

И не удержался — хохотнув, нырнул в дверь кабинета.

...Быстро, горячо говорил Андрей:

— Я хочу убедить тебя. Как дважды два. С этим твоим особенным даром подхватывать, излагать, развивать, систематизировать...

— Четыре глагола!

— А нужен пятый и шестой? У тебя часто куда удачнее выходит, чем у того, кому делаешь честь, изъясняя его воззрения. Первостатейный популяризатор получился бы из тебя, а что же — есть такая профессия! Правда, к некоторому ущербу для собственной твоей позиции, ничего не попишешь,— если, конечно, допустить, что она тебе самому известна...

Ну вот и улыбка, привычная между ними, но как же нелегко освоиться с неожиданным, почти невероятным поворотом!

— Я же не ты. Да, вместе судили-рядили, копья ломали, а все-таки выйдут у меня вершки, где нужны корешки. И еще. Верзилин, кто о нем не слышал! Но ты пытаешься выстроить восходящие ряды — он все замыкает в циклы. Неважно — называя, умалчивая.

— Однако безошибочная точность эксперимента, объем подобранного и проанализированного материала!

— Потерпи. Ищешь не просто спектра, веера вариаций, а прогрессивные ступени. Так? Что там отринуто напрочь. Как вовсе несерьезное. Ручаюсь, даже изречения соответственные в рамочках развешаны по стенам, в поучение новичкам. «Запрещается!» — непременно восклицательный знак. Как про квадратуру круга и перпетуум мобиле.

— Брось острить. А что, не нужно изучить до последней черточки подлинную реальность, прежде чем шагнуть дальше? Откуда иначе шагать-то станешь? Вот чего мне не хватает, не маленький, отдаю себе отчет. Кому же другому и разобраться, как не ему, пусть даже в расхождениях, в разноречиях... в спорах на пути к истине? Превосходно организованный мозг, что ни думай о нем! По любым вершкам дойдет до таких корешков...

Пронзительным ощущением близости к Андрею отдались у Ергушова эти сбивчивые попытки уговорить, внушить, поставить вместо себя. К его слабости, боренью его воли — чтобы не дать себе поникнуть в этой последней ставке...

— Улучишь время на то, про что я тебе говорил: Литовский замок?

## 4

Надолго, а может быть, навсегда Дмитрий Ергушов запомнит последний, предотъездный разговор с Андреем Цветовым. Долгий разговор. То затухавший, то зачинавшийся вновь. И на работе, на делянках, в лаборатории, в столовке, и по домам друг у друга, куда шли медленно, доходя, возвращались, провожая один другого: — «Зайдешь? На полчаса?» О чем только не говорили! Но надо всем лежала тень, куда едет. И чаще Андрей возвращался к тому, что и было сутью его жизни, так раскрывая свое еще зыбкое, смутное, тайное, как никогда. Что, тая, нащупывал, лелеял в себе.

Несколько раз коснулся и того, незабытого, что, верно, переворачивал в душе так и этак, отступал, откладывая до какого-то настоящего часа. Давнюю кинутую мысль об условно названном им «феномене Камчатки»: гигантизме форм. О том, не до конца проясненном, не таком уж частом, но что можно наблюдать, конечно, не на одной Камчатке, например,— еще и в некоторых, как бы замкнутых в себе, закрытых от окружающего мира ущельях Тянь-Шаня («джунгли трав»).

— Ты по дружбе, из приязни приписываешь мне — пытаюсь выстроить восходящие ряды, ищу механизм прогрессивных изменений, повышающих общую организацию, уровень... Ну да, сущность ароморфозов, так названных Северцовым в двадцать пятом году...

— ...чтобы в идеале запереть, как поймаешь, в логическую клетку с позолоченными прутиками то, что привело к завоеванию Земли жизнью,— вот что тебя интересует! Я знаю.

— Безбожно льстишь — из приязни. Но если бы, если бы ты в самом деле знал...

И он, ища слов, закидывал лицо с неправильными, все еще детскими чертами. Проскакивали альтовые нотки, когда старался что-нибудь подчеркнуть, сказать внушительней. Ергушов видел недобритый в ямке подбородка белесо-золотистый волосок.

— Если бы ты знал всю меру незнания... голова кругом... будто на крошечном островке посреди... посреди... С тобой не бывало? Да что, ты же совсем другой.

Но с натужным звуком отлипла дверь из кабинета — святилища, показался Пигусов.

— А, творец нового «Происхождения видов»! Беседуете? Не закругляетесь еще? Закругляйтесь, закругляйтесь! Вот, пожалуйста,— и подал на ладони подписанное командировочное удостоверение так, чтобы оно не согнулось.— Пошел еще раз вам навстречу. Итак, на четыре дня. На четыре! День приезда, день отъезда. Помните: еще раз!

И, сделав обеими освободившимися ладонями приветственный жест, твердыми шагами прошагал мимо.

— «Происхождение видов»,— повторил Цветов.— Дарвин. Наиболее великое, что дала старая биология. Кто мы, если поставить рядом? Принцип отбора. Какие ни приложишь эпитеты — все мало. Пронизал мировоззрение — далеко за биологическими рамками. Философию... Но... ты никогда не задавал себе вопроса: крылья?

— Отчего не задавал? Удивительное, почти невозможное создано природой. Примерь на себя, на человека. Обрыв, пропасть, загнали, спасенья нет. «Бездны на краю» — как там у Пушкина? А взмахнул — и фьюйть! Переворот во всех ощущениях, от малых до решающих. Иной облик всех вещей, ты понимаешь? Внутрений мир птицы, как ни изощряйся в догадках, за семью замками!

— Я вовсе не о том. Мы же биологи. Отбор берет под защиту всё, что как-нибудь служит виду. Прирост хоть крошечной пользы. Подожди, не перебивай. Как могли возникнуть крылья? Редукция, калеченье передних конечностей, обращение в культи. На сотни, на тысячи лет! Обуза — вплоть до финала: через тысячелетия.

— Стой! Перерождение рогового покрова в перья — это же легкость прыжков с ветки на ветку. Как ты не понимаешь? Прыг-скок. Археоптерикс не летал, но порхал же.

— Да. Археоптерикс. Хорошо — уродливые выросты на теле насекомых? Несколько путает превращение, метаморфо — червеподобная личинка, мумия-куколка. Тем не менее — бабочка. Вообрази, это нетрудно, длинную цепочку предков, волочащих неловкие и все растущие складки. Чем дальше, тем неуклюжее. Даже не зачехленные над крыльями. Ух, прелестнейшая зацепка для челюстей хищников, им же имя легион. Или хочешь, чтобы бабочка-имаго выпорхнула из кокона, как чертик из коробочки? Паллада-Афина с мечом и щитом из головы

Зевса! А то возьми, чтоб тебе было интересней, исполинскую, в локоть длиной, стрекозу меганейру, ту, что носилась в каменноугольных лесах меж сигиллярий и лепидодендронов,— произнес он с явной ссылкой на фразочку Пигусова.— Семьдесят сантиметров в размахе, царица воздуха в вечном безмолвии тех лесов — ни птичьих голосов, ни криков зверей, ты представляешь? Без единого соперника в ту пору! А теперь сообрази, как появились, закладывались, росли, уж не с девона ли еще, все неуклюжее раз от разу, грязные складки-недоростки, что еще только станут, бог весть когда, четырьмя, не всякой будущей птице под стать, крыльями. Моторчиком, трещащим в полете. Прикинь, сообрази. А я ничего не утверждаю. Лишь ставлю вопрос. Где ответ? Полистай литературу — вскользь, общими словами, когда нужна сугубая конкретика... Вот, проверь. Или я ошибаюсь?

Чего же он хотел? К чему клонил? Уж не к какому-либо подобию берговского нашумевшего номогенеза, «исторической биогенетики» Соболева? Знал ли это сам? Все в нем было в брожении. Как установится. Ничего не принимать на веру, хорошо; но ведь в слепом полете одиночки! Куда вынесет он? И опять острое жало жалости укололо Дмитрия.

Однако Мефистофель пробалагурил:

— Все проморгали, пролопушили, один-единственный — как это? — veni, vidi...

— Оставь.

— А что ж, спросить у Верзилина?

— Сохрани и помилуй! Ни из какого рукава не вздумай вытряхивать. Дай сперва хоть к чему-то прийти в собственной голове, навести у себя порядок. Я ведь сейчас только так, только для одного тебя...

И слабо улыбнулся, не было у него тогда иной улыбки.

А совсем при прощании, на местном перроне, обнял друга.

— Ты не смейся, мне все чудится: жизнь, шум, движение, вокруг дивный город — если б руку протянуть сквозь толщу семи башен. И — гробовая тишина, смерть заживо... Ты где остановишься? Советую в «Астории», оттуда два шага.

А девушка Леокадия проводила в Москву, на Октябрьский вокзал, вошла в вагон — посмотреть, как устроится со своей верхней полкой.

Так сколько же осталось теперь еще той вагонной ночи? Мягко постукивающей на стыках, перебивая лязгом и скрежетом? Ергушов пробрался в конец вагона, к укромному закутку, еще не переименованному стыдливо в туалет. В последнем отделении стоял человек, снятый пиджак перекинут через полусогнутую левую, правой опирается о край тюфячка соседа на второй полке. Стоит и говорит, говорит, очевидно, застигнутый в начале своего приготовления ко сну позывом к ораторскому самовыражению.

— Салтыков-Щедрин! — говорит он.— Толстой! Я имею в виду подлинного графа Льва Николаевича, не нынешнего однофамильца. Чехов! — выкликает он.— Гиганты! Я тридцать лет читаю в университете.

Старчески-жилистая шея выдается из расстегнутого ворота рубашки, голова была бы совсем как у пожилого мастерового, если бы не тщательно подстриженная бородка с упрямо-крутым загибом вперед.

А слушатель уже улегся, но пришлось ему отложить сон и мало что слушать — еще и отзываться.

— Значит,— так отзывается он трудно и медленно, с усилием расклеивая веки,— это же выходит, чтобы писать хорошо, надо, чтобы писателей давили, душили, не давали ходу. Вот именно — не давали



ходу. А если как у нас: даны все права, отнято лишь одно — писать плохо...

— Это Максим Горький сказал.— вступает нижняя полка наискосок.

— Горький лишь повторил за кем-то, верно? — говорит молодой человек на полке и с усилием приподымается, чтобы не так мучительно хотелось спать. Но никакой надежды на скорый сон у него нет. Тот, кто стоит, упрямо выгнув бородку, забыв и про расстегнутый ворот рубашки, и про перекинутый через локоть грубошерстный пиджак, отчего затекла рука,— конечно, профессор-литературовед, гуманитарий (их Ергушов вовсе не знал, Дудунов не походил на них), — профессор нашел оселок, чтобы отточить завтрашнюю лекцию. И не так легко откажется от найденного, отпустит на покой молодого слушателя со славным широким лицом и напряженной вертикальной складкой на лбу,— он школьный преподаватель-словесник, исполненный безграничного уважения к дарованному случаем попутчику. Хлопнувшая дверь в тамбур, железное скрежещущее лязганье и влетевшее облачко — ничто не остановит профессорского речевого потока. Только становится все очевиднее, что люди и события вековой, на худой конец полувековой давности гладко, убежденно, эрудированно говорящему профессору ближе, роднее, понятнее, нежели все происходящее бок о бок с ним, даже в избранной им области...

Ергушов отправился обратно к своему месту. Квадратный парень с выпуклой емкой грудью перебрался уже на самую середку прохода и, взмахивая обеими короткими руками, торжествующе и картаво правил многоголосым хором.

Голос он имел здоровый, и ревел он, как корова:

Гоп со смыком —
Это буду я!

А в мерные паузы вплетался храп с присвистом длинного старика в прелых нитяных носках.

## 5

Чуть серело, еще светили фонари,— с вокзала на стареньком трамвае Ергушов отправился в «Асторию». Тогда никто не нашел бы ничего удивительного, почти противоестественного в том, что некий незаметный командированный с фибровым чемоданчиком пожелал остановиться в «Астории». Надежду получить номер подали на вечер, ко времени разъезда с главными отходящими поездами. И швейцар спокойно приютил до того времени фибровый чемоданчик.

Институт Верзилина находился в одном из знаменитых пригородов. Ергушов решил поехать немедленно, суеверно избегая предварять звонком: телефон — самый верный способ нагромоздить препятствия либо вовсе отказать в свидании под любым предлогом.

Его встретил внушительный и впечатляющий, почти дворцовый ансамбль.

Назвал себя — кто, откуда, к кому.

С некоторым удивлением:

— Но академика в институте нет!

— Семьсот километров проехал — я подожду.

— И не дождетесь: сегодня его не будет. Как же вы так — не согласовав?

— А завтра?

— Академик работает над материалами. Время его расписано по минутам.

— По минутам... что? — Он запнулся. Но тут же с превосходно разыгранной «святой простотой»: — Так значит... А что, если мне обратиться прямо т у д а?

— Куда?
— Где над материалами... по минутам?
— Мы сами не знаем, где в данную минуту считает необходимым работать академик.
— Отлично,— сказал Ергушов.— Я понял. У меня три дня. Вижу единственный выход — условиться по домашнему телефону. Будьте добры...
— Странный у нас складывается разговор, — перебила секретарь, вся в строгом черном.— А в чем, собственно, дело?
Но это, как думалось Ергушову, проще простого: изложить, почему нужна встреча именно с Верзилиным и ни с кем другим, в ней весь смысл приезда издалека, с вопросами, которые непосредственно вписываются в круг работы академика, и с главным среди них — о человеческой судьбе.
— Мне все ясно,— сказала секретарь.— Вам совершенно незачем впустую тратить дорогое для вас время, и вовсе не нужен руководитель института.
Лицо эффектной брюнетки оставалось непоколебимым и не шелохнулась увенчивающая его пышная и тяжелая корона волос, где у каждого волоска было свое место и начисто исключены своеволие и беспорядок.
— У нас, к сведению нашего молодого гостя,— поднял голову, очевидно, стройный и высокий сотрудник, по-спартански, очень прямо сидящий на жестком стуле, придвинутом к столу,— у нас существует сотрудник — специалист по связи с периферией. У него мгновенно, безо всякой волокиты получите ответы на все, с чем приехали. Третий этаж, комната номер...— «Сколько ему лет?» — спросил себя Ергушов. Ничего не прочтешь по лицу, залитому здоровым, моложавым румянцем. Галстук в рябенькую крапинку цвета крыла рябчика, ослепительный накрахмаленный воротничок. Ни пылинки на всем облике.— Наш юный гость согласится,— продолжал он,— что у всякого монастыря свой устав, с которым волей-неволей приходится считаться.
Общим у него с увенчанной короной секретаршей был непривычный Ергушову четкий и точный выговор каждого слога — такая речь, верно, звучала, подумал он, в высокоинтеллектуальной атмосфере какой-нибудь старопетербургской гостиной.
— Но, быть может, — ответил он, — сам настоятель не откажется решить, чего именно в данном случае требует устав?
Бровь стерильно-моложавого сотрудника стрельнула вверх:
— А вам не приходит в голову, что не принято давать домашний телефон и тем способствовать вторжению в семейный мир человека, у которого не восьми-, а шестнадцатичасовой рабочий день?
— Как угодно,— сказал Ергушов. Он отбросил святую простоту. И вдруг почувствовал себя свободным от почтительного трепета перед величественностью окружающей обстановки.— Телефон товарища Верзилина навряд ли государственная тайна. Узнать его не составит затруднений и лишь отнимет несколько минут.
— Постойте.— Сотрудник в ослепительном воротничке уже следил за ним с неприкрытым интересом.— Логика! А что, Нелли Леонардовна, если мы в самом деле сбережем драгоценные приезжему несколько минут и предоставим лично убедиться, что он ничего не выиграет, узнав номер, в котором, разумеется, нет никакой государственной тайны? Ведь любой человек в конце концов отвечает лишь за свои усилия, а вовсе не за результат труда,— я не льщу себя надеждой, что наш настойчивый гость тотчас определит автора этого афоризма.
— Сизиф,— ответил Ергушов.

— Кто? — допрашивал женский голос. И неразборчиво назвал чье-то предположительное имя-отчество.— Нет? Так кто-кто? Откуда? Я слышу шум заводского цеха: вы от какого предприятия? — Но то был всего-навсего автомат на уличном перекрестке у Гостиного двора.— Муж, что, вам обещал? Ах, нет? По чьей же рекомендации? По чьей-чьей? От... не слышу, стоит шум. Лично от себя?! Вы представляете, как он занят? Где — это вам безразлично.— И Ергушов понял, что Верзилин дома.— Существует определенный порядок. Вас примут, выслушают.— И моложавая тень безукоризненно вежливого институтского сотрудника встала перед Ергушовым.





Но словно некая волна подняла его. Нашлись слова, сцеплялись горячие фразы. И женский голос дрогнул. Как и брюнетка в короне, как и любящий умственные забавы обладатель крыла рябчика на манишке, снабдившие его номером никому не называемого телефона. З а в т р а, понял Ергушов.
— Завтра,— сказал женский голос.— Попробуйте завтра. Только с утра: мы жаворонки. Передам о вас. О вас л и ч н о.
И голос улыбнулся.

## 6

— А, Дормидонт Пахомыч! — громогласно протрубил Владимир Иванович Курчинский, его фигура заполнила проем растворенной входной двери.
Отступил, пропуская.
— Входи! Входи же!
Похлопал по плечу, по спине, смеясь всеми точеными чертами красивого лица, не расплывшегося так, как расплылась, громадно раздалась за то время, что не виделись, вся его фигура.
— Приехал! Собрался! Наконец-то! Разоблачайся. Ну, как оно, а, рассказывай, Досифей Прокофьич?
Ничего не было неожиданного в этой бурной радости, совершенно одинаковой у обоих. И сколько бы ни прошло времени, пока не виделись, встреча была — как продолжение непрерывного общения, и оба знали, что другой не может быть.
— Как снег на голову! — воскликнул Курчинский.
— Да я вовсе не рассчитывал застать тебя. Время-то служебное. Ты должен быть в присутствии.
— Значит, наугад? И в самую точку. Я не отлыниваю, отнюдь. Но ты не в курсе. Сидеть у нас надо в шарфе и, если есть, в валенках.
— Что-то слышится родное — узнаю знакомый слог.
— Слог? Ничуть. Топить нечем. АХО прошляпило: естественно, временно. Зато если хочешь работать, наслаждайся домашним уютом. Даже поощряется — для ответственных — научных. Итак, слушай:

В коридорах морозный туман.
Будь теплее, мы были бы в бане.
Ну, а в БАНе прохладно; ИВАН
Уверяет, что мерзнет он в БАНе.

Аббревиатуры понятны?
— Как сказать...
— Проще пареной репы. БАН, ИВАН? Библиотека Академии наук, Институт востоковедения Академии наук, расположившийся — естественно, временно — в здании библиотеки.
— И что же там, так-таки никого, шаром покати?
— Почему же? — возразил Курчинский.— Рабочие планы индивидуальны.

Вот сквозь туман, объявший сушу,
На костылях влачит Салье
Свою измученную душу
И тело грешное свое.

Соль, конечно, заключалась в этом «свое», а не «своё».

Салье был известным арабистом. Человек болезненный, он том за томом впервые полно и точно, с чрезвычайной тщательностью переводил и комментировал «Тысячу и одну ночь». И это о нем говорили, что, бренным телом мучительно пребывая в глухом сумраке ленинградского ноября, он уносится душой к свежести багдадских садов Гаруна-ар-Рашида.

Володя Курчинский пояснил с важностью:

— Но вот я, к примеру, сегодня прибуду в должность лишь к половине четвертого и ни на копейку раньше. Захватив, естественно, с собой проработанные дома материалы.

И тотчас, в этом первом обмене репликами, охватила знакомая атмосфера: нигде нет ничего непоправимого. Пестрые хороводы событий достойны внимания прежде всего как лукавые и увлекательные зрелища. Словно амортизирующая аура облекла громоздкого, но быстрого в движениях, не ведающего уныния человека с легким и ловким умом. И протуберанцами выплескивалась навстречу Дмитрию.

— А это узнаешь?— кругообразно обвел комнату.

Как не узнать! Единственная в своем роде, заведомо не сходная ни с чьей иной. Исполинский стол занимал половину ее. И чтобы доказать, что он нужен, сужающиеся кверху, подобранные по формату пирамиды книг в разных концах высились на нем. Стопки папок и скоросшивателей. Остро отточенные карандаши. Пишущая машинка, пудовой тяжестью и размером более уместная в многолюдной канцелярии, со вставленным листом. И слепки антиков на полке. Удивительные, откуда-то вырезанные, совершенно фантастические иллюстрации, приткнопленные к обоям,— цветной хоровод со свисающей на длинном шнуре с потолка голой двухсотсвечевой лампочкой в центре. Слепящим солнцем ни на какую другую не похожей комнаты, заброшенной от всего неожиданного. не в меру серьезного, что может случиться в жизни!

Однако была еще дверь помимо двери в прихожую.

— Удивляешься? Да, да, а сколько мы не встречались? Жизнь не стоит на месте! — торжествующе произнес Володя.

Тогда, в последнюю встречу, он приезжал в столицу и, как заранее списались, подгадав под выходной день пятидневки, поехал к Ергушову. Жил Дмитрий в домишке-избе на перекрестке двух слободских улиц: одно окно выходило на кирпичный остов, потерявший облик церковки, за церковным двором пролегало полотно железной дороги. В ергушовском жилье выгороженный фанерной перегородкой уголок имевался кабинетом. В сенцах стоял запах отхожего места. За бревенчатой стенкой, в другой связи избы, жила хозяйка, рослая, сырая, домовитая, бывшая игуменья, мать Сергия. А с ней, едва ей по плечо, тихий, незаметный и невидимый старенький монашек Досифей. Нигде не прописанный, он скрывался, а она, моложе его, относилась к нему по-матерински. «Досифей» — это и вдохновило Курчинского еще на вариант игры с именем-отчеством Ергушова — так он стал и «Досифей Прокофьич»; условием игры было педантическое соблюдение инициалов. С учетом этого мифотворческая изобретательность Володи Курчинского казалась неистощимой. «Вот как ты живешь»,— отметил он, не проявляя ни восторгов по поводу «рустического» образа жизни, ни особой привередливости. Вскипятили чай на мешкотной керосинке «Грец», рано легли, но тотчас вновь начали разговор — на всю ночь. А утром двинулись на станцию — был выходной. Старые вагоны третьего и четвертого класса, к тому же несколько товарных сцеплялись в состав; не забылось слово «максимка», обозначавшее поезда времен голода и разрухи, с прилепившимся именем Максима Горького. Стрелки вокзальных часов давно перескочили срок отправления. Паровоз,



солидный «ФД», с храпом и присвистом выпускал пары. «Сбегаю за газетами»,— сказал Ергушов. «Постой! Куда ты, куда?» — крикнул вдогонку Курчинский. С пуком газет в руках Дмитрий вскочил на платформу — и поглядел вслед последнему вагону. Шли месяцы. Однажды, дежуря в праздник на опытной станции, он не выдержал и позвонил в Ленинград. Соединили часа через полтора. «Алло!» — ответил знакомый, словно играющий сам с собой голос, бесконечно далекий, на фоне ровного гула работы усиления в проводах — чудилось, это звук самого невообразимого пространства. «Где же ты? Я уж боялся, что с тобой, не дай бог...» «Что ты! Что ты! Чур, чур! — весело перебил красивый рокочущий баритон.— Да еще к ночи!» Так они острили, ничего не уточняя и сразу понимая друг друга, по поводу того, над чем вовсе не стоило острить, что уже лишало сна и покоя множество людей. И нельзя было, не подобало ни с кем касаться таких вещей в этаком тоне — только друг с другом, только между ними двумя; Андрей не понял бы и вряд ли допустил подобный разговор; впрочем, положительно утверждать этого нельзя — мало ли, что понимал Андрей, не роняя о том ни словечка...

— ...Так тебя беспокоит та лишняя запертая дверь? И что кроется за ней? А ведь верно, отличная память: ее не было! Жизнь не стоит на месте. Впрочем, ничего интересного: одни соседи выехали.

— Прочие на месте?

— Тверды, как адамант. Ничего. Уживаемся. Точнее — обходимся без пересечения параллельных курсов. Выбрался же инженер со всем святым семейством.

— Тот, чья фамилия...

— Именно. Отличная память. Грибняк-в-погребке.— Изобретательность Курчинского на имена собственные была неисчерпаемой! — Однако оказался великим строителем. И выбыл на одну из Великих Строек. Тогда вошли в наше положение. Вот и разместилась там Клавдия Петровна с Олегом Владимировичем. Я же сказал — ничего интересного.

Однако ни малейших следов жены и сына не удавалось обнаружить в комнате, противостоящей любому понятию уюта, с педантически организованным исполинским столом и цветным хороводом на стенах вокруг свисающего голого слепящего солнца.

— Познакомишь с женой и сыном?

— Не жди сенсаций. У юного пузыря голова — круглый шар. Глобус. Абсолютно несходен со мной. Я прошу Клавдию Петровну признаться — чей: молчит. Боится? — Костяным разрезательным ножом сделал выпад. Но тут же кинул взор на часы: — Пора!

С удивительной при его тучности легкостью подскочил к окну. Крикнул:

— Вон они!

И громко исполнил марш из «Руслана и Людмилы»:

Ту-ум туру ту-ту,
Туру-ту-ту-ту,
Тум-тарара...

Движение круглых локтей и словно зажатые пальцами две дирижерские палочки помогали руладам.

— Темпы, темпы! — нетерпеливо прерывал он музыку Глинки — как будто сквозь двойное стекло что-нибудь могут услышать там, на улице. Курчинский жил наискосок от последней квартиры Пушкина, разделяла Мойка, дом стоял с восемнадцатого века, о чем говорила доска на фасаде.

Сейчас, у окна, он походил на добродушного ручного слона, выполняющего цирковой номер. А ведь некогда был худ и тонок. Оба приехали в Москву, Дмитрий из ЦЧО, Владимир с юга. Предстояло

определить жизненный путь. Подумать об учебе, устроиться с жильем, с заработком. Еще существовала Биржа труда в Рахмановском переулке, рядом с Неглинным. Там и встретились случайно, перекинулись двумя-тремя фразами. Оба в одинаковом положении. «Мои финансы поют романсы. А ваши, видно, в унисон. Что ж! Отлично!» — кинул Владимир как о чем-то, достойном лишь смешка. И сразу потянуло их друг к другу. Биржа не помогла. Случайные заработки отыскивали вместе. Стали неразлучны. Расцвет нэпа миновал. Но еще каждый вечер появлялась на Арбатской площади женщина с лотком на ремне, уставленным пышными пирожными «наполеон» по 17 копеек. На подъеме от Цветного бульвара к Сретенским воротам пивнушка полоснет желтым светом мокрый тротуар: это стайка девчонок приоткрыла дверь навстречу чаду, гомону и лихой гармошке, перемежавшей «Ты жива еще, моя старушка?», фокстротом «Джон Грэй». Сунулись в дверь и назад. Хозяйка, простоволосая, выскочит за ними, крикнет в сырость и темень: «Девочки, куда же вы? Вернитесь, девочки!» Девушки — приманка для посетителей...

Дороги Дмитрия и Владимира почти сразу разошлись. В Москве не задержались оба. Но — редкая, возможно, даже редчайшая вещь! — связь не оборвалась. Ни полярная разность приобретенных специальностей, ни новые товарищи, ни сотни разделяющих километров, ни долгие, случалось, перерывы в переписке не могли оборвать нити. И что бы ни происходило с ними, сохранялось ощущение непрерывного общения. «Нечто огнеупорное»,— усмехался Курчинский. Нет, все-таки знал ли, догадывался ли Андрей Цветов об этом? О таком Дмитрии? («Ведь у тебя что-то или кто-то есть в Ленинграде. Так?» — только и сказал Андрей.)

Звонок в дверь, и Олежка, «Олег Владимирович», не вошел а вбежал вприпрыжку и повис на шее у отца.

— Видели, видели тебя! — сказала Клавдия Петровна.

— Силуэт в окне! — протрубил Владимир Курчинский, отфыркиваясь и с комически-тщетными усилиями пытаясь высвободиться от охвативших его ручонок, перекричать лепечущий, пронзительно что-то свое верещащий голосок.

— Уф,— четко две эти буквы выговорил он, приведя, наконец, себя в порядок.— Прости несмышленыша. Я предупреждал тебя.

Состоялось представление гостя семье.

— Клавдия Петровна, ты чем хочешь накорми сейчас бездомного, забредшего к нам, спасаясь от непогоды. А заодно, если уж выпал такой случай, не оставь и супруга, кого ты готова бросить на растерзание волчьему голоду, любуясь со стороны делом рук своих. А ты,— обратился он к Дмитрию,— не обессудь: как снег на голову. Попытайся прожевать что-нибудь неудобосъедобное, памятуя отличный совет — грызть молодыми зубами гранит науки. Интересно, какую участь автор совета стремился уготовать зубам? Завтра, имей в виду, ты обедаешь у меня. Как кончишь хлопоты. Мы тут, не в пример первопрестольной, птицы поздние.— Он добавил: — А чтобы вернее залучить тебя, обеспечу пряную приправу. Один из лучших перлов моей коллекции. Вполне под стать,— указал на полку слепков и антиков.— Пусть потеснятся. Кто понимает: это экземпляр! Для знатоков: молчи и слушай, что будет говорить. К тому же полный тезка Владимир Иванович. А профессионально — ближе к тебе.

— Сколько достоинств в одном лице! И что значит «ближе»?

— Гм. Присягнуть я бы не взялся. Собственно ни его точная специальность, равно как и национальность, расшифровке не поддается. Вне сомнения — работящ. Но бесплоден, как мул. По зернышку клюет там и тут: так занятнее для любознательного наблюдателя быстротекущих зрелищ мира.



За яичницей, приготовленной Клавдией Петровной, задумался.

— Кто тебе удружил Верзилина? Этот твой знаменитый Андрей? Я бы трижды отчурался, прежде чем толкнуться в его институт. Тебе назначено на завтра? Поздравляю: ты совершил подвиг Геркулеса. Все же не пой заранее благодарственных пэанов. Не хочу быть дурным пророком, однако предостерегу: будь готов... к чему? Вот в чем вопрос! Вообрази себе... ну что? Сосуд драгоценной выделки, доверху полный квинтэссенцией самодовления. Да, да, именно — самодовления: самый достоверный портрет академика Верзилина! Со встроенным превосходным механизмом пресечения чьих бы то ни было попыток взять под сомнение предустановленную гармонию в драгоценном сосуде. Кстати, если кто что может здесь прояснить, то это наш с тобой завтрашний сотрапезник, а мой тезка Владимир Иванович! Учти в личных интересах. Но оставим это. Припиши моей хандре. Ну, ни пуха ни пера! До завтра. «С ним», а не «на нем»!

## 7

Как быстро мерк хмурый день! Узкая полоска первого загоревшегося огня пала на слякотный тротуар, будто плеснули под ноги чем-то липким желто-красным.

Еще оставалось долго ждать до срока, назначенного в гостинице.

Перед Александринкой присел на лавочку, вытертую досуха теми, кто только что встал с нее.

Бронзовая Екатерина высилась во весь рост в колоколообразных пышных одеждах, окруженная кольцом людей своего двора и времени в прихотливых позах. Иные узнавались сразу, в других вглядывался, пытаясь угадать и запрещая себе разбирать в неверном свете поясняющие надписи.

— Приезжий?

Повернулся. Рядом девушка. Только что подсела? Он оглядел ее.

— Почему так думаете?

— Сразу заметно.

— Приезжий, местный... Не вижу, чем мы с вами различаемся. Не принимая во внимание, конечно, пола,— сказал он галантно.

Она ответила на улыбку.

— Нет, не годитесь в разведчики. Не возьмут и не возьмут. Я же следила за вами. Минутку не усидите спокойно. Разглядываете, высматриваете. Хмуритесь, морщитесь. Я еще подумала: что его привлекло, беспокоит, что нашел? Все так обыкновенно.

— Раз вы все насквозь видите... Да, приезжий.

— Командировочный?

— Точно.

— И нигде не устроились?

— Все насквозь! Но,— посмотрел на часы,— часа через полтора-два...

— А где?

— В «Астории».

— Ах, в «Астории»...— В голосе девушки, отметил он с удовольствием, прозвучали уважительные нотки. Сейчас, когда ее бровь шнурочком приподнялась, он разглядел ее глаза, очень, казалось — даже непомерно большие, но какого-то неопределимого цвета и со странной особенностью, как бы косиной, отчего, стоило ей опустить их, она начинала походить на подслеповатую. И что-то зыбкое было еще в лице ее: красива? или просто дурнушка?

— Я люблю эту гостиницу,— сказал Ергушов про «Асторию», куда обратился в первый раз. И, помолчав: — Оттуда два шага до Литовского замка.

— Литовского... что?

— Да, бывшая царская тюрьма. Развалины, руины,— наугад, но уверенно пояснил он.— Вы знаете, где это?

— Нет. И причем «литовский»? Я как раз в том районе... да там кругом и нет ничего.

Было ясно, что она никогда не слыхала про то, что так занимало Андрея. Ни о каком Литовском замке.

— А вот рядом, в «Англетере», не слышали, есть номер, в котором Есенин...

— Знаю, знаю! — обрадовалась и оживилась! С Литовским замком вышло все-таки неловко, он взял над ней верх.— Туда ходят, ходят, только не пускают. Я тоже хотела...

— А в «Астории» не бывали, не приходилось?

— Хотите, чтоб с вами? — вдруг со смешком спросила она.

Он нахмурился. Что это значит? Странная девушка, странный разговор. Не из тех ли, кто в этот слякотный вечер охотится за приезжими? Где их главное место? Не будучи ангелом, он бы сейчас все-таки презирал себя. Но как будто бы непохожа — или здесь они такие?

— Как вас зовут? — хмуро поинтересовался он.

С тем же смешком поправила выбившуюся прядь — «вороново крыло», мелькнуло у Дмитрия истасканное выражение; а в свете вспыхнувшего фонаря блеснула рыжинка.

— Вам это очень надо? Имя? Аромат.

— Ка-ак?!

— А что, не подходит? Похвасталась? А вы вглядитесь...

Странная девушка. Нелепая игра на Невском, в скверике!

Она выждала и, точно сжалившись:

— Прочтите наоборот.

«А, Тамара. Только не получается. Не сходится. В нем также сидел свой педантизм, недаром дружил с Володей Курчинским. Конечно, не сейчас изобрела, а бережно, наивно носилась с придумкой. Сотне людей сообщала точно таким же тоном. Может, и не сама дошла, а кто-то подбросил»,— жестко, неприязненно думая он и все меньше понимал, кто она, чего ищет. Его опыт с девушками был, в сущности, ничтожен.

...Та, стремительная в движениях, некрасивая, стройная, больше всего озабоченная сама собой, проводила его на поезд в Москве, посадила в вагон. Но было совершенно очевидно, что она делает это, только развлекая свою скуку (значит, не защищала от скуки и высокая самооценка). В вагоне заторопилась уходить, и он внезапно сказал:

— А что, Леокадия, вот вернусь, выходи за меня замуж.

Она удивленно, уже сделавши шаг прочь, обернулась:

— Митюшечка, да разве ты умеешь любить женщину?

— Ну давай за Андрея, замечательный парень, лучшего не найдешь.

— За Цветова?!

И даже без улыбки отмахнулась, ловко лавируя в тамбуре среди толпившихся, прощающихся, звонко чмокаясь.

В прошлом был случай, если уж вспоминать. К соседу учителю, вдовцу, высокому, худому, серьезному, говорившему на «о», приехала из Орехова-Зуева племянница — не племянница, возможно, внучатая или дочь троюродного. И не к самому учителю, а к сыну, зоотехнику, работающему где-то под Суздалем. Он также должен был подъехать, было давно семейно решено, что они поженятся,— считалась невестой. Домики-избы матери Сергии и учительский стояли забор к забору, оба точь-в-точь одинаковые, разница в том, что учитель протянул к себе электричество, горела лампочка, а мать Сергия со своим монашком и жильцом все еще зажигали керосиновые лампы. Под вечер, выйдя из калитки, чтобы пройтись на станцию, посмотреть на проходящие поезда, а потом по городку-посаду, к старым монастырским стенам, Дмитрий почти столкнулся с приезжей, с Олей — та тоже закрывала на щеколду свою, соседнюю калитку, тоже собравшись куда-то. Увидев ее, с кудерьками, прозрачно-голубыми глазами и родинкой у левого уголка рта, он непроизвольно остановился, кивнул, и она спросила: «Что вы так смотрите? У меня что-нибудь не в порядке? Он смотрел на родинку, она, тряхнув кудерьками, заглянула ему прямо в глаза. Сделали несколько шагов вместе по улице, до перекрестка и, не сговариваясь, свернули не к станции, не к монастырской площади, а через березовую рощу в поле. Что-то там было посеяно, да не убрали, все поле белело сквозь тощие стебельки ромашками. А над ромашками вились бабочки. Поле кипело белыми бабочками. Солнце, падая к горизонту, вынырнуло из-под узкого лезвия тучки, тучка оторочилась золотом, а в середке налилась крутым румянцем. Сноп лучей ударил в лицо девушки и замерцал в глубине ее бледно-голубых глаз двумя огненными мгновенными точками, прежде чем она успела отвернуть лицо. Или зажмуриться. Вот и все. Лето отцветало иван-да-марьей. Больше ничего и не было. Августовские вечера коротки, быстры, угольки заката дотлевают недолго. Возвращались в первых сумерках. Оба забыли, куда собирались, выходя из калиток. Под ногами непрерывно шевелились, отскакивали лягушки — он остерегался наступить, с радостью видя, как того же внимательно избегает Ольга. Кишение лягушек, полевых, травяных — конечно, он привычно назвал про себя Rana terrestris, с возможной примесью другого, уступающего вида — temporaria, — при полном исчезновении из местной фауны еще недавно повсюду обычной среднерусской маленькой темной живородящей ящерицы. Той, что рождена на более высокой, чем лягушки, чем все амфибии, ветви великого древа жизни! И он подумал, что Андрей непременно заговорил бы о недостаточной проясненности понятия биологического прогресса, его критериев. Спал в эту ночь плохо, молодой крепкий сон изменил ему; жадно, не зная зачем, дожидался утра. С учителем выходили, каждый на свою работу, в одно время, кивали один другому на улице, учитель церемонно приподнимал картуз. Расходились молча. На этот раз Ергушов как можно безразличнее спросил о племяннице (или кто она). «Оля? Только что улетела. С ранним поездом! Вечером пришла телеграмма, что Женя не может приехать». Женя — это зоотехник. Вот и все. Да и ясно, что назначенная свадьба так и совершится — конечно, уже свито гнездо где-нибудь под Суздалем. Только долго после вставало перед глазами — как поле курилось переменчивыми облачками белых бабочек, безустанное шевеленье, копошенье лягушек под ногами, придорожная трава с иван-да-марьей, оголенными, почти потерявшими свою весеннюю душистость плеточками белого донника, вытесняющего повсюду вдоль дорог донник желтый,— и красный сноп, падающий прямо на заалевшее лицо, точно внезапно застигнутое в своем ожидании чего-то, мерцающий в прозрачной глуби глаз...

— Что же вам так впустую сидеть? Дышать сыростью? — сказала Тамара.

— А вам?

— Я — своя. Другое дело. Сходили бы в кино, время сразу и выйдет.

— А что в кино?

— Не знаю, что вам интересно, что пропустили. Я-то все видела. Я люблю кино. Когда шли картины «Три поросенка» и «Кукарача», только и слышишь всюду, куда не зайдешь: «Я кукарача, я кукарача». А ребята вывертывали ноги, как те трое поросят, когда строили дом и танцевали. У вас тоже так?

А он не видел ни «Поросят» ни «Кукарачи», тут был ее верх. Невежда в кино!

— Не может быть! — засмеялась она.— Таких не бывает, я никогда не встречала. Надо бы заняться вашим воспитанием. Да откуда вы взялись?

— Из Москвы,— веско ответил он, беря реванш и отлично зная, какое впечатление всегда производит Москва.

— Ах, из Москвы,— в самом деле протянула она, тем же тоном, как проговорила: «Ах, в «Астории».

Только то место, где он жил и работал, вовсе не было Москвой. До нее ехать и ехать. А поезда — дальние не останавливались, проскакивали мимо, а местные тащились, отнюдь не дачные.

И суть заключалась еще в том, что свой неустроенный, со многими недостачами, домишками на незамощенной, близкой земле, закоптелыми трескающимися стеклами керосиновых ламп,— что этот «рустический», по выражению Владимира Ивановича Курчинского, быт он в те годы не променял бы ни на какой иной, хоть мало кому признался бы в этом.

Железнодорожное полотно длинной насыпью вело от слободы к станции; станция далеко впереди светилась, как только свечереет, разноцветными созвездиями огней на стрелках. Часто происходили крушения. Бегали смотреть разбитые в щепы красные, еще по-дореволюционному короткие товарные вагоны. За церковным двориком опрокинулся набок паровоз, он лежал с колесами в воздухе, разрушенной будкой машиниста. Бил струей пар, от свистящего шипенья нестерпимо звенело в ушах. Белый столб поднимался выше сосен, под ним, казалось, страшно вздыхало сраженное, с вывороченными внутренностями чудовищное существо. И трудно было сопоставить его с мощно-литыми скороходами-работягами, что с непреоборимой силой неутомимо влекли за своими плечами громадные составы.

Один такой состав, перестуком перебирая стыки рельсов, прогромыхал мимо — Ергушов, шагавший по бровке, отступил к крутому краю насыпи. Станцию проскочил, шел прямо на север. Двери в вагонах задвинуты наглухо. В таких перевозили скот. Мелькали маленькие оконца под крышами, взятые в решетку. Головы, плотно одна к другой, в несколько рядов, ряд над рядом, заполняли их. Верно, втискивались, карабкались, чтобы пробиться к окошку. Сзади, конечно, подпирали снаружи невидимые. Все, сквозь наросшую щетину, белы как мел. Хвост бесконечного состава терялся вдали, загибаясь на закруглении. И чудилось: мимо несся один вагон, наглухо закупоренный, с теми же меловыми лицами, головами без туловищ, плотно набитыми за решеткой в маленьком оконце. Оборвался перестук. Воцарилась тишь. Тут он увидел двоих стоящих рядом.

— Налюбовался? — спросил один из них. Кто такие? Все одевались одинаково. Слободские? Или подались сюда из деревни? И ясно, выпили.

— Доволен? — подбавил второй.— Перескажи жене, слышь!

— Да какая у него жена! — поправил первый.

— Ну, прости-прощевай, брат. Крепко запомни, что видел!

И пошли, покачиваясь, приобняв один другого, протяжно выкрикивая не в лад, высоким и низким голосом, рвущую душу «Мурку»:

> В темном переулке, в кожаной тужурке,
> Мурка окровавленна лежит.

Конечно, выпили, но меньше, чем показывали. Вдруг, без перехода, почти на плясовой мотив:

> Ой калйна, кàлина,
> Шесть условий Сталина,



> Четыре из них Рыкова,
> Два Петра Великого!..

На переезде свернули по Комсомольской улице.

Смена времен года здесь была важным событием.

Особенно наступление весны после долгой зимы.

Еще ровно лежал снег, но в березовой роще около стволов темнели протаявшие круги, вытянутые к югу. Стороны света становились видны сами собой, без компаса. В бездыханной тишине раздавался звук натянутой струны. И на парашютике спускался к талому кругу очнувшийся жучок.

Не пройдут — пролетят недели. Изменится все разом. Хлынет половодье жизни. Загомонит, защелкает. С гуденьем по всей насыпи будут стукаться в еще не снятую толстую одежду хрущи. В ручье со стоячими омутками послышится односложный крик огнебрюхих жерлянок, непохожий на голоса никаких других лягушек. Запушатся желтые барашки на полных сока ветках, покажется цветок мать-и-мачехи. Сойдут подснежники, анемоны-ветреницы, из-под лопушника выглянет ландыш.

Тогда особенно привязывалась строчка из песни:

> Была весна,
> цвела сирень,
> и пели пташечки, —

чудилось, что ничего полней и лучше нельзя сказать о весне...

...— Нет, правда, что сиднем сидеть. Здесь совсем рядом. И всегда есть билеты. Так и быть, я с вами. Хоть и видела.

— Верно, пора,— поднялся Ергушов.— Только не туда.

«Что же она?» — настороженно ожидал он. Поднялась. И пошла рядом! «Уличная встреча»,— все время колеблясь, не понимая девушки, сейчас он рассудил твердо. Но, еще страннее — она не обращала внимания на его отчужденность.

Сели в трамвай. Взял два билета.

Скромно ждала в сторонке, пока он разговаривал с портье, довольно эффектной дамой знойно-цыганского вида с поблескивающими серьгами в ушах — неужели брильянтиками?

— Помню, помню, не беспокойтесь. Но еще рано, торопитесь. Когда? Вот через часок.

— Я хочу есть,— подошел он к Тамаре. Он стал с ней бесцеремонен.— А вы... «Как хотите»,— чуть не прибавил.

Но она слышала не слова, а что-то другое — засмеялась, как своя со своим, опять сбивая с толку.

— Что ж, час ужина!

Взяли в глиняных горшочках чанахи — подсказала и настояла Тамара: «Я очень люблю, и вам понравится»; он никогда не слыхал про чанахи. На всех соседних столиках стояли разнообразные бутылки и непременно графинчики.

— Да, и графинчик,— заказал официанту.— Только лимонной! — прибавил, чтобы отличалось от того, что на всех столиках.

— Если и мне, то не надо,— остановила Тамара.— Ну, пусть пиво.

— Вам один раз чанахи? — не столько спросил, сколько решил официант, осмотрев их.— Горшочка хватит на двоих.

— Конечно, один,— кивнула Тамара.

— Два! — перебил Ергушов.— Пиво и лимонной.

Подавали медленно. Чанахи где-то по дороге остыли. Но с первой же ложкой он понял, как голоден. Девушка ела с удовольствием. Пришлось подождать и счета — он был рад, что отдаляется момент, который должен был все распутать.

— Посмотрим, какой номер вам дали,— пробормотала Тамара.

Лифт поднял их вместе с вырученным у швейцара фибровым чемоданчиком.

Только в номере сняла, скинула шапочку. Упали черные пряди, обрамив, преобразив лицо с его скулами, огромными глазами, в которых больше он не видел косины. Не находил и ту рыжину в «вороновом крыле», какая блеснула под первым фонарем в сквере у Александринки. Лимонная ударила ему в голову — он пил мало, редко. Тем более сейчас он ничего не понимал, но это утратило всякое значение. Деньги? Да, конечно, уличная встреча, но пусть, пусть...

Он обнял, неловко обхватил, с такой силой прижал к себе девушку, что показалось: что-то хрустнуло в ней. Шарил губами по ее лицу, чтобы закрыть темный, чуть приоткрытый рот на этом лице.

Вдруг ощутил дрожь всего ее тела.

— Погоди, бешеный...

Вырвалась. Что-то, точно священнодействуя, там и сям вынула из волос, шпильки-заколки, кинула на тумбочку, на пол — слитной, затопляющей массой, высвободившись, вырвались волосы (как только они умещались, прятались под шапочкой?).

— Дверь, ты слышишь, дверь, поверни ключ! И свет, свет...

Что, какие-то телесные дефекты? Пусть. Ничто больше не имело значения.

Да он вовсе не знал себя! Разве возможно так, до такой степени, ничего не знать, до смешного не подозревать о себе!

...— Ты не представляешь, какой ты красивый!

Сколько прошло времени? Когда зажгли свет, лампочку на тумбочке? Не было никаких телесных дефектов. Лишь худощавость. Острые линии, уже не скрадываемые одеждой «Змеиная природа» — откуда-то выскочило словцо.

...Снова и снова шло, летело время. Он был словно не он. Чужая, посторонняя сила мяла, бросала его — он был былинкой перед ней.

— Нельзя. Нельзя же так. Меня не жалеешь — себя пожалей...

Какой просящий голос!

Не противилась, а казалась бездыханной.

Это в самом деле он, Дмитрий Ергушов? Дмитрий Павлович Ергушов?

— Мне пора. Милый, пора. Что будет, что только будет, если сейчас не вернусь!..

— Одну минуту. Я провожу тебя.

— Не надо. Я хочу сейчас одна. И не вставай, тебе главное — выспаться, у тебя же завтра... Ты не представляешь, который теперь час!

И несколько раз:

— Мы еще встретимся? Ты долго пробудешь?

— ...Так скоро! Я не думала...

— Я напишу тебе. Потом.

— Напишешь?..

Значит, все. Свободен. Опустошен. Но ему было спокойно. Разве она ему нравилась? Хоть сколько-нибудь? И что это было? Теперь все равно, поздно и незачем думать. Завтра совершится главное, ради чего приехал. Единственно важное. Собраться, сжать в комок что только в нем есть.

Откинул занавески у окна. Но стоял особенный гостиничный запах. Усугубленный остывшим табачным дымом — не замечая, он много курил. С чем-то приторным, кисловатым, слегка тошнотным. Распахнул двойную створку цельного стекла. И широко влилась, заполняя комнату, охватив разгоряченное тело, проникая во все альвеолы легких, мглистая сырость глубокой чаши ночной, пустой площади.



На противоположной стороне ее, над грузной махиной старого германского посольства, развевался флаг. Откуда-то подсвеченный, красный, с белым кружком посередке, по которому пласталась четырьмя изломанными конечностями черная свастика, он полоскался в хмуром беззвездном небе...



## 8

Вторую ночь мало что осталось для сна. И точно пружина подбросила Ергушова. Уже брезжит. Утро. А там — «ранние птицы». Жаворонки — чтобы сразу за работу. Аврора — подруга муз. Босиком, торопливо прошлепал к телефону. Еще по старинке отзывались телефонистки: «группы А» или «группы Б», в зависимости от номера.

— Не отвечает.

— Еще раз, пожалуйста.

Опоздал?! Он представил себе резкий, долгий звонок в гулкой, просторной квартире, наверно, вроде тех, что затевали строить на Васильевском еще при Петре для выписанных иноземных столпов рождающейся Академии.

Дом и стоял на Васильевском, бог весть с каких пор, за мостом Лейтенанта Шмидта, который старики все еще звали Николаевским. Стены испещрены памятными досками. Имена, годы рождения — тире — годы смерти. Академик Петров, физик, электротехник, полжизни прожил при Екатерине. Остроградский, Якоби, Чебышев, Ляпунов... Здесь жил Иван Павлов, «глава физиологов мира»: доски касаются и живых. Год рождения — тире —...Как им живется в доме при тире, неустанно ждущем заполнения оставленного пробела?

Трубка наконец взята, скорее — схвачена.

— Да? Алё! — нетерпеливый женский голос.

Тот самый.

Он назвал себя.

— Кто-о? — с растяжкой.

Ощутил точно укол. Не так уж прочно запечатлелась его фамилия. Кровь прилила к щекам.

Однако напомнил. И чтобы не по-казенному — и о ранних птичках, о жаворонках.

— Что? Ничего подобного я не говорила. Неважно. Да, утром. Но дайте человеку проглотить глоток чаю. Когда? Часа через полтора. Не раньше. Нет,— строго подчеркнула,— и не позже. Не позже!

Положил перед собой часы.

Позвонил минута в минуту.

Коротко:

— Сейчас.

Трубка прижата к уху. В ней мерный ровный фон.

Голос словно с непомерной высоты:

— Вы что, товарищи?

Что, собственно, было в этой фразе такого, что кровь иголочками заколола щеки,— опешил, онемел. Он был один. Женский голос обещал передать о нем одном. Скосил глаза, выискивая притаившихся, возможно, под мебелью и где-либо еще других товарищей. Но с той высоты, откуда прозвучали три слова и весь последующий, вытекающий из них краткий разговор, вернее всего было трудно различить, один он просит внимания и встречи или сразу несколько, сплетясь.

## 9

— Владимир Иванович Орленевич! — провозгласил Владимир Иванович Курчинский, округлым жестом полной руки как бы охватывая его всего, чтобы пересадить на подобающе торжественное место за

необъятным столом под двухсотсвечевым солнцем. Орленевич сел, короткие ноги при этом скрылись, массивный же торс над столешницей тотчас преобразил его в атлета-великана. Выслушал представление и последующий краткий рассказ о Ергушове, цели его приезда и что из этого вышло (Володя Курчинский сдержал слово), с рассеянно брюзгливым видом — толчение воды в ступе. Не дослушав, прервал:

— Почти дворцовый ансамбль? Для наших институтов это не в диковинку. И брюнетка в строго-черном, увенчанная короной? Нелли Леонардовна, так? Заманчивая дамочка. А шкаф там стоял?

— Справа от ее стола,— угрюмо сказал Ергушов. Какое ему дело до шкафа, заманчивости секретарши, черной от короны до туфелек, и всех дворцовых ансамблей? Он жалел, что упомянул об этом из педантической привычки к обстоятельности и чтобы чего-либо не упустить.

— Не справа, а слева,— поправил Орленевич. Грузным, как торс, было и его лицо, ширясь скорее к тяжеловесной и вытянутой нижней части.

— Пусть слева, я не помню.

— Напрасно. Шкаф со стеклянными дверцами.— Теперь он обращался к Курчинскому, слушающему явно восторженно, кидая взоры на Ергушова — «я же тебе говорил!».— А за стеклом — или тоже не обратили внимания? Следует все замечать! — за стеклом выстроились корешки шести большого формата томов. Почти в рост первого шекспировского in folio. «Курс физики» Хвольсона. Берлинское издание. Штука в том, что никому этот «Курс» оказался не нужен.— Теперь Орленевич рассказывал только для Курчинского, не отвлекаясь никакими посторонними замечаниями, которые, возможно, пожелал бы сделать Ергушов.— Вот и выставили его из библиотеки к Нелли Леонардовне — в виде внушительной и яркой витрины. Но суть в том, что шкаф заперт на два оборота — там все делается на совесть, порядок есть порядок. А ключ потерян. И никто не прилагает ни малейших стараний разыскать его либо заказать другой. Не берусь угадывать, какую бурю размышлений вызвала бы в голове старика Хвольсона подобная судьба дела его жизни, если бы ему привелось переступить этот порог. Еще и еще бы раз вспомнился ему ответ, каким почтил академическую ассамблею, когда был удостоен звания почетного академика: «Хотя между почетным академиком и академиком такая же разница, как между милостивым государем и государем, покорно благодарю вас».

Орленевич умолк. Так явилась возможность для Ергушова вернуться к собственным, а не хвольсоновским перипетиям сегодняшнего дня. Володя взглядывал подбадривающе — кураж и выдержка! Воспоследует искомый приговор всезнающего сотрапезника.

Он воспоследовал:

— От двух бортов в угол.

И после нескольких мгновений нового молчания Орленевич вымолвил:

— Итак, Верзилин. Верзилин. А не следовало ли сообразить, кто он и кто этот ваш... из-за кого вы... Порядок есть порядок. Он совершенно прав, указавший на эту простую истину. Не следует стремиться прыгнуть выше — вы сами знаете чего.

Навряд ли он поинтересовался, вышла ли из комнаты в данную минуту Клавдия Петровна или сидит где-то тут же за столом. Очевидно, это было начисто безразлично. Он говорил, каждым словом точно приколачивая собеседника... к чему? И одновременно изобличая — в чем? Дмитрию Ергушову никогда не доводилось слышать такого рода речи. Но удивительнее всего — как же наслаждался ею Володя Курчинский! Веселился и наслаждался — чем?

Звук будто исторгался из особенно широкой, бездонной голосовой щели.





Слова камнями рушились на собеседников.

Однако не было никакого собеседования. Было нечто, чем правил Орленевич; подхватив вожжи, больше их не выпускал.

И росло впечатление, что не он в гостях, а просто считанных людей допустил к себе.

И одновременно нарастало, зрело у слушающих неясное, но все более настойчивое чувство вины. Личной вины у каждого — перед кем?

Больше и помину не было о том, с чем пришел Ергушов, чего ждал — вольно ему было ждать! Обещал Курчинский? Если разобраться, что обещал? Да и обещал ли вообще, либо совсем иное двигало им, когда сводил этих двоих — Ергушова с Орленевичем? И то, ради чего сводил, то сполна и получил!

Впрочем, что-то из ергушовских признаний, осколочки, блестки, упоминания — дернуло же его об Андрее! — что-то все-таки запало, застряло. И перемалывалось застольной машиной.

— Да, вот вы,— и Орленевич указующим перстом пригвоздил к месту Дмитрия.— Насчет подобных, любезных вам любителей потрясать своими великими открытиями.— И жирно поставил точку. Многоточия для него не существовали. Сказанное должно прорасти в умах.— Хочу поделиться, Владимир Иванович, местной назидательной историйкой. Не имеет значения, что ваша специальность в стороне от нее. Штука в том, что один из последователей Серебровского — не того, московского, генетика из МГУ, а здешнего, зоолога,— соблазнился руководящим его мнением, что, мол, еще не известно, бабушка надвое сказала, не нарастает ли в роду кузнецов из поколения в поколение врожденная мощность бицепсов, ничтожно мало, мол, фактов, большинство детей, внуков, правнуков калачом не заманишь взяться за отцовскую кувалду.— какая там чистота опыта! Вот и решил энтузиаст-последователь порадовать наставника этой самой чистотой. Кто? Анналы человечества не обременят себя этим именем. Хотите — Фазанов, в честь декоративной птицы? Устроит?

— Но ведь,— Ергушов сам не понял, как и почему заговорил,— уже были ведь мыши Вейсмана с отрубленными хвостами. Девятнадцать поколений! Во всех учебниках. И — ничего, ноль, ни на миллиметр не укоротились хвосты.

— Молодец,— одобрил Орленевич,— штудировал учебники. Девятнадцать? Но про кого говорю — задумал переплюнуть. Не мыши, а белые крысы. И отнюдь не рубить у взрослых, но воздействовать на той эмбриональной стадии, когда в скелетогенной мезенхиме закладываются хвостовые позвонки,— вы понимаете, Владимир Иванович? Осенило! С чем и собрался в поход. Но с ним, как и с тем Мальбруком, кто, помните, тоже собрался на рать, а кончил тем, что... (Где была в этот момент Клавдия Петровна?). Кстати, сколько положено шейных позвонков человеку?

— Семь.

— А киту, у которого нет шеи?

— Семь.

— Жирафу с шеей под крону баобаба?

— Семь.

— И крысе, белой лабораторной, хвостовых позвонков?

С покорностью экзаменуемого, дивясь сам себе, Ергушов ответил, чуть поколебавшись:

— От двадцати семи до тридцати?..

— Не собьешь. Что там у вас стояло в зачетке? Что? Мало! — снисходительно оценил Орленевич. Неизвестно, знал ли сам, о чем спрашивал, или попутно выяснял для себя.— Штука в том, что с хвостовыми позвонками, как видите, разброс: от — до. В один печальный для себя день наш Фазан вставляет, наконец, предметное стеклышко с препаратом в микроскоп и широко растворяет двери, пожалуйста!

По ковровой дорожке на лестнице потянулись гистологи, сравнительные анатомы, франты и до смешного безразличные к тому, во что облачено их бренное тело. Женолюбцы и аскеты. И как тараном прошибив, рассекши, раскроив их строй, расшвыривая мелюзгу, величественно подымается наш друг Верзилин. По собственному почину либо, как я склоняюсь думать, ему это посоветовали, но так, чтоб вышло, будто он нагрянул сам по себе. Честь и место! Надобно видеть эту фигуру, иначе не составишь себе о нем никакого представления, что и произошло с вами, молодой коллега. Первым вступает в абсолютно пустую храмину, в геометрическом центре которой утвержден микроскоп, а рядом, на штативе клочок с каракулями — исходное у доопытного экземпляра число хвостовых и финальное, итоговое. Тут, ко всему, такая штука — читать, Владимир Иванович, эмбриологические препараты не просто, без сноровки углядишь ведьму на помеле, рыбу с раком. На несколько секунд склоняется над окуляром, дольше ему нет нужды. И самым нижним регистром мощного голоса: «В пределах разброса. Н е в и ж у». Повернулся и был таков. От двух бортов в угол. Тут поодиночке стали прикладываться и прочие, выжидавшие в почтительном отдалении. «Не вижу». «Не вижу». «Не вижу!» Глянули, а где стоял Фазан, то бишь Фазанов,— Мальбрук, собравшийся в поход, но угодивший в ретирадное место,— голо, пусто, след простыл. Только что красовался — аннигилировался. Ассистентка, брошенная на съедание, лепечет: жестокий приступ зубной боли. Плохие зубы. Мне кажется, что и у вас, коллега, не все в порядке с ротовой полостью, не советую пренебрегать зубными врачами.

И ведь в самом деле был у Ергушова кариозный зуб! Никому не говорил, не жаловался. Вспыхивающую боль терпел. Надо обязательно к дантисту! Вот соберусь, съезжу... Неужели же обладал истинным даром, орлиной зоркостью Орленевич — безошибочно различить наиболее потаенное, неприятное человеку и ковырнуть, как дантист бормашиной?!

Что бы сказал Андрей по поводу всего, слышанного сегодня?

Возникло молчание.

— Тогда вот я,— нарушил его Курчинский.— Конечно, после вашего многокрасочного рассказа... Но дело в том, что и я внес небольшой вкладец в разбираемую проблему. Призадумался еще вчера, побеседовав с Дементием Патрикеичем... прошу простить, Дмитрий Павлович. Присел и сочинил сочиненьице о некоем герое, охочем до переворотов в системе знаний. И желал бы, с разрешения окружающих, огласить.

Он выдержал паузу, наблюдая смущение и даже испуг на лицах. Сам Орленевич захвачен врасплох.

На столе после обеда осталась полупустая бутылка наливки. Курчинский плеснул из нее себе в чайный стакан. Но не притронулся. Выдвинул ящик, достал и надел очки, отчего красивое лицо его вдруг стало незнакомым. Затем вытащил тяжелый гроссбух, положил перед собой, открыл, выровнял, звучно прочистил горло и приготовился читать по-писаному.

— Итак. Внимание! «Он занялся наукой и так как больше не был способен ни к чему, то скоро совершил великое открытие».

Пауза. Тишина. Мертвая тишина. Общее ожидание. Больше не последовало ничего. Поднял лицо, снял очки (которые, как выяснилось, вовсе были ему ни к чему), торжествующе огляделся. Клавдия Петровна вполголоса хихикнула, радуясь разрешенной неловкости.

— Краткость — сестра таланта,— веско пророкотал Курчинский.— Без ложной скромности: не в бровь, а в глаз. Все, что нужно, и ничего лишнего. Пусть пеняет на себя, кто вздумает подставить какое-либо знакомое и, тем хуже, любимое лицо. Жаль, что не вижу возможности



публикации — хотя бы в связи с конкурсом кратчайших рассказов. Восемнадцать словарных единиц! Кто меньше?

И с треском захлопнул гроссбух, в котором, возможно, вообще не было ничего написано.

— Узнаю коней ретивых,— воскликнул Орленевич, вновь на коне.— От двух бортов в угол!

Он не посчитал нужным варьировать однажды придуманное и, как ему казалось, сокрушительное присловье.



## 10

— Так вот он, новый экспонат твоей коллекции! Это его ты прочишь на полку с антиками? А тебе не приходит в голову, что вместо того, чтобы помочь мне, ты попросту подставил этому твоему тезке мою шею? Чтобы удобней ему взбираться на полку!

— Что ты, что ты. Окстись, друг. Обещал раритет — ты мог им насладиться в полной мере. О, Тьямот, финикийская богиня страха и ужаса! Где твое чувство юмора? Разве не расширился твой круг познания разновидностей человеческой природы?

— Ой, гляди, как бы эта разновидность не перескочила с моей шеи и к тебе на закорки. Ей раз плюнуть, неужели не видишь?

— Что ты, что ты,— опять пробормотал Володя Курчинский те же похожие на заклинания слова, каким однажды уже отчурался по междугородному телефону.— Я скажу тебе — о т н ю д ь  и  д а ж е  н а п р о т и в: бодливой корове бог рог не дает. А притом кой в чем он ведь и прав, не станешь отрицать. И с Верзилиным, и с этим твоим... с Андреем, я не путаю? (Он отлично знал про Андрея, Андрей не знал про него.) Вот и в рассказанной историйке с позвонками — не спорь, сопоставь — есть материал для размышления. Поэтому я и взял на себя смелость, как ты понял, конечно, предостеречь, прочитать тебе в назидание...

И Дмитрий Павлович Ергушов едва ли не впервые спросил себя: да знает ли он Владимира Ивановича Курчинского, подлинные его мысли? Переливчатая чешуя игры — н е  б е р я  н и ч е г о  в с е р ь е з,— не была ли она лишь зыбкой, непрочной, неверной защитной оболочкой?.. И сколько бродит по свету бодливых рогатых коров, не увернешься от встречи с ними!

Последний день.

Что-то сдвинулось в Ергушове. Прежде ему неведомое прорастало в нем.

Андрей Цветов, ни в чем не фальшивящий, не умеющий фальшивить, кто был как брат... То, что случилось, начавшись в скверике у Александринки, в чем он ошибался с начала до конца...

Вещи, люди, события смещались, менялись в сути своей.

Окно, распахнутое на сырую пустоту ночной Исаакиевской площади. Телефон в доме за мостом, где для живых значится на доске год рождения, тире, пробел, жадно ждущий заполнения. Любитель интеллектуальных игр, над кем невластен возраст, в галстуке цвета крыла рябчика, и очень вежливый, готовый к услугам человечек «по связи» в том же институте, на третьем этаже,— и чем разговорчивее и хлопотливей, тем очевиднее, что ровно ничего из «связи» не выйдет и даже не замышлено, чтобы вышло. Литовский замок — вот и опять не добрался до него. Орленевич...

Он не умел — но знал, что должен связать все это. И многое другое, что вдруг встало перед ним и стучалось в сознание.

Одно с другим — воедино...

## 11

Леокадия забежала, как только вернулся, сразу после своей службы. Не так уж были заняты ее вечера, как бы ей хотелось, ничего лучшего не светило, надо полагать, и в этот вечер. И все вошло с обеих сторон в накатанную колею установившихся отношений. Чмокнула «в щечку», с беглой улыбкой, пресекающей мысль, что за этим что-нибудь может крыться или последовать. Легкая, слегка ироническая болтовня, будто и расспросы, и рассказы, а в общем-то ни о чем. Припомнить и пересказать разговор было бы нелегко, хотя фразы своей быстрой речи она строила гладко, закругленно и чистенько сплетала их. А Ергушов, ронявший в ответ лишь по нескольку слов, думал как непросто было бы любой стенографистке угнаться за этой речью, и что повидать Андрюшу Цветова этим вечером ему, хоть уговаривались на работе, ясное дело, не удастся.

Встала, прошлась, вглядываясь в мутную темень маленького окошка. Промурлыкала (хотя трудней всего было вообразить ее певуньей):

Ах, шарабан мой,
Америка,
А я девчонка... —

и, прервав, повернулась прямо к нему:

— Что-то с тобой произошло.

— Со мной?

— Ты стал другой. Совсем-совсем другой. Я не узнаю тебя.

Она остановила на нем большие темные глаза, которые казались еще темней от близоруко расширенных зрачков. С внезапным интересом как бы ощупывала его лицо.

— Что?— спросила она не столько его, сколько самое себя.— Что же?

И тень какой-то новой улыбки скользнула около уголков тонких ее губ.

Всерьез ли рассчитывал Андрей Цветов, что Верзилин молча, сосредоточенно прочитает всю переданную ему пачку публикаций, затем, содержа их перед собой, откинется в кресле и, окутавшись облаком табачного дыма, примется вспоминать, как и прежде всегда отличал их, встречая в специальной печати? А следом — как по пловучей ледяной горке можно угадать подводную громаду айсберга, как Кювье по одной косточке брался восстановить весь облик миллионы лет назад вымершего гиганта,— следом представит себе и то, главное, чего нет в публикациях, на что только намекают и что обещают они. А представив, поймет и некоторую возможную разбросанность мысли, не придаст значения невольным колебаниям в слепом полете, простит и спор (быть может, широко мысля, где-нибудь и уступит в нем),— и пригласит в свой институт для выполнения обещаний, для совместного с коллективом, в общую копилку, умножения того, на что способен! Для настоящей работы — в свой знаменитый институт!

Рассчитывал ли ребячески на что-либо подобное? Никогда после не спрашивал Ергушов его об этом...

Несколько раз девушка-почтальон подавала из сумки письма с ленинградским штемпелем. Крупный, разгонисто-торопливый, не щадящий почтовой бумаги почерк, обильные многоточия. Без грамматических ошибок.





«Ты не отвечаешь. Почему ты молчишь? Почему ты молчишь?..»

«Две твоих записочки, написанные каждая в две минуты... Два клочка бумаги от тебя!»

«Каждое мгновение того дня и вечера огнем выжжено в душе моей... Долго ли еще так будет? Когда освобожусь? Скажи, когда освободишь меня?»

«Помнишь чанахи?»

«Иногда раздается прямо над ухом голос: «Он приехал. Не знаешь? Он в Ленинграде. Он не хочет видеть тебя». И тогда как сумасшедшая звоню во все гостиницы, особенно в «Асторию», и еще в общежития на Старом Невском и на Халтурина. И не верю, и говорю: — «Вы обманываете меня». И если женщина, то бросает трубку, а если мужчина или молодой человек, то отвечает: «Что вы волнуетесь и переживаете, девушка. Наверное, вот-вот приедет». А один, как раз из «Астории», изменил голос на услужливо слащавый и прибавил: «Оставьте, пожалуйста, ваш телефон». Бросила трубку я...»

«Неужели ты, правда, не хочешь меня видеть? Отчего, отчего ты не приезжаешь?..»

Это были листы и листы почтовой бумаги.

«Ты думаешь, я не поняла, за кого ты меня принял? Все время следила за тобой и усмехалась про себя — ты был такой смешной. И ничего, ничего не замечал! Если хочешь знать, этим и подкупил — неужели иначе пошла бы с тобой? И не пошла, сама повела — такой смешной!.. Сначала просто чтоб посмеяться, поиграть с тобой... так мало всего у меня в жизни!.. Милый наивный мальчик — ничего не видел, ничего не понимаешь, ничего не умеешь, ничего не смеешь. Как же тебе быть одному?»

— Дай мне ее адрес,— однажды сказала Леокадия — при ней принесли письмо.

Долго ли еще проработал Андрей на опытной станции? Пигусов перестал его замечать. Мертвая вода смыкалась вокруг кольцом.

Он исчез в глухой час ночи, со злыми порывами предвесеннего бесснежного шквала, сплошным шумом голых вершин над крышами, и ни живой души на темных немощеных улицах; на копейку раньше утром проснешься — и светлей станет день.

Обыск не затянулся, не с чем тянуть в комнатке с когда-то крашеным, давно истоптанным полом, одной скрипучей половицей, скудным набором вещей. Но до последнего листка было изъято все писанное — тетради, лоскутки, наброски задумок, малопонятные и тем более подозрительные для постороннего глаза ребусы... Письма. Столбцы цифр. Расчеты по вариационной статистике, «ряды», спорящие с верзилинскими. Не осталось ни следа упорной, неусыпной, забирающей во власть себе всего человека работы мозга, что-то уже решившего, к чему-то идущего осторожной ощупью, спешащего закрепить вдруг мелькнувшее озарение, при котором лишь резче виднеется новый, предстоящий поворот дороги.

Развеялось в свежем предвесеннем, шапки срывающем ветре, то, о чем говорилось с Дмитрием Ергушовым,— острое и мудрое, наивное и детское. То, что условно обозначал «камчатский феномен». Крыло меганейры...

Андрей Цветов, кто был как брат.

Шел тридцать седьмой год.

Никого больше на опытной станции не побеспокоили, никем не заинтересовались. Проще сказать — прочими пренебрегли.

Теперь Ергушову жить одному. Но знал, что лишь до поры, пока девушка Леокадия, высоко ценящая себя, а о нем переменившая мне-

ние, не определит окончательно и бесповоротно, что именно ему стать ее мужем.

Пигусов приотворил дверь своего кабинета и, придерживая ее рукой как бы для того, чтобы не дать проникнуть в кабинет кому-нибудь незваному, окликнул, форсируя голос, словно пересиливая нетерпеливый шум переполненной аудитории:

— Ергушов! Зайдите ко мне. Да, сейчас, сию минуту!

И пропустив того единственного, кому надлежало войти, плотно притворил за собой дверь — она со всасывающим звуком влипла в коробку.

— Мы начинаем работать совершенно по-новому. Рубеж! Понятно? За борт старый хлам. «Происхождение видов» уже написано. Другого нам не нужно. Необходимые коррективы вносятся без нас. Грубая ошибка, что терпели так долго то, что происходило в вашей лаборатории. Наш путь прям и ясен. Нам верят. От нас ждут. Запомни: я отстоял тебя. Судить стану по твоей работе. Засучить рукава, скинуть вериги, расчистить авгиевы конюшни! План обсудишь со мной. Руководить буду лично. Пока все. Ступайте — и за дело, Дмитрий Павлович!

Голос возглавлявшего станцию тихого заслуженного старичка-селекционера перестал быть слышен. Говорили — его кабинет займет Пигусов.

А в семистах километрах держал очередную речь, либо уже произнес, либо сделает это в недалеком будущем Владимир Иванович Орленевич. С теми же тяжелыми глыбами слов. Отправляя — «вот такая штука» — от двух бортов в угол в корне уничтоженных слушателей. Только этот угол, естественно, перекочевал на прямо противоположную сторону бильярдного стола. Равно и примеры, ловко подстроенные, отныне будут снабжены обратным знаком — по сравнению с тем, каким была оперена занятная историйка, поведанная под двухсотсвечевой лампочкой в не похожей ни на какую иную комнате Володи Курчинского.

Стремительно сжималось малое время, еще оставшееся до 22 июня 1941 года.





# ПОЭЗИЯ

## НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО



## ИДУ К ТЕБЕ

* * *

Все болит золотая твоя голова,
все болит и болит.
Ты печаль мне и радость,
и гордость, Москва.

То рубин, то гранит.
Сколько раз, безъязыкая,
плакала ты

в храмах, стертых с земли.
И стирала с небес золотые кресты,
слыша хохот вдали.

Белокаменною ты себя назвала.
Белый камень раним.
Беспощадны убитые колокола,
что звонят по живым.

И не верил никто, что взойдут
имена
в полной темени лет.
Сквозь асфальт и бетон проросли
времена,

как лазоревый свет.

Потому мне наряды твои хороши,
от заплат до корон.
Потому я приду к тебе,
только скажи,

с четырех из сторон.
Потому мне встречаются бард
и княжна,

и дурак городской.
И сама Натали, но давно не жена,
и Димитрий, еще не Донской.

+++

* * *

В городе этом, с рекой и обрывами
по заповедным местам,
все мне казалось,
что только красивые

люди встречаются нам.
Церковь ли выглянет,
ветка ли спрячется,
а волноваться изволь.

В центре России смеется и
плачется

как-то свободнее, что ль.

В центре России дороги не хожены,
да не пусты кабаки.
В центре России деревни
заброшены,

а города велики.
Вот почему я люблю незаметные,
вышедшие на поклон,
улочки с этими окнами светлыми,
с ликами русских икон.

В центре России,
почти уничтоженном,
на роковом рубеже
столько за родину
жизней положено.
Разве не хватит уже?
Сердце колотится,
как сумасшедшее,
от сквозняков и потерь.
Кто мы, сюда на минуту зашедшие,
словно родные теперь?

Кто мы, сквозь тысячу лет
сохраненные
до заповедного дня,
и почему небеса озаренные
смотрят в упор на меня?
И почему ты берешь меня под руку,
а говоришь не со мной?
И почему ты молчишь со мной
подолгу
в центре России самой?

* * *

А пальцы все помнят
июльское поле
и ночь на Ивана Купалу.
Донская земля, вековое раздолье,
река, что при нас засыпала.
Горячие звезды, холодные травы,
степные казацкие хаты...
И так далеко до тоски и до славы
и мы трое суток женаты.

Мне до смерти будет, наверное,
сниться,
что кони проносятся мимо.
И синие очи, как синие птицы,
волнуют непреодолимо.
А где-то в садах,
сотрясая планету,
как маму капризные детки,
тяжелые яблоки падают с веток.
И кролики прячутся в клетки.

Наследникам нашим: и сыну,
и дочке —
достались славянские крови.
И мы им подарим июльскую ночку,
хмельную от нашей любви.
И мы им расскажем, как выпала
роскошь
им в нашем родиться объятье...
Родная Москва,
безымянная Россошь
и Вычегды белое платье.

* * *

О хмурый город, о чужие страны!
Разлуки телеграфные столбы.
Да здравствуют болота и туманы!
Да здравствуют лягушки и грибы!
Иди ко мне, продрогшая дворняга,
привыкшая к побоям и громам.
Не надо нам развенчанного флага,
прилипшего к отеческим гробам.
Не надо нам дарованного права
прислуживать стране, а не служить.
Давай уйдем в некошеные травы:
за них не жаль и голову сложить.
За эту землю, вздыбленную веком,
за этот угол, где отец и мать,
не страшно оставаться человеком
и человечье сердце надорвать.

* * *

Земля моя!
Я звездный твой звереныш.
Зачем давала млечные сосцы?!
Зачем качала на холмах зеленых?!
Зачем пьянила запахом сосны?!
Звезда моя!
Я твой земной глашатай.
Зачем учила таинству Луны?!
Медведице ль забыть о медвежатах
и видеть заколдованные сны?!

И как мне быть теперь,
и что мне делать,
каким бездонным верить голосам?!
То белым боком тянет
к ночи белой,
то синим оком к звездным небесам.



ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

# БАРБАРОССА

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ

## 8. КАРЬЕРЫ

Максим Алексеевич Пуркаев был еще сравнительно молод, революция застала его в чине прапорщика, крестьянский сын, он теперь выглядел природным интеллигентом, а пенсне как бы подчеркивало строгость его внешнего облика...

Немцы встретили военного атташе очень приветливо. Они приготовили для него в Берлине богато обставленную квартиру, в которой его уже поджидала прислуга — немка по имени Марта, женщина почти вызывающей красоты. Пуркаев просыпался, а Марта уже была на пороге спальни — с подносом, поверх которого дымилась чашка крепкого кофе, благоухали ароматные булочки.

Гитлер в аудиенции с атташе был крайне любезен.

Пуркаев не раз выезжал на маневры вермахта, от него, казалось, ничего не скрывают, и — верно! — он побывал даже в Цоссене, где секретно размещался «мозг» всей армии Гитлера. Гальдер тоже принимал Пуркаева у себя, держался очень просто, почти дружелюбно. Но, далекий от дипломатии, Максим Алексеевич не распознал один тонкий намек Гальдера.

— Почему вы, — сказал Гальдер, — и при вашем уме, потенциальный начальник штаба фронта, занимаете всего лишь скромный пост военного атташе? Может, у вас недоброжелатели в Москве? Такое бывает с людьми талантливыми...

Чтобы не быть глухим и немым в общении с генеральштеблерами, Пуркаев обзавелся учительницей немецкого языка, старательно, как школяр, зубрил всякие там «плюсквамперфекты».

В один из дней на его квартире зазвонил телефон:

— Вас, господин Пуркаев, беспокоят из Цоссена, не могли бы вы уделить время для визита нашего офицера?

Явился некто и с первых же слов предложил Пуркаеву работать на разведку абвера, причем немцы не крохоборствовали, обещая создать для атташе сладкую жизнь:

— Включая в меню и... Марту! Вы же не станете отрицать, что такие женщины на панелях не валяются. В случае же отказа мы всегда сумеем подобрать досье, порочащее вас, и тогда расправа Сталина будет короткой. Не забывайте, что ваша семья осталась в Москве.

Пуркаев встал, чтобы вышвырнуть гостя из квартиры, но тот веером раскрыл на столе серию фотографий:

Продолжение. Начало в № 2 за 1991 год.

— Это вы, а это... Марта! Станете рыпаться, и через два дня эти фотографии окажутся у вашего генерала Филиппа Голикова, что возглавляет всю вашу разведку Генштаба.

Пуркаев этих фотографий не отдал:

— Пошел вон! Мое дело. Сам влип. Сам выпутаюсь...

Максим Алексеевич сознавал, что его ожидает, и все-таки, пересилив себя, продуманно вышел на связь с Генштабом:

— Срочно отзывайте меня, — сказал он Голикову.

Вечерний самолет «Люфтганзы» подхватил атташе и понес в Москву — на расправу. В Генштабе он сказал:

— Вы знаете, как я отбрыкивался от назначения в Берлин, а теперь смотрите, что получилось... Да, виноват. Черт с вами, бес со мной, но я не буду скрывать даже фотографии. Судите. Виноват. Сами видите, какая красивая попалась мне стерва. Но генерал Пуркаев не был предателем и никогда не будет!

— А в этом мы еще разберемся, — помрачнел Голиков...

В машине окна были задернуты непроницаемыми шторами. По шуму Пуркаев определил, что открываются железные ворота. Повели в камеру, оставили одного. Прошел день, миновал второй. Ни еды, ни воды не дали. Он утолял жажду быстро протекающей водой из унитаза. Ночью явились:

— Выходи. Руки назад. Без разговоров.

Снова посадили в ту же машину. Куда везут — неизвестно. Скрипнули тормоза. Куда попал — не понять.

— Руки держать свободно. Следовать за нами.

Его провели в кабинет, а там... «отец родной»!

Ни здравствуйте, ни до свидания — полное молчание.

— Товарищ Пуркаев, — вдруг сказал Сталин, медленно прохаживаясь вдоль обширного стола, — вы можете не сомневаться в моем доверии и сразу же возвращайтесь в Берлин...

Что ответил Пуркаев? Ничего. Повернулся и вышел.

Немцы были изумлены, когда он снова появился в Берлине, зато из его квартиры мигом исчезла прекрасная Марта. Гестапо решило выжить из Германии неподкупного атташе. Стоило ему выехать на маневры, отказывал в машине мотор. В кармане обнаружился шпионский мини-фотоаппарат. Пуркаев вернул его Хойзингеру со словами: «Простите, это уже работа карманников, а не порядочных генштабистов». Учительница немецкого языка пропала. Пуркаева вызвали в полицай-президиум Берлина, где криминаль-генерал Артур Нёбе сказал, что против него заведено уголовное дело:

— Вы посягнули на честь немецкой женщины, обучавшей вас нашему языку, о чем и поступила жалоба из ведомства... Риббентропа. На допросах она все подтвердила, а мы подтверждаем ее показания фотоснимками синяков и ссадин, оставленных вами на теле женщины при попытке ее изнасилования.

Странно! Почему-то обвинения исходили из канцелярии Иоахима Риббентропа, и Пуркаев отвечал Нёбе:

— Министерство иностранных дел — лишь для отвода глаз, а синяки и ссадины — следы избиений в гестапо. Догадываюсь, какова цена признаний этой несчастной женщины. Или вы освободите ее, или я устрою всем вам хороший скандал в печати.

— «Правда» не станет печатать, как вы спали с Мартой и насиловали учительницу, — смеялся Нёбе.

— Помимо «Правды», — отвечал Пуркаев, — есть немало других газет, которые охотно опубликуют мои слова о том, какими провокациями вы занимаетесь.

Через год, уже на фронте, Максим Алексеевич рассказывал: «Абсурдность обвинений ни у кого не вызывала сомнений, но решено было не обострять из-за этого отношений (между Москвой и Берлином, добавлю я от себя). Вот так и кончилась моя военно-политическая карьера, о чем я, впрочем, нисколько не жалею...» Пуркаев прошел через многие битвы Великой Отечественной войны, был депутатом Верховного Совета СССР и скончался в 1953 году. Но до конца своих дней Пуркаев не понимал, почему так легко отделался и почему Сталин при свидании с ним казался каким-то отвлеченным. Даже растерянным... Почему он сразу не сделал из него «врага народа»?





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сталин уже понял, что финская кампания не принесла ему благоухающих лавров, напротив, она обнажила перед всем миром многие язвы его диктатуры. Он указал Берии пересмотреть списки репрессированных командиров (а это, читатель, почти пятьдесят тысяч имен), и не все они, но кое-кто были выпущены из концлагерей и отправлены за счет казны в санатории, чтобы очухались, а заодно и вставили выбитые на допросах зубы.

Теперь требовался тот самый легендарный «стрелочник», который всегда виноват, и Сталин нашел его моментально в своем легендарном «железном наркоме», от которого ничего путного ожидать не приходилось.

— Это ты, Клим, виноват во всем, — говорил он Ворошилову, — кто, как не ты, погубил лучшие кадры армии и флота?

— Конечно, — огрызался Ворошилов, — теперь на меня всех собак можно вешать. Не я же сажал, и не я выносил приговоры, я ведь только подписывал уже готовые...

Сталин стал понимать и другое: время лихих тачанок давно отшумело, а Тухачевский и прочие, последовавшие за ним в небытие, были правы, настаивая на моторизации армии, чтобы она не таскалась на телегах, а следовала за танками. Теперь Ворошилов попросту мешал Сталину, и 7 мая он спровадил его с поста наркома обороны. Дабы поднять сильно пошатнувшийся престиж Красной Армии, тогда же были введены новые воинские звания и произошли кадровые изменения: Георгий Константинович Жуков стал генералом армии, а в маршалы Сталин произвел Кулика, Шапошникова и, конечно же, Семена Константиновича Тимошенко, которого и назначил на пост наркома обороны. Для придания значимости этой новизне в центральных газетах публиковались поименные списки военачальников с приложением их фотографий (чему страшно обрадовались в Цоссене немецкие вояки, связанные с вопросами разведки, и адмирал Канарис в абвере).

Сталин считал себя большим знатоком авиации, именуясь в стране «лучшим другом советских летчиков». Но дела в авиации были плохи. Она побивала мировые рекорды, но к войне не была готова. Самолеты страдали многими изъянами. Плохо было и с начальниками военно-воздушных сил, ибо в своих кабинетах они долго не задерживались, сразу оказываясь «врагами народа». Сталин решил «омолодить» авиацию, сделав ее начальником генерала Павла Рычагова, симпатичного веселого парня, который сражался в небе Испании под именем «Пабло Паланкаре». Он сбил над Мадридом шесть немецких самолетов, а потом и сам был подбит, опустившись с парашютом в самом центре столицы — на бульваре Кастельяно, а свидетели его боя, испанцы, тут же подарили ему целый пароход апельсинов. Парню было всего тридцать лет, когда Сталин призвал его к себе и был так чуток, так внимателен, что казалось, он вот-вот прижмет Рычагова к сердцу и расцелует в уста.

— Работайте спокойно, — заверил его Сталин. — Это Ежов с Ворошиловым много навредили, погубив хороших летчиков, но теперь этому не бывать... Я вам верю!

Маршал Тимошенко (отдадим ему должное) иногда резал правду-матку в глаза, и по этой причине Сталин предпочитал беседовать с ним наедине, чтобы не было лишних свидетелей.

— Товарищ Тимошенко, как работается? Я убежден, что Гитлер,

пока не разделается с англичанами, воевать на два фронта не осмелится. Англию он, безусловно, захватит, по моему мнению, не ранее конца сорок второго года, а к тому времени мы будем готовы отбить любое нападение... Вы, товарищ Тимошенко, следите за событиями на Западе?

— Конечно, товарищ Сталин.

— Вот и отлично. Работайте. Я вам верю...

Московские поэты сразу учуяли, куда подул ветер, они перестали восхвалять славную конницу, герои гражданской войны с шашками наголо перестали вызывать у них судороги вдохновения, и однажды Сталин, принимая парад с трибуны мавзолея, услышал новые слова всюду поспевающего Лебедева-Кумача:

По-над Збручем, по-над Збручем
войско красное идет.
Мы врагов своих проучим —
Тимошенко нас ведет...

В цокоте копыт кавалерии, распевавшей эту песню, Сталин не расслышал всех слов и спросил Ворошилова:

— Кто? Кто их ведет?

По щеке бывшего «железного наркома» капнула слеза:

— Не я... Тимоха...

Иосиф Виссарионович пожалел своего друга, сказав:

— Что за глупости? Запретить эту песню...

Между СССР и Германией существовали договорные отношения о торговле, не всегда выгодные для нас, зато очень выгодные для немцев. Экономическое положение внутри СССР было тогда мало кому известно, но правительство оно не могло радовать. Темпы развития не только замедлялись, но даже снижались. Урожаи резко уменьшились, выпуск автомобилей сократился на целую четверть. Сталин в это время щедро насыщал Германию хлебом и нефтью, лесом и золотом. Недаром же Лев Троцкий, живший тогда в Мексике, свою злую статью об услугах вождя Германии так и назвал: «СТАЛИН — ИНТЕНДАНТ ГИТЛЕРА»; в этой статье Троцкий писал, что Сталин «больше всего боится войны. Об этом слишком ярко свидетельствует его капитулянтская политика... Сталин не может воевать при всеобщем недовольстве рабочих и крестьян и при обезглавленной им армии... Германо-советский пакт есть капитуляция Сталина перед фашизмом в целях самосохранения советской олигархии» (иначе говоря, Сталин дрожал за свое кресло в Кремле!). Я, автор, не принадлежу к числу поклонников Троцкого, считая его вреднейшим гадом, но здесь я вынужден с ним согласиться. Да, политика Сталина была капитулянтской. Иначе чем объяснить, что он позволил гитлеровцам очень многое? Так, например, из Берлина вдруг от него потребовали допустить на территорию СССР тех немцев, что желали бы разыскать могилы родственников, погибших в войне 1914—1918 годов! Какие, спрашивается, там «родственники», о каких «могилах» шла речь? Сталин — вот где измена народу! — допустил в свою страну матерых шпионов, которые вполне свободно, уже не боясь ничего, вполне официально рыскали по нашей стране — от Балтики до Черного моря, всевидящие, всеслышащие, всепонимающие...

В мае Сталин велел расстрелять в Катынском лесу польских военнопленных. Многие из них, уже стоя надо рвом, наверное, горько жалели, что не пустили себе пулю в лоб, когда начинался «освободительный» поход Красной Армии. Тогда же, в мае месяце, Сталин, сильно озабоченный, вызвал Тимошенко:

— Мы, кажется, допустили большую ошибку, уничтожив корпусную организацию танков. Вы только посмотрите, товарищ Тимошенко, что происходит сейчас на Западе... А — почему? Потому что у немцев массы танков открывают дорогу пехоте.





Срочно воссоздавали крупные мотомеханизированные соединения, номера которых зачастую лишь значились на бумаге, ибо для полного формирования корпусов не хватало даже грузовиков, не хватало для механизации даже... лошадей!

— А лошадь себя еще покажет, — твердил Буденный.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мир застыл в откровенном ужасе. Много позже генерал Шарль де Голль пришел к выводу: «Наша пехота ничего не решила, а немецкая — ничего не сделала!» Это правда. Ибо все решила авиация Гитлера, все сделали танки, явно третировавшие роль инфантерии. На полях Франции, где догнивали мертвые французские батальоны, родилось новое военное откровение:

— Танкам совсем не обязательно, — объявил Гот, — чтобы их поддерживала пехота. Танки сами по себе способны смело погружаться в глубину обороны противника, при этом даже не озираясь по флангам... Гудериан был прав, танки — вперед!

Там самые ранние теории Эймансбергера становились достоянием насущной практики... Вот он — блицкриг!

24 мая, когда англичане, прижатые к Дюнкерку, уже готовы были бросаться в волны Ла-Манша, последовал «стоп-приказ» фюрера: панцер-дивизиям — ни с места.

Медленно остывали перетруженные танковые моторы.

Дюнкерк пылал, и от самых окраин города до черты прилива бушевало море огня, из разбитых нефтехранилищ вытекала вязкая нефть; охваченное пламенем, горело даже море. Видеть, как англичане не спешат на посадку по своим кораблям и баржам, было для Рейхенау невыносимо.

— Черт его побери! — бушевал он, — фюрер и в самом деле тупой ефрейтор. Что нам стоит спихнуть Черчилля в море?

Никто (и даже Паулюс) не понимал тогда странного распоряжения Гитлера, позволившего англичанам грузиться на корабли и уплывать в объятия своих нежных мисс и миссис. На самом же деле все было просто: Гитлер, задержав свои «панцеры» на полном форсаже моторов, как бы великодушно приглашал британский кабинет к мирному танцу, чтобы потом... о, потом!

Гитлер сам прибыл на побережье, чтобы насладиться редкостным зрелищем удирающего врага. Он с удовольствием обозревал груды брошенной на берегу техники, завалы оружия, массу офицерских чемоданов, уже раскрытых, из которых высыпались чьи-то женские и детские фотографии, носки, бритвы, туалетное мыло, колоды карт, бутылки и пачки презервативов.

— Прекрасно! — сказал Гитлер, насладившись лицезрением этого позора англичан. — Разбитая армия иногда нуждается в том, чтобы противник устроил ей «золотой мост», как во времена Валленштейна или Евгения Савойского... Пусть они вернутся в Англию, чтобы все англичане видели, как они разгромлены!

Англия спасалась. Франция капитулировала. Германия торжествовала, колокола звонили, а сто фанфаристов, собранных Геббельсом в единую команду, возвещали победу по радио...

28 июня 1940 года Гитлер заявил Кейтелю:

— Война против России — после победы над Францией — будет для нашего вермахта вроде детской игры в куличики...

Победители, войдя в Париж, спешили в Дом Инвалидов, чтобы запечатлеть себя на фоне гробницы Наполеона, а сам Гитлер позировал перед Эйфелевой башней, сказав фотографу:

— Валяйте, Гофман! Вот в такой позе... Скоро вам придется снимать меня на фоне Бекингемского дворца, затем в московском Кремле и, наконец, на зеленой лужайке возле Белого дома... На всякий случай приготовьте светофильтры для съемок на скале Гибралтара и возле пирамид египетских фараонов.

В эти дни он получил сердечное поздравление от бывшего германского императора Вильгельма II, поджигателя первой мировой войны. Проживая в Голландии, уже оккупированной войсками вермахта, экс-кайзер сразу учуял в Гитлере продолжателя своего дела, он снова грезил о разгроме России, заранее благословив своих внуков на служение в войсках СС...

Паулюс привез из Парижа дорогие духи от фирмы Коти.

— Очень тонкий аромат, — одобрила Коко его выбор. — У тебя, милый Фриди, всегда был хороший вкус.

Паулюс склонил голову, целуя руку жены с тонкими изящными пальцами природной аристократки.

— Боже! — воскликнула она, — Фриди, у тебя... лысина?

— Война, — вздохнул он. — Что делать, Коко? Война... Зато отныне ты стала женой генерал-лейтенанта. Разве плохо?

— Хорошо, Паулюс, хорошо... опять возвышение!

## 9. ВОЗВЫШЕНИЕ

Англия готовилась отражать нашествие вермахта на свои острова. То, что не удалось Наполеону, вполне доступно для Гитлера, которому чертовски везет... Вот и командный пункт истребительной авиации. Уинстон Черчилль с сигарой во рту, сердито сопя, концом трости постучал в железную дверь.

— Можно войти? — и показалась сначала его сигара.

— Можно, — отвечал вице-маршал Паркер. — Но сначала выплюньте эту головешку изо рта, сэр. Здесь не курят.

Черчилль, не споря, расстался с сигарой.

— Где тут радары, чтобы видеть этих разбойников?..

По серебристым экранам локаторов скользили, словно рыбки в аквариуме, короткие тире отражений бомбардировщиков, пролетающих для бомбежки. Лондон жил в тревоге: придет Гитлер или не придет? Чтобы поиграть на нервах англичан, самолеты люфтваффе, вперемежку с бомбами, сыпали листовки: «Не волнуйтесь! Он все равно придет». Отряды юнцов из организации гитлер-югенд браво распевали на улицах городов Германии: «Bomben, Bomben nach England!» Немецкие интенданты всюду скупали пробку для выделки спасательных поясов, дабы Уайтхолл наглядно убедился, что Германия готовится к прыжку через Канал... Паулюс писал:

«У меня сложилось впечатление, что как командующий сухопутными силами (Браухич), так и начальник генерального штаба (Гальдер) верили в серьезность намерения Гитлера осуществить высадку десанта».

Операция по высадке вермахта на берегах Англии называлась «Морской лев», и эта операция была спланирована Адольфом Хойзингером, ведавшим оперативными делами в генштабе...

Берлин еще не знал бомбежек. По радио часто звучали торжествующие мелодии, призывая к вниманию, после чего Ганс Фриче с восторгом зачитывал военные сводки: победа, опять победа... С красочных афиш смеялась белозубая Марика Рокк, приглашавшая любоваться ею в кинобоевике «Девушка моей мечты»; другая «нимфа фюрера», еще более знаменитая и даже наглая, Лени Рифеншталь позировала на экранах, пропагандируя святость идей нацизма. Гитлеру она однажды сказала: «Можете выбирать — я или Геббельс? Но я лучше...». Однако за всей этой берлинскою суетой ощущалось и нечто другое. В немцах, как бы они не бодрились, чувствовалась какая-то подавленность, смех казался наигранным, подразумевалось, что они даже едят, не чувствуя вкуса еды. «В чем дело?». Один турецкий дипломат, будучи проездом в Берлине, сказал своему приятелю-берлинцу:



— Я не понимаю, кто проиграл войну — неужели... Германия? Вы все немцы напоминаете мне детей, которые не в меру нашалили, а теперь боятся быть наказанными строгою бонной.

— Ваша правда, герр Караосман-оглы, — отвечал приятель. — Кому-то из нас придется потом отвечать за разбитые горшки на чужой кухне. Как бы всем нам не пришлось расплачиваться...

На оживленном Курфюрстендаме Паулюс случайно встретил Гейнца Гудериана, чем-то явно озабоченного.

— Мне сейчас здорово влетело, — сообщил он. — В рейхсканцелярии подсчитали, что мои танки сосут горючее в четыре раза быстрее, нежели в других армиях мира. Чем же мы виноваты, если так воспитаны: мотор, форсаж, атака! Везет же этим русским, — вдруг позавидовал Гудериан. — У них в Москве стакан газированной воды с сиропом продается во много раз дороже целого литра бензина. Нам бы такие цены!

Паулюс был рад видеть сыновей-близнецов живыми и невредимыми, и как-то Эрнст завел с отцом разговор:

— Папа, ты разве ничего не слышал?

— А что слышал ты?

— Я в Вюнсдорфе оказался случайным свидетелем беседы двух генералов, они говорили, что сейчас в вермахте есть два человека, которых ожидает возвышение: это Манштейн и... Паулюс!

— Очевидно, преувеличение?

— Нет, папа, Фридрих, мой брат, тоже слышал, что в кадровом отделе вермахта вам обоим, тебе и Манштейну, уже предсказывают большую карьеру... там, на самом верху!

Паулюс, пожав плечами, оставался скромен:

— На меня падает отблеск успехов шестой армии, хотя мне с этим забулдыгой Рейхенау уживаться не всегда-то легко. Никогда не знаешь, какой он завтра выкинет фортель.

Берлин после побед вермахта богател. Витрины магазинов украшали грандиозные айсберги сливочного масла из Дании, горькими слезами «плакал» голландский сыр, женщины ломились в универмаги, расхватывая по дешевке платья парижского покроя. Голландия, эта извечная ювелирная лавка Европы, одаривала немок кулонами, браслетами и ожерельями. Паулюс, отвоевав, теперь отдыхал за семейным столом, с мужним удовольствием наблюдая, как жена капризно перебирает в вазе ягоды клубники, выбирая себе покрупнее. Внимательный в штабе, генерал-лейтенант оставался внимательным и к женской болтовне:

— Вчера прихожу к портному. Его нет. Жена в слезах. Призвали в пехоту. Подкатываю к парикмахерской. Нет Вернера, который всегда меня причесывал. Вместо Вернера какая-то стерва. А где Вернер? Призвали в зенитную артиллерию. Теперь смотри, Фриди, как мне испортили прическу.

— Начинаем брать людей из резерва, — рассудил Паулюс.

Собираясь к подруге, Коко вызывала такси.

— Отказали, — изумилась она. — Вышло распоряжение — отныне никаких частных поездок. Нужно иметь служебное дело. Я ничего не смыслю в экономике. Но почему так надо, чтобы в театр или к знакомым я шлялась пешком?

— Начинаем накопление горючего, — объяснил Паулюс...

С улиц городов потихоньку исчезли лотки с горячими сосисками, пропало бутылочное пиво — осталось в продаже бочковое. Дурной признак для страны, где не мыслят и дня без пива!

Паулюс велел жене больше не покупать тортов:

— Они очень привлекательны, но все кремы — химия. Отравиться не отравимся, но и здоровья себе не прибавим. Наши химики достигли уже такого совершенства, что скоро из солдатской мочи станут

выделывать дамские ликеры... Я все-таки устал. Прилягу. Кстати, а где Ольга?

— Она со своим бароном навещает графа Зубова, знаешь, сейчас из Прибалтики Сталин выгоняет всех немцев, у Зубова собирается интересное общество депортированных.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тут как-то все разом перемещалось. Москва вдруг ополчилась на худосочную Румынию, где одной мамалыгой сыты, и к Советскому Союзу — без крови и на этот раз! — отошли области Буковина и Бессарабия. Елена-Констанция Паулюс, как румынка, до слез жалела румынского короля Михая, говоря мужу:

— Что Гитлер, что Сталин — одинаковые разбойники, оба так и глядят, что бы еще стащить у соседа, ничем не брезгуют... Ах, бедный Михай! Надо мне написать кузену в Бухарест, чтобы он выразил королю мое сердечное сочувствие.

Тем временем московская власть утверждалась в республиках Прибалтики: по договоренности с фюрером Сталин начал депортацию всех иемцев, которых там было немало. Впрочем, в число «иемцев», среди потомков крестоносцев и меченосцев, затесались и многие русские, жены мужей-немцев, то ли просто самозваные немцы, желавшие удрать от НКВД куда-нибудь подальше. Эта депортация немцев из Прибалтики проводилась нацистами под многообещающим девизом: «ВАС ФЮРЕР ЗОВЕТ»...

Среди депортированных была и баронесса Эльза Гойнинген фон Гюне, совсем не желавшая покидать Курляндию, но ее просто выставили в «фатерланд», не спрашивая, где ей лучше живется. Баронесса тоже оказалась в числе гостей Паулюсов, интересная для самого генерала — как осколок древнейшей германской диаспоры на Востоке. Судя по всему, фрау Эльзе не очень-то нравилась Германия, где она теперь сама жарила картошку на маргарине, произведенном в мощных автоклавах химического концерна «Фарбениндустри». Паулюсу она говорила — с немалым значением:

— Я здесь у вас задерживаться не собираюсь, рассчитываю вернуться обратно. Вы бы знали, какие у меня под Митавой были коровники, какое жирное молоко давали мои коровы.

— Простите, но... кто вас отпустит в Митаву?

Безо всякого смущения Гойнинген фон Гюне сказала:

— Но ведь очень скоро будет война с Россией! Уж вы-то, Паулюс, человек военный, знаете об этом лучше меня.

Поддерживая разговор гостей, граф Валентин Зубов сказал:

— Если слухи о близкой войне с Россией верны, то у вас, герр генерал, партия с нею не состоится. Россия такая здоровенная баба, которая способна выдержать немало оплеух, но в поклоне никогда не согнется.

Паулюс согласился, что Россия — страна могучая.

— Но сталинский режим непрочен, — сказал он. — У них сейчас немало внутренних проблем. Оружие устарело. По ресурсам выплавки чугуна и стали русские сильно отстают.

Он и не хотел того, но так уж получилось, что вроде бы подтвердил версию о близкой войне. Именно так его понял Валентин Платонович Зубов, живо обратясь к барону Кутченбаху:

— Зондерфюрер войск СС! Ну-ка, поживее запишите себе для памяти русскую поговорку: это еще бабушка надвое сказала. Если занесет вас в Россию, вам поговорка пригодится.

— Как, как? Повторите, — засуетился зять Паулюса, роняя авторучку и шелестя страницами блокнота; записал поговорку, потом спросил: — А что это значит? Понять трудно.

— А вы доберитесь до Москвы — там вам все объяснят...

В конце лета Геринг уже подготовил свою авиацию для массированных налетов на Англию, а Гитлер на своей вилле «Берхоф» собрал



высших офицеров вермахта; был приглашен и Паулюс. Конечно, он уже догадывался о том, что втайне замышлялось против России, при этом, не раз беседуя с Гальдером, он придерживался мысли о т р е х ударах по т р е м главным направлениям — Москва, Ленинград, Киев...

Гитлер начал говорить, что вторжение на Британские острова откладывает до лучших времен, а сейчас важно разделаться с большевистской системой на Востоке:

— Англичане могут уповать только на поддержку со стороны России и Америки. Но когда Россия развалится, в Лондоне исчезнут надежды на Рузвельта, ибо — не забывайте! — на Тихом океане очень быстро возрастает роль Японии, американцам будет просто не до того, чтобы жалеть англичан... Чем скорее мы разобьем Россию, тем будет лучше для самой России. Но, — подчеркнул голосом фюрер, — операция может иметь смысл только в том случае, если мы одним молниеносным ударом уничтожим все это государство. Для этого понадобится не более пяти месяцев. Думаю, что война начнется в мае следующего года... Русские, — упоенно продолжал Гитлер, — не окажут нам такой любезности — совершить нападение первыми. Мы будем исходить из того, что их армии останутся в оборонительном положении. Меня спросят о пакте. Отвечаю. Договоры могут заключаться лишь между равными партнерами, занимающими одну и ту же политическую платформу. Советы находятся на другом конце платформы, и тут никакая международно-правовая мораль неуместна.

Близилась осень. В преддверии зимы супружеская чета Паулюсов навестила Фридрихштрассе, где размещались самые фешенебельные меховые магазины. Жена оставила генерала поскучать в вестибюле, и тут его кто-то окликнул:

— Хайль! Кого вы здесь ожидаете, Паулюс?

Это был Франц Гальдер, начальник генштаба.

— Жду, когда моя жена выберет себе шубу по вкусу.

Гальдер устало опустился в соседнее кресло. На его серых штанинах броско пламенели лампасы из малинового шелка — признак принадлежности к высшей элите вермахта.

— Выбрать шубу, — рассудил Гальдер, — для женщины столь же важно, как для генерала получить дивизию или корпус. Говорят, у вас спокойный характер и вы ладите даже с Рейхенау?

— Не грызлись, — отвечал Паулюс. — Хотя с этим эксцентричным человеком ладить было трудно. Во Франции он мог явиться на банкет в костюме жокея. Наконец, он намеренно приглашал к танцу самых толстых женщин, что во времена Секта строго запрещалось, чтобы не вызвать насмешек со стороны.

Гальдера волновало совсем другое:

— Между прочим, — сказал он, — в генеральном штабе вас знают, высоко оценивая ваши способности. Не хватит ли, Паулюс, измерять длинной палкой, сколько в танковых баках осталось горючего? Я давно хочу переманить вас в оранжерейную обстановку Цоссена. Фюрер возражать не станет...

Гальдер ушел. Вскоре из-за портьер ателье появилась жена, уже в новой шубе из канадских скунсов, и, распахнув полы ее, она трижды кокетливо повернулась перед мужем:

— Это как раз то, о чем я мечтала... ты рад?

— Конечно. Ты выглядишь просто великолепно.

— Я так и знала, что тебе понравится...

Лакированный «мерседес» увозил их по улицам, уже погруженным во мрак военного затемнения (англичане иногда пытались бомбить столицу рейха). Коко оказалась проницательна.

— Что-то у тебя произошло... *без меня.*

— Да. Случайно я встретил Гальдера, и он наговорил мне массу лестных комплиментов. Кажется, в мои брюки скоро предстоит вшивать широкий красный лампас.

— Разве это плохо? — обрадовалась жена. — Во всяком случае я буду спокойнее, зная, что ты не носишься на своем танке по всяким оврагам... Красные отвороты на шинели, красные лампасы на брюках. Ах, милый Фриди! Я еще тогда, на горной тропе в Шварцвальде, почему-то решила, что тебя ожидает самая блистательная карьера...

Паулюсу исполнилось пятьдесят лет. Внешне он казался моложе, юношески стройный, держался молодцевато, и дамы, любящие танцевать, видели в нем отличного партнера. Впрочем, танцы в Германии были запрещены велением Геббельса — «до полной победы».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На страшной высоте, почти невидимые и недосягаемые для истребителей, над советской территорией уже пролетали самолеты-разведчики из знаменитой эскадрильи фон Ровеля; их оснащали самой высокочувствительной аппаратурой, чтобы они вели аэрофотосъемку военных объектов и городов. Пассажирские самолеты авиакомпании «Люфтганза» намеренно сбивались с курса, дабы выискивать скопление военной техники и воинских эшелонов. Наконец, товарные вагоны, следующие из Германии с поставками закупленного оборудования, имели хитрое «двойное дно», в котором скрывались головорезы и диверсанты из полка «Бранденбург-300», знающие русский или украинский языки; миновав границу, они моментально растворялись в нашей жизни, а их фальшивые документы были безукоризненны. Их подготовка была идеальной. Случалось, этих агентов через военкоматы даже призывали в ряды Красной Армии, некоторые устроились при штабах наших западных округов. Они были хорошо подкованы «идейно» и на собраниях бурно аплодировали при имени товарища Сталина, мудрейшего и гениального друга и учителя, отца всех народов. Это было очень трудное и сложнейшее время аплодисментов, «переходящих в бурные овации».

...Паулюсу предстояло перебираться в Цоссен — в тот самый Цоссен, откуда весною 1945 года наша дальнобойная артиллерия впервые открыла огонь по рейхсканцелярии Гитлера.

## 10. «БАРБАРОССА»

Где Большая Политика, там и Большая Стратегия.

Глумления над военным ремеслом Паулюс не терпел.

— Стратегия *тоже* наука, — утверждал он. — Это военная алгебра, позволяющая нам дифференцировать конечный результат войны еще задолго до ее возникновения...

Паулюс, тщательно выбритый, собирался отъехать в Цоссен, где ему предназначалась должность обер-квартирмейстера, чтобы стать т р е т ь и м по значимости лицом в сложной иерархии вермахта — после Вальтера фон Браухича, военного министра, и после Франца Гальдера, начальника генерального штаба. Кажется, это место долго держали свободным, его приберегали для человека, который мог бы составить оппозицию Гитлеру, не боясь давать фюреру щелчки по носу, чтобы не лез в оперативные дела. Но такого смельчака не нашли, и потому Гальдер выдвинул «аполитичного» Паулюса, ибо в Цоссене желали иметь человека, хорошо изучившего тактику глубоких танковых прорывов...

Странные чувства одолевали Паулюса: его ожидал Цоссен, где он когда-то служил в рейхсвере времен Секта, командуя всего-навсего автомобильной ротой, где он столь усердно «пахал» землю на тракторах, чтобы из кабины трактора вдруг оказаться заключенным внутри гулкого танка...

— Коко, я готов ехать, — сказал Паулюс жене. — Пожелай мне





удачи на том посту, который когда-то занимал сам великий Людендорф, пока не сломал себе шею в политике.

— Остерегайся политики, — заклинала его жена.

Шофер подавал сигнал с улицы, торопя с отъездом, но тут раздался телефонный звонок от Эльзы Гойнинген фон Гюне:

— Ваш фюрер распорядился компенсировать мне потерю имений под Митавой и Виндавой дворянским замком в Польше, а моего сына Освальда назначил послом в Лиссабон. Дайте мне, пожалуйста, номер телефона рейхсканцелярии фюрера.

— Вы хотите благодарить его? — спросил Паулюс.

— Нет, я обязана информировать его о том, чего он, наверное, не знает. Во время поездки в Польшу я наглоталась такого смрада от ужасов, чинимых над поляками, что у меня поседели волосы... Паулюс, я не хочу больше жить! Даже кинокрасавица Лени Рифеншталь оказалась сущею ведьмой: в костюме эсэсовки она сама расстреливала поляков.

Паулюс отказал женщине в ее просьбе:

— Если вы все это станете излагать фюреру, вы наживете себе крупные неприятности.

— Я заболела, Паулюс, от чужих страданий, — сказала женщина, заплакав. — Меня выгнали из Курляндии, но я не стану выгонять на улицу прежних хозяев замка, культурных и самостоятельных людей. Это претит моему благородному воспитанию, которое началось в классической гимназии Санкт-Петербурга... Прощайте!

Несколько удрученный этим разговором, Паулюс быстро катил в Цоссен, маленький городок к югу от Берлина, где Гитлер укрывал от шпионов и бомбежек «мозг» своего вермахта — генштаб! Пересекая кольцевую автостраду, шофер притормозил, увидев фигуру генерала. На обочине автобана стояла малолитражка «опель-олимпия», солдат накачивал лопнувший баллон, а генерал поднял руку:

— Паулюс? Как хорошо, что мы встретились. Поздравляю с прямым попаданием в бункеры Цоссена, где Гальдер устроил себе хорошую лавочку. Надеюсь, вы меня подвезете?

Это был граф Курт Гаммерштейн-Экворд, бывший командующий рейхсвера, который много лет занимался шпионажем в СССР, зная о Красной Армии больше других. Но разговор в машине получился странный:

— Вот стратегия фюрера: чтобы покончить со старой войной, он начинает войну новую. Теперь, желая унизить Англию, он решил, кажется, покарать большевизм. Я понимаю причины отставки Людвига фон Бека, который уже заглянул в пропасть будущего... Германия, задев однажды Россию, опрокинется кверху колесами, как сумасшедший паровоз. Бек заранее выбрался из будки машиниста, уступив свои рычаги Гальдеру... Не советую вам, Паулюс, слушать любителей русского сала. Я лучше вас извещен, что такое Советы и какова их бронебойная сила.

Что тут ответить? Но ответить необходимо.

— Я все-таки... с о л д а т, — сказал Паулюс, — и обязан исполнять долг. Простите, граф, за выспренность выражений, но я еще смолоду приучил себя держать руки по швам...

Гаммерштейн-Экворд поразил Паулюса словами:

— Я тоже солдат, и вы не кичитесь своим долгом. Помимо этой штуки, существует еще и разум. Германия стала очень сильна. И сейчас *только ее поражение* способно развалить этот отвратительный режим, схожий со сталинским... Спасибо, Паулюс!

Они уже въехали в улицы чистенького Цоссена.

Паулюс испытывал такое ощущение, будто с утра пораньше получил сразу две оплеухи: сначала от этой курляндской баронессы, а потом и от своего же коллеги... Позже он жене говорил, что этот Гаммерштейн дал ему выпить касторки!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Организация высшего военного руководства Германии была не простой, на первый взгляд даже запутанной. Читатель должен помнить двух главных хищников — ОКВ и ОКХ. Они близко соприкасались в поисках добычи, сообща разделяя всегда приятный для них апломб победителей, но при этом жестоко соперничали. ОКВ — это верховное главнокомандование вооруженных сил (сам Гитлер, Кейтель, Йодль). ОКХ — командование сухопутных сил (опять же Гитлер, Браухич, Гальдер, а теперь и Паулюс).

В садах Цоссена, среди оранжерейных розариев, укрывались секретные помещения генштаба и абвера (военной разведки), здесь же, среди цветочных клумб, разместился почти дачный домик, в котором располагался Гальдер. Дежурный офицер провел Паулюса в кабинет, сообщив, что под землею расположены еще четыре этажа, точно копирующие обстановку служебных кабинетов, которые остались торчать над землею.

— Если последует воздушная тревога, вам следует взять портфель с бумагами и выдернуть из штепселя вилку телефона. С портфелем и аппаратом вы спускаетесь на лифте ниже, где вас ожидает кабинет с теми же картами, с тем же освещением и с той же расстановкой мебели. Вам остается лишь воткнуть вилку и снова разложить бумаги. Желаю успеха.

— Русские знают о нашем размещении в Цоссене?

— Да! Здесь бывал их военный атташе Пуркаев, и мы сознательно показали ему почти все, чтобы он мог сравнивать — как у нас и как у них. Но абвер все испортил, подсунув ему свою шлюху...

Гальдер навестил Паулюса в его кабинете; поговорили о пустяках, потом Гальдер сказал:

— Я не думаю, чтобы нам пришлось много возиться с Россией. Манштейн недавно бывал на маневрах Красной Армии, а Гудериан вел наблюдение за нею у Бреста в польскую кампанию. Вооружение устарело. Танки слабые. Боеспособность низкая, что маршал Тимошенко и доказал на линии Маннергейма. Автоматическое оружие русским неизвестно. Правда, по настоянию маршала Кулика, в войска стали поступать винтовки СВТ, но отзывы об этом оружии самые отрицательные...

3 сентября 1940 года в Цоссене появился размашистый генерал Эрнст Кёстринг, приехавший из Москвы, где он состоял военным атташе при германском после графе фон дер Шуленбурге. Гальдер с Паулюсом приняли его в «форверке» (гостинице ОКХ), и Гальдер почему-то сразу обрел резкий вызывающий тон:

— Ну, если и Кёстринг с нами, значит, Россия не останется загадочным сфинксом. Рассказывайте московские анекдоты. Как вы там уживаетесь с агентами огэпэу?

— Работать трудно, — признал Кёстринг. — Русские очень осторожны. От иностранцев шарахаются, как от чумы. Но Сталин приветлив, на банкетах в Кремле я с ним охотно беседую об авиации. Он очень горд рекордами своих летчиков.

— Бесподобная информация! — съязвил Гальдер. — Конечно, много ли узнаешь, стоя у кремлевской стены с дамами и наблюдая за первомайским парадом. Вы, надеюсь, уже измерили толщину картона, из которого русские намастерили броневиков — специально для показа их иностранцам на Красной площади.

— Почему такой тон? — вдруг возмутился Кёстринг.

Из сада пахло левкоями. Гальдер показал на окно, в котором виднелись помещения «Майбах-2», похожие на дачи.

— Вот вам абвер, и там адмирал Канарис из Цоссена видит обстановку в России лучше вас, пьющих московскую водку и заедающих ее астраханскими балыками.

Кёстринг демонстративно повернулся к Паулюсу:



— Ганс Кребс, мой помощник, уже докладывал в Цоссен, что у русских появился новый истребитель, способный соперничать с нашими «мессершмиттами-109». Красная Армия стала обновлять артиллерийские и танковые парки. Новое оружие по отношению к старому составляет пока процентов пять — десять, не больше, и виною тому влияние консерваторов, вроде маршала Кулика или Щаденко. Но я склонен думать: еще года четыре, и нашей Германии будет не догнать Россию... не забывайте об Урале!

— Конкретнее. Кто отстал? Мы или русские?

Вопрос Паулюса был слишком требователен, и Кёстринг даже поежился в кресле, отвечая не сразу:

— Так категорично ставить вопрос нельзя. Наконец, мы просто еще не знаем, что имеется в советских арсеналах. Известно лишь, что их конструкторские бюро завалены работой. Мало того, Сталин в местах заключения образовал научные конторы, которые за колючей проволокой способны изобретать даже перпетуум-мобиле, лишь бы избавиться от наваждения пятьдесят восьмой статьи...

Гальдер загадочно улыбался, а Паулюс, не совсем-то доверяя информации Кёстринга, имел неосторожность сказать:

— Ну да! Вы же бывший русский помещик из Тулы, и вам хотелось бы видеть свою праматерь красивой и сильной.

И вот тут Кёстринг взорвался, отвечая с раздражением:

— Да, по-русски я зовусь Эрнстом Густавовичем, и учился я еще по русским букварям в классической московской гимназии. Но мое детское русофильство уже неспособно что-либо исправить в моих зрелых национал-социалистических убеждениях. А личные встречи со Сталиным, когда он принимал меня вместе с графом Шуленбургом и Хильгером (кстати, тоже русским), убедили меня в том, что в лице Сталина мы имеем опасного политика и очень хитрого человека... Я, — почти озлобленно закончил Кёстринг, — еще раз предупреждаю ОКХ и ОКВ, чтобы эти конторы по скупке старой мебели у населения не заблуждались относительно военного потенциала России...

Умышленно оскорбив начальников, Кёстринг все-таки расплатился с Гальдером за его язвительность. Гальдер спросил:

— Что танки? Что Челябинск? Что Сталинград?

Кёстринг, помедлив, все-таки открыл свой портфель, стал выгружать на стол «московские подарки»: бутылки с водкой и банки с икрой; паюсную икру он сначала вынул, а потом как-то воровски запихнул обратно в портфель. Ответ был обстоятельным:

— Челябинск закрыт. Туда не добраться. Но у меня завелся резидент в Сталинграде, где выпускают какие-то новые танки. А русская разведка блокирует все мои выезды из Москвы...

После этого разговора Гальдер, распивая с Паулюсом водку и намазывая икру на хлеб, энергично жующий, сказал:

— Сейчас наш фюрер солидарен с мнением Йодля и Кейтеля, что России блицкрига не выдержать. Задержка на линии Маннергейма окончательно убедила его в слабости большевистской системы.

В своем кабинете Гальдер неторопливо растворил железный сейф, извлек из него папку и бросил на стол.

— Вот этим вы и займетесь, — сказал он Паулюсу.

— Что это?

— План «Барбаросса» — план нападения на Россию...

Это был секретный документ рейха № 33408/40.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чудовищно! Даже те немецкие генералы, что находились в оппозиции Гитлеру и пытались предостеречь руководство против войны с Россией, даже они — совсем неглупые люди! — понимавшие, что война обернется для Германии катастрофой, все-таки продолжали работать на войну, вольно или невольно усиливая позиции самого Гитлера в ОКВ и ОКХ.

Паулюс тоже считал, что его служба — чисто академическая, и не иначе! Конечно, в деловой тишине бункеров Цоссена не слыхать стонов поверженных, а стены рабочего кабинета не были окрашены человеческой кровью... Вручая Паулюсу папку с планом «Барбаросса», Гальдер сказал, что это лишь жалкий э м б р и о н будущей войны, зачатый в одну из лучших ночей генералом Эрихом Марксом на основе опыта польской кампании:

— И младенцу из Кёпенека ясно, что равнять Польшу с Россией нельзя. Всю эту марксовскую галиматью мы уже показывали Кёстрингу, и он, человек знающий, справедливо высмеял генерала Маркса, который считал, что занятие Москвы будет иметь решающее значение для полной победы...

— Знаком ли с планом фюрер? — спросил Паулюс.

— План Маркса, носивший тогда название «План Фриц», Гитлер сразу отверг как нерешительный. Нужна война быстрая, в считанные недели. Иначе наша экономика не выдержит и треснет... Вам, Паулюс, предстоит развить этот эмбрион до рождения колоссального чудовища, чтобы весь мир вздрогнул при его появлении. «Барбароссу» следует привязать к условиям русской местности. Учесть все исходящие точки главных ударов. Наши ресурсы и ресурсы противника. Форсирование рек и болот. Резервы горючего и технических масел, с учетом того, что мы заберем у Венгрии и Румынии. Высчитайте, на сколько нам хватит каучука и на каком этапе войны мы будем вынуждены заменять каучук синтетической «буной»... Как видите, работа большая. Большая и даже окаянная! Я вам даже сочувствую, — засмеялся Гальдер.

Паулюс перелистал первые страницы плана «Барбаросса»:

— Какова же конечная диспозиция этого плана?

— По меридиану: Архангельск — Астрахань.

— И не дальше? — спросил Паулюс.

— Нет смысла гнать ролики дальше, ибо к тому времени Сталин убежит, а все его Советы развалятся.

— Дата открытия кампании?

— К маю следующего года все должно быть готово.

— А почему не март? Почему не апрель?

— Надо, Паулюс, чтобы подсохла грязь на ужасных русских дорогах... Планируйте смелее. Советы — как оконное стекло. Тресни кулаком — и все со звоном разлетится в куски!

Кёстринг тоже был ознакомлен с работою Паулюса.

— Странная у вас концепция в стратегии! — сказал он ему. — Вы опять повторяете главную ошибку генерала Маркса. Вам кажется, что падение Москвы способно решить судьбу блицкрига... Но Москва — не Париж! Русские отодвинут свои армии вплоть до Урала, где у них большой промышленный комплекс, и война будет продолжена с прежней яростью. Если вам взбредет в голову перевалить танки через Урал, русские могут отступать хоть до Байкала.

— Но должны же иссякнуть силы этого колосса!

— Прежде иссякнут силы вермахта.

— Кёстринг! Где вы мыслите наш конечный рубеж?

— Ленинград, Харьков, Смоленск... не дальше. На этой линии погибнет русская мощь, а в Германии выстроятся длинные очереди инвалидов — за протезами. Зиг хайль!

(Через шесть лет в заявлении Советскому правительству генерал Паулюс сам же и признал коварство плана «Барбаросса», им же разработанного: «Поставленная цель уже сама по себе характеризует этот план как подготовку чистейшей агрессии; это явствует даже из того, что оборонительные мероприятия моим планом не предусматривались вовсе...».)

Гитлер торопил Гальдера, а тот подгонял Паулюса, которому вскоре уже не стало хватать дня; Гальдер — с ведома Кейтеля — позволил Паулюсу брать секретные документы из Цоссена домой, чтобы работа продолжалась и по ночам в спокойной обстановке берлинской квартиры на Альтеншгайнштрассе.





Тут и произошла «утечка информации»! Нет, читатель, в квартиру Паулюса не проник сверхнаходчивый советский майор Ковалев, чтобы выкрасть план «Барбаросса», — нет, в кабинет Паулюса заходили сыновья, бывшие в отпуску, заходила и жена. Ворохи карт европейской части России, жирные отметки дорог и четкие стрелы танковых ударов стали понятны сыновьям, а Коко тоже догадывалась, чем занимается ее любимый муж.

Между супругами неожиданно возник скандал!

— То, что ты делаешь, это... преступно, — заявила Елена-Констанция. — Я всегда считала тебя порядочным человеком, но теперь... Что ты делаешь, Фридн? Опомнись. Этот ваш фюрер давно спятил, а ты его бредовые галлюцинации пытаешься претворить в стратегию. Если тебе не жаль бедный русский народ, и без того измученный поборами и нуждою, так пожалей хотя бы меня... Откажись от этих планов, которые, чует мое сердце, ничего, кроме несчастий и горя, не принесут ни тебе, ни мне, ни твоим детям, ни твоим внукам!

Немецкий историк Вальтер Гёрлиц привел документальный ответ Паулюса жене: «Все эти вопросы требуют политического решения, мнение же отдельных людей не учитывается, ибо подобные действия будут продиктованы лишь военною ситуацией».

Не думаю, чтобы после такого ответа Коко успокоилась.

В редкие минуты отдыха Паулюс с подрамником, как художник, выезжал в парки Тиргартена, где недурно рисовал акварелью лирические пейзажи. Говорили, что он в душе был лирик. Даже сентиментальный...

Может быть. Но его план «Барбаросса», нанизанный на пику войны, нес всем нам кровь, голод, бедствия, страдания...

Знал ли об этом Паулюс? Да, он знал.

— Но я солдат, и я обязан держать руки по швам...

Ему — руки по швам, а нам — руки вверх!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Читатель не поверит, но я привожу действительный факт.

В самый канун войны, чтобы избежать конфликтов с немцами, в пограничных частях у бойцов отобрали патроны. Винтовки им оставили, а вот патроны отняли. Пушки тоже оставили на границе, но прислугу лишили снарядов. Вот и защищай, боец, дорогую Родину: стреляй по врагу из пустой винтовки, бей врагов из незаряженной пушки... А почему такая осторожность? Да потому, что наш дорогой товарищ Сталин очень страшился пограничных инцидентов, которые могли бы вызвать недовольство его лучшего друга.

## 11. ДРОЖАТ ОДРЯХЛЕВШИЕ КОСТИ

Линии, линии, линии... С ума можно сойти от этих линий!

Линия Мажино, линия Зигфрида, линия Маннергейма, линия Сталина, линия Метаксаса, линия Антонеску. Когда стало в Европе уже не продохнуть от этих линий, дуче Бенито Муссолини набил в Ливийской пустыне деревянных кольев, протянул меж ними колючую проволоку и объявил всему миру о «неприступности» линии Муссолини. Своему маршалу Бальбо он повелел:

— Отсюда ты переломаешь все ребра британскому генералу Уэйвеллу, и не отставай от него, пока он не выпьет целый бидон лучшей в мире касторки — итальянского производства...

День в Цоссене еще только начинался, когда из абвера появился Адольф Хойзингер, со смехом сообщивший Паулюсу:

— Везет же макаронникам! За все время войны в Африке они не сбили ни одного самолета. Наконец, добились успеха — точно вре-

зали из зениток! Но опять им не повезло: в самолете как раз и летел их главнокомандующий маршал Бальбо.

— Вечная память, — серьезно отвечал Паулюс. — В таких случаях итальянцы говорят: «Ну и что ж? Одним меньше...»

На место Бальбо командовать Африканским корпусом Муссолини назначил генерала Итало Гарибольди, франтоватого старика с накладными усами римского щеголя. Узнав об этом, в Цоссене говорили, что война с англичанами в Ливии требует жестокой руководящей руки немцев, а совсем не итальянцев:

— Солдаты в Ливии хлещут воду из бидонов для бензина. Но офицеры Муссолини лакают лучшую минеральную воду марки «Рекоаро». Эти мерзавцы иногда выбрасывают с грузовиков даже снаряды, зато таскают через пустыню тысячи бутылок...

Повышенный интерес в Цоссене к африканским делам был обоснован. Паулюс, завершая обработку плана «Барбаросса», имел аудиенцию у Гитлера, перед которым изложил свою теорию дальнейшей борьбы с Англией.

— Если сейчас, — сказал он, — захват Англии с моря откладывается, то центр борьбы с нею следует перенести в Средиземноморье, в страны Ближнего Востока, мы должны активнее помогать итальянцам в их африканских делах. Особенно сейчас, когда они терпят поражение в Киренаике...

Паулюс не прерывал добрых отношений с Эрвином Роммелем, товарищем по старой службе в Штутгарте. Последний раз они встречались во Франции, где Роммель командовал танковой панцер-дивизией. Теперь Эрвин стал комендантом личного поезда Гитлера, своей головой отвечая за головы пассажиров. Эрвин навестил Паулюса на Альтенштайнштрассе, жаловался:

— Фюрер сделал из меня вроде проводника своего вагона. Сегодня он в Мюнхене, завтра ему надо любоваться горными вершинами в Берхстенгадене... Ты сейчас в Цоссене, — намекнул Роммель, — так будь другом — гавкни при случае, чтобы меня из поезда фюрера куда-нибудь переместили...

Паулюс обещал другу «гавкнуть». Под конец 1940 года план «Барбаросса» в общих чертах был оформлен, требовалось лишь «обкатать» его, словно новый танк, на полигоне критического разбора. Будущий блицкриг был планирован по трем главнейшим направлениям — Север, Центр, Юг, и, наверное, Паулюс был бы ошеломлен, если бы знал, что как раз в это время молодой русский генерал Жуков планировал в Москве контрудары по тем же самым направлениям, которые наметил и Паулюс для вермахта...

Совпадение? Нет, это работа точного штабного рассудка, обладавшего стратегическим предвидением.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Паулюс. Его натренированный мозг работал превосходно:

— Внимание! Мы проникаем в Россию через ее европейскую часть, имея вначале явную выгоду — бить сжатым кулаком. К востоку от границы территория СССР, подобно гигантской воронке, начинает резко расширяться. Наступая, мы невольно растягиваем свой фронт, как пружины эспандера. Наш кулак начинает разжиматься, мы вынуждены бить растопыренными пальцами... Эта географическая «воронка», — завершал вывод Паулюс, — потребует от нас введения дополнительных резервов.

— Которых у нас не будет, — сообразил Гальдер. — Именно поэтому всю эту возню с Россией необходимо закончить до осеннего листопада. Если дождемся морозов, Германия провалится в люк затяжной войны, из которого ей не выбраться...

Уже в этом признании Гальдера ощущался миндальный привкус авантюризма, схожий с ароматом цианистого калия. Но сценарий «Барбароссы», ранее неживой и сомнительный, все же обретал стратегическую четкость, после чего в Цоссене его отрепетировали в военных «играх» (так режиссер еще в пустом зале прокручивает свои фильмы, еще не озвученные для широкого экрана). При разборе плана присутствовали самые компетентные стратеги вермахта; фельдмаршалу Браухичу план «Барбаросса» доставил, кажется, приятное волнение:

— Вы у нас молодцом, Паулюс! Да, на границах русские встретят нас с бешенством кабана, обложенного собаками. Но затем их сопротивление ослабеет. Уверен, через две недели вся эта большая куча гнилой картошки сама развалится.

Не избежать было и каверзных вопросов оппонентов:

— Известно ли автору что-либо о степени готовности Красной Армии к превентивному нападению на Германию?

— Абвер не считает Россию готовой к войне.

— Это — Россия, а не желает ли войны сам Сталин?

— Сталин, — парировал Паулюс, — очевидно, исходит из того конкретного положения, что война чревата для его режима многими опасностями. Старые кадры Красной Армии ослаблены, молодые лейтенанты из училищ быстро делаются комбригами. Причины этого явления вам известны. Подбор офицеров совершается не по деловым качествам, а лишь по анкетным данным, чтобы в армию не проникли дети кулаков, дворян и священников...

Не обошлось без вопросов — какой головы в советском Генштабе следует бояться? На это ответил сам Гальдер: его работе в Цоссене противостоит в Москве мозговое напряжение маршала Шапошникова, офицера старой академической школы, эрудита и подлинного мастера большой стратегии:

— С его мнением считается даже Сталин. В случае конфликта Шапошникова можно заранее дезавуировать, подбросив в Москву дезинформацию о его политической неблагонадежности...

Генералы расхаживали среди разложенных на паркете карт Советского Союза. Длинные указки в их руках требовательно постукивали по железнодорожным узлам, тыкались в шахты Донбасса и плавни Астрахани: «А! Вот, Хойзингер, откуда русские черпают икру ковшами экскаваторов...» Мнение же гросс-адмирала Редера было несколько одиозно:

— Паулюс! Вы желаете забраться в Россию непременно с парадного подъезда. Но, по слухам, линия Сталина сильна, как были сильны линии Мажино и Маннергейма. Вы, автор «Барбароссы», не боитесь получить кружкой по черепу?

— На мой взгляд, линия Сталина апокрифична в той же степени, что и наша линия Зигфрида. Парадный подъезд открыт, и, простите, я вас не совсем понял.

— Я бы забирался в Россию с черного хода, — пояснил гросс-адмирал, — где запоры всегда слабее: через Афганистан, через Турцию и Персию. Но для этой комбинации, согласен, прежде надобно усилить армию Муссолини в Африке, чтобы макаронники быстрее выползали к Суэцкому каналу.

— Для этого, — отвечал Паулюс, — пришлось бы резко усилить наши позиции на Средиземном море и обладать Мальтой, а флоты Италии и Германии еще не в силах противостоять флоту великобританскому. Вы знаете, гросс-адмирал, какое сейчас положение в Киренаике — без нашего вмешательства итальянцы не справятся с Уэйвеллом...

Паулюс считал, что для разгрома всех армий СССР вермахту потребуется лишь от четырех до шести недель:

— Господа, это примерно тот срок, который определил для себя и Наполеон в тысяча восемьсот двенадцатом году...

Вечером у него состоялась беседа с Гердом фон Рундштедтом.

— Наш фюрер, — говорил фельдмаршал, — придерживается кон-

тинентальной стратегии, и, подобно Наполеону, он боится воды. Ему приятнее думать, что Англия падет сама по себе, если с Россией будет покончено. Я сидел в окопах еще при кайзере, и по себе знаю, каково мужество русского солдата. Но тогда «Иваны» дрались с нами на польской земле, на земле австрийской Галиции, а... сейчас? Должен огорчить вас, Паулюс: план «Барбаросса» хорош сам по себе, но война с Россией вряд ли может иметь счастливый конец...

Впрочем, Паулюсу подобные сомнения казались напрасными. 18 декабря 1940 года Браухич сделал доклад о завершении плана «Барбаросса», и тогда же фюрер — в присутствии Йодля и Кейтеля — одобрил его особой директивой. (Гитлера хватил бы инсульт и разбило параличом, узнай он только, что ровно через одиннадцать дней эта директива будет лежать на столе в кабинете Сталина — советская разведка сработала, но Сталин счел директиву «фальшивкой», подброшенной ему англичанами.)

— Что слышно из России? — спросил Гитлер. — У меня такое ощущение, будто Сталин боится дышать в мою сторону.

— К сожалению, — ответил Йодль, — информация абвера скудная. Иногда мы довольствуемся наблюдениями из окна уборной в экспрессе «Владивосток—Москва», когда этим маршрутом пользуются наши дипломатические курьеры из Токио.

— И много они увидели, сидя на унитазе?

Кейтель выложил перед фюрером фотоснимки:

— Вот! Даже сидя на унитазе, можно иметь некоторое представление о русских делах... В Сибири замечено скопление воинских эшелонов, вроде бы они передвигаются в западном направлении. Но при этом абвер не подтверждает уплотнения русских войск близ западных границ России.

Гитлер еще раз глянул в свою директиву.

— Ладно, — сказал он. — Впрочем, это лишь план. Начинать же войну с Россией — все равно что отворять двери в темную, никому не известную комнату. А кто там торчит за дверью и что он держит в руках, этого мы пока не знаем. Но мы обязаны начать войну весной сорок первого, ибо вермахт уже более никогда не достигнет той мощи, какой он обладает сегодня...

Перед рейхсканцелярией заиграл оркестр. Свежий ветер трепал над фасадами зданий выцветший лозунг:

«ОДИН НАРОД, ОДНА ПАРТИЯ, ОДИН ФЮРЕР»

По улицам маршировали юнцы из организации гитлер-югенд (от 14 лет и старше), за ними шагали «пимфы» (в возрасте от 6 до 10 лет) — все они были с кинжалами, и под рокот множества барабанов они распевали:

Дрожат одрихлевшие кости
Земли перед боем святым,
Сомненья и робость отбросьте,
И завтра уже победим...

Совещание закончилось. Генеральштеблеры расходились.

— Постойте, — вдруг задержал их Гитлер. — Римский дуче обратился ко мне с просьбою помочь ему в африканских делах. Кто у нас более всех пригоден для выживания в пустыне?

Опережая других, Паулюс уверенно шагнул вперед:

— Нет, не я! — «гавкнул» он. — Но мне известно, что генерал Эрвин Роммель не откажется от любого приказа.

Гитлер понятливо кивнул, одобряя кандидатуру. Но генерал Гальдер потом с неудовольствием выговорил Паулюсу:

— Что вы подсунули нам «швабского задиру»? Роммель — это человек, которого в мирные дни лучше всего держать на железной цепи, а во время войны его лучше всего повесить...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





— Земной шар, — утверждал Гитлер, — это всего лишь переходящий кубок, который достается чемпиону-победителю...

Перед нападением на СССР фюрер поспешно сколачивал громоздкий блок сателлитов. Он обретал союзников из принципа странной немецкой поговорки: «Прошу, будь мне хорошим другом, иначе я шарахну тебя дубиною по башке». Его представители разъехались по столицам Румынии, Финляндии, Венгрии и Болгарии, навестили и Франко в Мадриде. Гальдер нанес визит (и не первый) маршалу Маннергейму в Хельсинки. Паулюсу пришлось срочно вылететь в Бухарест, чтобы обговорить некоторые детали на будущее с диктатором Антонеску, тем более что Гитлера приманивали румынские нефтепромыслы (своего горючего не хватало). Задача Паулюса осложнялась тем, что король Михай шел на поводу Антонеску, а вот его жена, королева Елена, была настроена против Гитлера. Паулюс в переговорах преуспел, ибо ему помогли родственные связи — шурин Паулюса, кузен его очаровательной Коко, состоял при дворе королевской четы...

Из Будапешта Паулюс вернулся в Берлин, окрыленный успехом в переговорах. Берлин встретил его оттепелью, а жена — первыми фиалками. Из-под колес генеральского «мерседеса» выплескивало струи талой воды. Паулюс тронул руку жены.

— Моя любимая женщина, «тихо скрипка играет, а я молча танцую с тобой». Видишь, Коко, как все удачно складывается?

— Ах, Фриди, я очень боюсь, что будет война с Россией... Но я, как жена твоя, конечно, радуюсь твоим успехам. Прости, — сказала Коко, — у меня даже появилась одна сокровенная мечта: я давно вижу тебя фельдмаршалом. Не смейся! И пусть твой маршальский жезл сверкает алмазами и рубинами...

...Сталинград? Пожалуй, Коко и не знала такого города, в подвалах которого ее муж станет фельдмаршалом.

## 12. СЛЕД ЛЬВИНОЙ ЛАПЫ

— Италия, — сказал дуче, — ах, как любит меня Италия!

Лязгнуло железо затворов громадного вольера, за прутьями решетки нервно похаживала разъяренная львица, стегая хвостом по воздуху. Бенито Муссолини бесстрашно шагнул в клетку.

— Италия,—нежно позвал он хищника.—Неужели ты не узнала меня... своего любимого дуче?

Иностранные корреспонденты раскрыли блокноты, а кинооператоры разом вскинули свои камеры, дабы запечатлеть исторический момент. Италия (такова была кличка львицы) ткнулась в колени Муссолини, потом, поднявшись на задние лапы, облизала лицо диктатора горячим языком, шершавым, как наждачная бумага.

— Снимайте! — крикнул дуче корреспондентам.— Пусть эти кадры сохранятся для потомства, и пусть все в мире знают, как горячо любит Италия своего великого дуче... Недаром же я поклялся оставить в истории след львиной лапы!

Африка — вот куда влекло вождя партии фашистов, и он, дуче, с гордостью носил на черной рубахе значок этой партии, который в итальянском народе называли «клопом».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Фридрих Паулюс и Эрвин Роммель встретились под сводами богатого отеля «Адлон» — ради ужина, чтобы поговорить.

«Адлон» являлся прибежищем высокопоставленных нацистов и богатой публики. Здесь никто не думал о повышении квартирной платы или о том, как растянуть на всю неделю 500 граммов мяса по карточкам. Звучала тихая музыка, не мешавшая беседовать. Струились фонтаны с водою, подсвеченной прожекторами.

Между столиков в узких трико телесного цвета дефилировали с корзинами цветов кокетливые девицы, главная из них била в барабан.

Роммеля всегда отличала приятная белозубая улыбка, в его глазах светилась сила ума и сдержанной злости. Сейчас, как и в молодости, друзей сближали крайности характеров: Роммель горяч, а Паулюс холоден. Роммель уже был извещен о том, что его ждет Африка, и он почти невозмутимо выслушал от Паулюса, что Муссолини постоянно колотят:

— Бьют в Ливии, бьют в Греции и даже (стыдно сказать) в ничтожной Албании. Фюрер потому и счел нужным поддержать дуче ради политического престижа фашизма, столь родственного идеям национал-социализма. Мало того,— сказал Паулюс,— фюреру совсем не хотелось бы залезать в пекло Африки.

— Тогда на кой черт сдались Киренаика и Мармарика?

— Личная услуга фюрера, оказанная Муссолини.

Роммель что-то прикинул в уме:

— Как далеко бежали итальянцы от англичан?

— Образовался разрыв миль около трехсот.

— А сколько танков у британского Уэйвелла?

— Двести. В основном — «Валентайны» и «Матильды», броня которых легко протыкается пальцем, если ты его прежде смажешь вазелином. В этих танках мало брони, зато много пластмассы, и потому они горят, как пасхальные свечи. Уэйвеллу не хватает утяжеленных «Черчиллей», у которых защита приличнее. Я не думаю,— сказал Паулюс, поднимая бокал с кьянти,— что тебе будет там трудно. Английские позиции удерживают колониальные новозеландцы, австралийцы, индусы. Наконец, там собрались и поляки, которых мы не добили. В пустынях у англичан появился даже еврейский батальон.

— Ого! — развеселился Роммель.

— Но помни, Эрвин, что мой шеф относится к тебе паршиво, даже не скрывая, что тебя надобно бы повесить.

— Обоюдная антипатия. Гальдер считает меня авантюристом, и теперь он станет всюду хватать меня за хлястик.

— Не зарывайся,— посоветовал Паулюс.— Нам в Ливии требуется устойчивое состояние обороны, не больше! Из тебя хотят сделать броневую заслонку. Твои действия в Африке — лишь отвлекающий маневр. Пусть в мире думают, что Гитлер завяз под Тобруком, а тогда в Москве даже кошка не шевельнется... Это как раз то, что нам сейчас и требуется. Ты понял?

Девицы в трико отработали «шаг на месте», барабан отчеканил солдатский мотив: «Был у меня товарищ, был у меня товарищ...» В облике Роммеля что-то изменилось.

— Нет, я возьму Тобрук,— вдруг жестко произнес он.— Я превращу этого Уэйвелла в жалкое дерьмо — *назло Гальдеру*, и не меня, а именно его, твоего шефа и мерзавца, надо повесить.

Паулюс отрезал крылышко от фазана. Подумал и аккуратно переложил на свою тарелку жареные каштаны. Сказал:

— Гальдер не даст подкреплений. А фюрер никогда не станет снимать с Востока силы ради твоих амбиций.

Роммель равнодушно обозревал девиц, думая о своем:

— А если фюрер все-таки поддержит меня в пустынях Ливии ради собственного престижа и престижа германского оружия?

— Вряд ли,— отозвался Паулюс.— В африканских делах он всегда согласится с мнением ОКХ и... того же Гальдера. Не забывай, приятель, что мы имеем дело с большой стратегией, а эта штука всегда связана с большой политикой.

— А меня разве посылают творить маленькую?

— Не сердись, Эрвин, у тебя же светлая голова: сам должен понимать, что одна Москва стоит Тобрука, Мальты, Каира и... Лучше выпьем за старую дружбу! Прозит...

Эти два человека, столь разные и почти несовместимые, еще не думали, что их армиям суждено иметь *единую и общую цель:* Роммель с берегов Нила, а Паулюс с берегов Волги должны были, по замыслу Гитлера, образовать гигантский охват, чтобы в конце концов пожать друг другу руки где-либо на Ближнем Востоке... скажем, в Бейруте или, допустим, в Дамаске.

— Грузиться с войсками станешь в Сицилии,— сказал Паулюс.

— Надеюсь, дуче примет нас с уважением...

Бенито Муссолини? Да, он тоже оставит свое имя в истории Сталинградской битвы, чтобы, как говорят русские, «хлебнуть шилом патоки». Золотой «клоп» вползал по его черной рубахе — ближе к шее, за которую он будет повешен.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Скромный чистильщик обуви на римских улицах Бруно Каверно наярил ботинки прохожему пижону и соизволил сказать:

— А наш дуче скоро подохнет от рака.

Его тут же взяли и потащили. В полиции спрашивали:

— Откуда знаешь, что наш великий дуче болен раком?

— Так об этом в Италии все говорят.

— И ты в том числе? Так собирай свои щетки с гуталином. Мы сошлем тебя на остров Пиццу, где до конца жизни будешь наяривать до нестерпимого блеска босые ноги у тамошних ссыльных... Следующий! Кого там еще взяли?

Бенито Муссолини... Об этом человеке можно сказать кратко: соревнуясь с фюрером, он всегда хотел догнать его и перегнать, но каждый раз срывался со старта, когда Гитлер уже рвал грудью финишную ленточку. Однако эти соревнования итальянского фашизма и германского национал-социализма очень дорого обходились всем чистильщикам обуви. Не так уж прост был дуче, как иногда о нем думают, «он не был банальным реакционером,— писал наш историк.— Муссолини был человеком толпы, который обладал чутьем масс, политической интуицией, организационной сноровкой, беззастенчивым практицизмом. Это был артист действия, подстрекаемый личным честолюбием, неутомимой волей и необычайной умственной возбудимостью. Сам он говорил о себе в духе Маринетти: «Я слушаю голос своей крови...»

Что там Маринетти? Муссолини и сам был мастак на афоризмы:

— Не для того я создавал мощное движение фашизма, чтобы теперь торчать возле окошка, наблюдая за тем, как резвятся эти берлинские щенята. Пусть Гитлер знает, что я, дуче, рожден оставить после себя на скрижалях истории глубокий след от когтей львиной лапы...

Вот с этими скрижалями ему, прямо скажем, не везло!

Гитлер, как мировой рекордсмен, до того обнаглел, что даже не считал нужным оповещать своего партнера о предстоящих чемпионатах, ставя рекорды самостоятельно. Он высадился в литовском Мемеле, он вкатил свои танки в Прагу, а потом уж слал в Рим своих курьеров, извещая партнера о своих рекордах, и Муссолини просто сатанел от ярости.

— Каждый раз, утолив потребности своего пищеварения, фюрер извещает меня, что временно сыт, после чего и отрыгивает в сторону великого Рима...

Желая опередить фюрера на Балканах (куда тот, конечно, полезет), Муссолини, не предупредив Гитлера, захватил Албанию, из которой король Зогу бежал, теряя на бегу свои чемоданы и оставляя на станциях женщин из своего гарема. Завидуя успехам Гитлера в войне с Польшей, дуче — назло Гитлеру! — высадился в Греции, но там по-

томки античных героев так поддали ему, что итальянцы бежали. Как это ни печально, пришлось просить о помощи в Берлине — у того же фюрера. Потом — Франция! Муссолини долго крепился, сохраняя нейтралитет, втайне надеясь, что Гитлер в беге с барьерами сломает себе шею. Но когда вермахт готов был вот-вот войти в Париж, дуче объявил войну французам, а заодно велел устроить затемнение в Риме. Но Гитлер словно не заметил его усердия, от победы над Францией дуче получил только крошки с чужого стола и огорченно сказал:

— Ладно! Включайте все фонари на улицах Рима, а то мои итальянцы, пользуясь мраком, слишком уж расшалились...

Зависть к ошеломляющим успехам Гитлера и даже некоторый страх перед Берлином глодали дуче давно. Гитлер, не желая портить отношения с Римом, пригласил дуче в Германию, чтобы обсудить вопросы на ближайшее будущее. Накануне их встречи итальянская разведка «вышла» в Неаполе на красивую даму и немецкого полковника, в нее влюбленного. Но эта дама, будучи замужней, оказалась неподатлива, а портфель полковника сулил интересные открытия в области итало-германских отношений.

— Пусть эта дама устроит немцу пылкую ночь любви — такую, чтобы штукатурка с потолка сыпалась! — повелел дуче.— Скажите ей, что с нею я расплачусь с а м... из партийной кассы!

Сверхуникальная пылкость дамы стоила полковнику пропажи секретной директивы Гитлера от 18 декабря 1940 года, которая одобряла план «Барбаросса». Дуче покоробило, что в директиве о нем и его армии даже не упоминалось. Выходит, будущие услуги этих мадьяр, валахов и чухонцев Гитлер оценивает дороже боевого пыла прегордых римских берсальеров.

— Фюрер,— заметил дуче,— наверное, решил, что я опять буду смотреть в окошко, как он вывозит из России эшелоны всякого добра... У меня в Сицилии даже мафиози честнее!

19 января 1941 года состоялось свидание диктаторов в Зальцбурге. Дуче был мрачно-подавлен, он посматривал на Гитлера, как обреченный бык на искусного тореадора. Эта встреча по времени совпадала с оживлением англичан в Северной Африке: генерал Уэйвелл не только потрепал итальянцев, но англичане даже разрезали колючую проволоку вдоль неприступной «линии Муссолини».

В беседе с дуче фюрер сознательно помалкивал о предстоящем нападении на Россию, хотя мнимая «угроза с Востока» отчасти и присутствовала в их разговорах, как необходимая приправа к мясному блюду. Наконец дуче не выдержал игры в кошки-мышки, ибо через пылкую даму в Неаполе замыслы Германии он уже знал.

— Фюрер! — браво заявил Муссолини.— Если вы решили поднять над миром знамя борьбы с большевизмом на Востоке, то моя фашистская Италия никак не может остаться на обочине шоссе...

Ему уже виделись грохочущие с Донбасса эшелоны, заваленные антрацитом, дуче уже засыпал украинским зерном римские закрома, он уже добавлял в свое железо порции русского молибдена и вольфрама.

— Дуче,— отвечал Гитлер, загоняя его мысли обратно под жгучее солнце Африки,— если в Ливии вам понадобится моя помощь, я согласен выделить хорошую панцер-дивизию.

— Не возражаю. Пусть ею командует Гудериан!

«Много захотел этот макаронник...»

— Нет, дуче. Гудериан нужен мне для других дел, а я пошлю в Ливию коменданта своего поезда Роммеля, и этот генерал для Африки как раз подойдет. Но я оставляю за собой право забрать свои танки из Ливии не позднее весны этого года.

Муссолини сообразил: «Вот дата нападения на Россию...»

— Благодарю, фюрер! Но в оперативном отношении Роммель обязан подчиниться моему генералу Итало Гарибальди, это образцовый фашист, мастер дерзновенных атак, и пусть ваш Роммель поучится петь у моих кадровых запевал.

— Согласен. Но вы, дуче, пришлите мне побольше своих итальянцев — мои заводы нуждаются в рабочих. Если Италия не даст Руру шахтеров, она не получит и куска угля...

Вернувшись из Зальцбурга, дуче показался врачам:

— Мои паршивые итальянцы болтают на улицах, будто у меня метастазы и я, как последний идиот, сдохну от рака. Ну-ка, проверьте, как обстоят со мною дела... Ваш точный диагноз я опубликую в партийных газетах, чтобы все итальянцы заткнулись и помалкивали.

Потом он устроил генеральную «чистку» в армии и в рядах своей закаленной партии. Для этого он никого не сажал за решетку, как это делал Гитлер, никого не тащил в подвал, чтобы прикончить, как это делал Сталин,— нет, Муссолини был умнее всех: он устроил для своих генералов и партийных функционеров спортивные состязания.

— Зажрались! — сказал он своему зятю графу Чиано, который ведал иностранными делами.— Вот сейчас мы и проверим, кого оставить, а кого гнать в отставку на пенсию...

Началось! Бег на короткую и длинную дистанцию. Прыжки с шестом. В длину и в высоту. А те, кому было уже за шестьдесят, катались на велосипедах или скакали на лошадях. Всех, кто не одолел нормы, положенной в массовом спорте, сразу удаляли из кадровых офицеров армии. Дуче сам ругался со своими ветеранами, соратниками по всяким прежним делам:

— Что ты мне тут воркуешь о своих заслугах перед фашизмом? Ты лучше посмотри на свое брюхо. А... ноги? Разве такие ноги должны быть у ветерана великой партии, созданной в борьбе за светлые идеалы фашизма? Не спорь. Великие идеи нуждаются в сильных исполнителях, способных не только разевать рты на митингах, но и прыгать с шестом, не касаясь планки... Проваливай!

Сам же дуче в соревнованиях не участвовал. Спортивные состязания он заменял любовными похождениями. Ему нравилось по ночам шляться без всякой охраны по улицам Рима, выискивая «рагацуоне» (доступных бабенок) помоложе. Потом он возвращался домой к своей жене, донне Раккеле, и всегда радовался, когда его узнавали в потемках прохожие, а в столице шли разговоры:

— Дуче-то наш... каков молодец! Уж сколько лет во главе партии, а все еще по «рагацуоне» стреляет. Воротник подымет, шляпу на глаза нахлобучит и думает, что его не узнают... Мы всё знаем! Знаем, что скоро загнется от рака...

Однажды, когда Муссолини проезжал по Риму, приветствуемый прохожими, из толпы раздался дикий женский вопль:

— Хочу ребенка от дуче! Только от дуче...

В таких делах отказывать женщине нельзя, и Муссолини велел найти кричавшую женщину, которая оперативно быстро забеременела. Это была рыжекудрая Клара Петаччи, которую итальянцы и повесили потом вместе с отцом ее ребенка, но повесили не за шею, а вниз головами — за ноги. Впрочем, до этого было еще далеко, и улицы гордого Рима украшали броские плакаты:

НАШ ДУЧЕ ВСЕГДА ПРАВ!

22 января английская армия Уэйвелла взяла Тобрук.

Итало Гарибольди (самый главный «запевала», по словам Муссолини) первым стал паковать чемоданы, его офицеры мигом опорожнили бутылки с минеральной водой «Рекоаро».

Солдаты армии Гарибольди дружно собирали манатки.

Предстоял массовый забег на длинную дистанцию.

Кому драпать до Мессины, кому и дальше — аж до Турина...

Но в эту панику вдруг врезались танки Эрвина Роммеля!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В то, что Советский Союз рано или поздно собирается нападать на Германию, Фридрих Паулюс никогда не верил (ни в кабинетах Цоссена, ни в домашнем кругу он таких подозрений никогда не высказывал — факт известный!). Сейчас его, завершившего план «Барбаросса», угнетали совсем иные сомнения, и он решил повидаться с генерал-полковником Людвигом Беком...

Бек, предшественник Гальдера, смирился с аншлюсом Австрии, но после захвата Чехословакии пришел к выводу о неизбежности краха Германии в ближайшем будущем. «Чтобы разъяснить будущим историкам нашу позицию, я как начальник генерального штаба официально заявляю, что отказываюсь одобрять национал-социалистические авантюры (фюрера). Окончательная победа Германии невозможна»,— с такими-то вот словами Людвиг фон Бек — фигура в общем-то трагическая! — и уступил свое кресло Францу Гальдеру.

Паулюс хотел повидаться именно с Беком, а тот, хорошо информированный, встретил его неприязненно:

— Мне, честно говоря, не по душе ваша игра с Востоком. Не стану приводить хрестоматийный пример Наполеона, лучше напомню слова Фридриха Великого: «Всякая вражеская армия, осмелившаяся проникнуть до Смоленска и далее, безусловно, найдет себе могилу в русских степях...».

Паулюс наивно аргументировал свою защиту:

— А что имел тогда король? Кавалерию двух алкоголиков — Циттена и Зейдлица? Теперь же, в век моторов, гладкие степи как раз и являются лучшим рельефом для развертывания танков в самую глубину стратегических направлений.

Казалось, Бек был знаком с планом «Барбаросса».

— Я не знал, Паулюс, что вы готовитесь в новые Шлифены! — с ядом на устах произнес он.— Но и Шлифен оказался в дураках, ибо не учел наличия второго фронта.— Бек вдруг заговорил об узости доктринерского мышления профессионалов-генеральштеблеров, считающих войну наивысшей формой человеческого самоутверждения: — Односторонность такого мышления, Паулюс, может завести вас в степях очень далеко... и даже не в ту сторону! Я всегда ратовал за усиление вермахта, но пора бы немцам подумать, что армия не обязательно должна служить только войне. Не забывайте и о личной ответственности каждого полководца.

Паулюс не ожидал такого «благословения», ради которого, кажется, и явился к отставному стратегу.

— Простите. Если приказ дан, я его выполню.

— Даже если он преступен? — усмехнулся Бек.

— Однако преступен и тот, кто не исполнит приказ высшего командования,— возразил Паулюс.— Из этой альтернативы образуется колдовской круг, из которого нам, военным специалистам, уже никогда не выбраться.

—Но я-то,— воскликнул Бек,— *я выбрался!..*

Паулюс молча откланялся, и они расстались.

Дома Паулюс застал барона Кутченбаха.

— Вы чем-то встревожены? — заботливо спросил зять.

— Может быть. После разговора с Людвигом Беком остался на душе скверный осадок, как в кружке с дурным пивом. Стоит ли так жестоко морализировать, если развитие боевой техники уже давно перечеркнуло все христианские добродетели Гаагской и Женевской конвенций? Я совсем не думаю, что мы придем в Россию как спасители, а русские встретят нас как великие гуманисты... Наши древние боги всегда алчут крови!

Беседа же с Беком долго не забывалась и будет мучить Паулюса даже в России — за колючей проволокой лагеря № 27. Не это ли порицание фон Беком его, автора плана «Барбаросса», через три года



и заставит Паулюса шагнуть к микрофону московского радиовещания, чтобы сказать всем немцам:

— Внимание! Это говорю я, фельдмаршал Фридрих Паулюс, которого в Германии объявили мертвым...

## 13. А ТЕПЕРЬ МОЖНО ТАНЦЕВАТЬ

Коричневая чума расползалась по миру — как злокачественный лишай. В марте немецкие войска уже хозяйничали в Болгарии, Антонеску расквартировал в Румынии 20 германских дивизий, в Финляндии немцы вели себя как дома; маршал Маннергейм даже отменил в стране «сухой закон» — ради приятных союзников, желающих выпить и закусить копченой салакой. Гитлер направил армию в Грецию, дабы выручить разбитого там эллинами Бенито Муссолини. Паулюс в это время горячо одобрял нападение на Югославию, связывая его (хотя бы теоретически) с предстоящим вторжением в пределы России: «Нашими целями в данном случае,— писал он,— было прежде всего иметь свободным свое правое плечо, когда мы нападем на Россию...»

Гитлер распорядился выделить дивизии для дуче в Албании:

— Без нас ему даже с янычарами не справиться...

Наверное, в Москве уже обратили внимание, что штабы армий Теодора фон Бока и Ганса-Гюнтера фон Клюге разместились в Познани и Варшаве; пока эти фельдмаршалы держали войска подальше от рубежей СССР, чтобы Москва не слишком-то волновалась. В это же время, громыхая газами мощных выхлопов, включив боевые прожекторы, танки Роммеля, высадившиеся с кораблей в Триполитании, уже рвали железными траками полосы верблюжьих колючек, танки величаво удалялись в пустыни Киренаики. Немецкая агентура подняла восстание в Сирии, возникли волнения в сопредельном Ираке — и это понятно, ибо Гитлер, как и Наполеон, объявил себя большим другом и защитником мусульманского мира...

Немецкие агенты уже давно проникли в Крым, где вели среди татар умелую пропаганду, взвинчивая мусульманский фанатизм. «Германский эффенди Адольф,— говорили они татарам,— родился с зеленой каймой вокруг живота», — что является несомненным признаком мусульманской святости...

Был февраль 1941 года, когда Паулюс застал Гальдера в гордом одиночестве, на столе начальника генштаба валялся «Милитервиссеншафтлихе рундшау» — главный печатный орган ОКХ.

— Читали? — спросил Гальдер, с линзой в руках чуть ли не животом ползая по огромной карте.— Информация Кёстринга о переменах в Москве подтвердилась. Сталин сделал умного Шапошникова заместителем Тимошенко, а начальником в Генштабе выдвинул какого-то вундеркинда по фамилии Жуков... Случайно не того, что был при Халхин-Голе?

Пришлось потревожить полковника Адольфа Хойзингера, большого знатока Красной Армии, который и доложил:

— Жуков. Георгий. Отца звали Константином. Пошел наверх. Он резок. Порою нетерпим. Женат. Имеет дочь. Пожалуй, первым он применил массированный танковый удар на рубежах Монголии, с чего и началось его выдвижение. В отличие от Шапошникова, который вел себя со Сталиным независимо, Жуков, только что появясь в Генштабе, вряд ли проявит себя в полной мере.

— Все? — спросил Гальдер, отбросив линзу.

— Пока все. Будущее покажет, кто такой этот Жу-жу-ков...

Отпустив Хойзингера, Гальдер жаловался Паулюсу:

— Уже не хватает пробок, чтобы заткнуть все дырки в нашей разбухающей бочке. Видите, сколько фронтов сразу... тут сам дьявол ногу сломает! Кому что дать, у кого что отнять. Отныне нам, Паулюс,

ничего не остается, как перенести сроки нападения на Россию... Может, оно и лучше? Дороги подсохнут...

27 марта 1941 года Паулюс был приглашен на «большой ковер» в рейхсканцелярию. В центре огромного зала состоялась нервная беседа Гитлера с Йодлем и Кейтелем. ОКВ было взволновано. Гитлер с пафосом рассуждал, что от перенесения сроков на июнь планы войны с Россией не пострадают.

— Да, Югославия нас задержит,— признал он,— сербы очень воинственны. Надо сразу же натравливать на них усташей-хорватов Анте Павелича. Труднее всего справиться с авторитетом России на Балканах, который она вполне заслуженно приобрела в борьбе за свободу славян... Успокойте же Браухича: двух летних месяцев вполне достаточно для полного сокрушения России... Паулюс, где вы? Подойдите ближе. Вам предстоит слетать в Будапешт и нажать на мадьяр, чтобы их гонведы помогли нашей пехоте в Югославии... Йодль, не хватит ли шептаться с Кейтелем? Я все слышу. Заверяю вас, что никакой зимней кампании в России не будет. Все решится в летний период, и только мухи с комарами станут помехой нашим гренадерам...

— Как бы мы ни секретничали,—напомнил Йодль,—но апрель станет конечным месяцем, когда произойдет неизбежная утечка информации... Русские наверняка всё уже знают!

Паулюс, глянув на фюрера, скупо улыбнулся:

— Если они знают, то почему же держат свои главные силы стоящими от рубежей на триста и даже четыреста километров? Красная Армия эшелонирована в глубину вплоть до Днепра. Их боевой максимум отодвинут к востоку, а мы против слабого минимума выставляем свой мощный максимум. Склады снабжений и аэродромы русских сосредоточены возле самых границ, что позволит нам сразу же их уничтожить.

— Паулюс более объективен,— поддержал его Гитлер.

— Благодарю, но это не моя заслуга — абвера...

На всякий случай, чтобы заглушить подозрения, Москве было предложено участие на Лейпцигской ярмарке и международной выставке в Вене. Геббельс охотно подключился в работу по дезинформации. Германия наполнилась слухами, будто следует ожидать визита Сталина в Берлин, уже скуплена вся красная материя, чтобы ко дню его приезда украсить столицу рейха красными флагами. И Сталин — таковы были слухи — уже согласен отдать фюреру Украину «во временное пользование».

Но тут начались осложнения, которых никто не предвидел. Роммель уже дал понять генералу Итало Гарибольди, кто тут господин, а кто лишь слуга, и взял командование в свои руки. На вопрос Гарибольди, что ему делать, Роммель ответил:

— Будете меня догонять. У вас спорт в почете...

Никого не оповестив (ни Рим, ни даже Берлин), он с ходу ворвался на танках в Бенгази. По дороге ему попались два английских генерала, Ним и О'Коннор, которые никак не ожидали оказаться в плену:

— Ваши действия превосходят все наши ожидания.

На это Роммель отвечал им:

— Возможно! А что толку с ваших трех танков против одного моего, если вы не умеете определить их цели?

Уверенность Роммеля в превосходстве своего ума и немецкой техники была столь велика, что он не боялся вровень с танками загонять в гущу боя даже бронетранспортеры с пехотой. Кажется, будь у него телеги или стадо баранов, он бы и их зажал в центр сражения.

Почему-то все испугались его усердия. Не только в Каире и Лондоне, не только в Риме, но даже... даже в Берлине! Роммель за две недели захватил у англичан всю область Киренаику (кроме Тобрука, который в кольце осады оказался далеко в тылу его танкового корпуса)...





Гальдер самоуправства не терпел:

— И это ваш приятель? — выговорил он Паулюсу.— Сразу видно, что он пересел в танк из-за столика вагона-ресторана фюрера, сильно покачиваясь. Германия в канун войны с Россией не может позволить себе такую роскошь — иметь активный фронт в Африке. Роммелю указывалось оборонять Триполи, а он выкатывает свои ролики уже на границы с Египтом...

Германия отмечала 52-летие Гитлера; бывший командир Паулюса, генерал Рейхенау, выступил по радио, сравнивая Гитлера с Фридрихом Великим, Клаузевицем и Мольтке. Немцы в Берлине бестолково судачили: почему не приезжает Сталин?

— Украина сейчас нам бы не помешала! И нам было бы приятно видеть Сталина с фюрером на балконе рейхсканцелярии. Вот тогда бы Черчилль обкакался!

Роммелю из ОКХ переслали приказ: перейти к жесткой обороне. Но корпус Роммеля катил на роликах дальше.

— Он теперь требует,— возмущался Гальдер,— чтобы в его танки вмонтировали кондиционеры воздуха. Что он? Совсем спятил? Скоро танкисты в России попросят, чтобы в танках поставили печки и заготовили дровишки. А дым будет выходить через пушку?

— Поймите,— доказывал Паулюс, защищая приятеля,— танк сам по себе словно консервная банка, мы во Франции воевали в одних трусиках, а здесь... Африка! Песчаное пекло.

(Как пишет наш военный историк В. Секистов, «боевые действия в Северной Африке были тесно связаны со многими важнейшими вопросами политики и стратегии... Гитлер серьезно помочь Муссолини не мог и не хотел, так как в это же время фашистская Германия интенсивно готовилась к нападению на СССР».)

Муссолини послал Гитлеру *протест*, требуя, чтобы Берлин образумил этого «безумца», который рискует только своей головой, но терять-то колонии в Африке придется не Роммелю, а Италии! В ответ на протест дуче Роммель вышел на египетскую границу, и тогда король Фарук устроил в Каире антибританскую демонстрацию под лозунгом: «ВПЕРЕД, РОММЕЛЬ!» — английская марионетка, король Фарук, прислужничая Лондону, заодно уж и заигрывал перед всемогущим Гитлером и Муссолини...

Кейтель с Йодлем в ОКВ устроили срочное совещание:

— Роммель своими претензиями на звание нового Александра Македонского губит осуществление всего плана «Барбаросса». Африканский театр всегда остается для нас *только вспомогательным*, пока мы не разделались с Россией...

Гальдер очень сурово смотрел на Паулюса:

— Итак! — решил он.— Фюрер требует связать этого сумасшедшего. Кейтель хотел бы отправить в Ливию меня. Но мое личное вмешательство, боюсь, позволит Роммелю возомнить о себе черт знает что. Вы же с ним давние приятели, вот вы и напяливайте на Роммеля смирительную рубашку...

Поздно вечером 24 апреля самолет с Паулюсом приземлился на аэродром в Бенгази, где его поджидал Роммель:

— Сознавайся, тебя прислал Гальдер... из ОКХ?

— Кейтель... из ОКВ,— сфальшивил Паулюс.— Эрвин, что ты натворил тут? Ведь Германии и фюреру пока безразлично, чей Тобрук — твой или Уэйвелла... Пусть об этом болит голова у дуче Муссолини.

Роммель пригласил его в свой бронетранспортер:

— Поехали! Какие последние анекдоты в Берлине?

Усаживаясь удобнее, Паулюс рассказал анекдот:

— Приехал дуче к нашему фюреру. Сидят, разговаривают, Гит-

лера позвали к телефону, а Муссолини без него стал открывать бутылку с шампанским. Тут шампанское «выстрелило» пробкою — прямо в глаз. Вернулся фюрер в кабинет и развел руками: «Ах, дуче, дуче! Стоит мне хоть на одну минуту оставить тебя одного — и ты уже в синяках...»

Они мчались через пустыню, исполосованную гусеницами танков. Где-то на горизонте факелом догорал сбитый британский «харрикейн». Быстро темнело. Роммель достал из мешка алжирское вино и крупные апельсины из Марокко. Бронетранспортер взрывал грудью песчаные эскарпы, словно хороший бульдозер. Генералов мотало, как катер в море.

— Откуда у тебя все с марокканскими этикетками?

Они хлебали вино прямо из горлышка бутылки. Роммель старался перекричать грохот дизеля, рассказывая:

— Вино и фрукты поставляют французы — те, что верны Петену и его шайке, а не этому... как его?.. Де Голлю...

Сначала разговор шел чисто профессиональный:

— Мои ролики отработали на повышенных режимах, моторы уже исчерпали свои ресурсы, пора их заменять новыми... Знаю, что ты скажешь. Но здесь особые условия — Африка!

Грохот. Пылища. Визг металла, скорость.

— Пойми,— кричал ему в ухо Паулюс,— в России тоже особые условия, и каждый резервный мотор в Германии на счету...

Они приехали на КП. Роммель показал вдаль:

— Вот и Египет... Есть способ образумить Гальдера и завистников: для этого я возьму Каир, чтобы танками контролировать Суэцкий канал. Что мне Фарук? Я сделаю из него домашнюю обезьяну, чтобы она подавала мне кофе в постель.

Роммель сбросил с головы пробковый шлем. В командном шатре его ожидал араб, с которым он быстро переговорил через переводчика-итальянца. Паулюс спросил — кто это?

— Анвар ас-Садат, офицер короля Фарука. Меня ждут в Каире. Я знаю все. Вплоть до цен на коньяк в отеле «Семирамида». Берберы на верблюдах таскают для меня бидоны с водою. Я расплачиваюсь с ними бусами и свертками синего маркизета.

Паулюс предъявил ему суровые обвинения ОКХ.

— А выйти к Суэцу тебе сейчас никто не позволит. Своим прорывом к Египту ты невольно подрываешь все наши планы восточной кампании. Фельдмаршал фон Клюге давно торчит в Варшаве, обложившись литературой о Наполеоне, чтобы не повторить его гениальных ошибок с Россией...

— Нашли учителя! — долго и взахлеб хохотал Роммель.

В его окружении Паулюс встретил сослуживца своих молодых еще лет — генерала Генриха Кирхгейма, с которым когда-то служил в Альпийском корпусе и они оба одинаково страдали общим недугом — дизентерией.

— Генрих, ты неважно выглядишь,— сказал Паулюс.

— Что? Ах! — отмахнулся Кирхгейм.— Здесь могут выжить только берберы да скорпионы. Говорят, в Берлине уже спланировали поход на Россию... я бы хотел лучше топать по грязи русских, только бы вырваться из этого пекла!

Зенитным огнем был подбит британский самолет, летчик выбросился с парашютом и сдался в плен с таким надменным равнодушием, будто оказывал немцам величайшую услугу.

— До вашего прибытия в Ливию у нас каждый день войны был днем кайфа. В полдень мы бросали позиции и разъезжались по барам Каира, до пяти у нас была «сиеста» в шезлонгах, потом снова выезжали на фронт, который и закрывали в семь тридцать до следующего утра... Вы нам все испортили! — сказал летчик.



Роммель ответил пленному, что прежняя договоренность между Гарибальди и Уэйвеллом — не беспокоить противника, когда он освежается в море или загорает на пляжах, эта джентльменская договоренность пусть остается в силе.

— Но будь я на месте Рузвельта,— сказал Роммель,— я бы вам, англичанам, не послал по ленд-лизу даже коробки спичек. Зачем вам танки и самолеты, если вы все равно не воюете? Для вас партия в бридж или в теннис важнее проигрыша в бою... Уведите его к чертовой матери!

— Англия,— крикнул на прощание пленный,— способна проиграть все битвы, чтобы обязательно выиграть самую последнюю. В финале у нас тоже будет очень громкое Ватерлоо...

Паулюс проворчал, что не видит в Англии герцога Веллингтона. А беседы друзей проходили трудно. Лишь 3 мая Паулюс от увещеваний перешел к повелительному тону ОКХ:

— Эрвин, оставь в покое Тобрук, этот африканский Верден! Ты имеешь право продвинуть свои танки в Киренаике только в том случае, если Уэйвелл отведет свои танки назад.

— Слышу голос Гальдера,— догадался Роммель.

Паулюс ответил, что в Берлине его стали считать «несоответствующим должности», и, если Роммель не станет вести войну только оборонительную, с ним быстро расправятся. Паулюс по радио передал жене известие о себе, что жив-здоров, но согласен взять на себя командование Ливийским фронтом (Коко отвечала ему: «Не берись за это! Что будет с тобою, если тебя сцапают в Африке?..»). Наконец, вынужденный подчиниться, Роммель велел радировать в Бенгази, чтобы самолет Паулюса ставили на заправку.

— Русские еще не воюют, но уже начали побеждать... пока что здесь, в африканских пустынях! Не будь вашего плана «Барбаросса», и фюрер задарил бы меня орденами и новенькими роликами, уверен, он пролил бы над Ливией бензиновые дожди, чтобы я со своими солдатами завтракал у каирской «Семирамиды»...

— Ты не в обиде на меня, Эрвин?

— В стратегии я разбираюсь не хуже Гальдера. Вы остановили меня у ворот Египта, ибо русский фактор уже начинает диктовать мне свою волю.— Друзья вернулись в Бенгази, стали прощаться.— Догадываюсь,— с понурым видом сказал Роммель,— что отныне я зависим от Восточного фронта. Будет Клюге нажимать в России, я буду нажимать в Африке, побежит Манштейн из России, тогда я буду драпать из Ливии...

Этим выводом Роммель доказал, что он человек умный, далеко видящий, и слова его — сущая правда. «Советский фактор сковал средиземноморскую стратегию еще *задолго* до нападения на СССР»,— так пишет наш великолепный историк В. И. Дашичев, трудами которого я пользовался.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Хищные орлы гитлеровской империи еще цепко держали в раскинутых когтях серп и молот. 1 мая 1941 года газета «Дер ангриф» вышла под прежним девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Но первомайской демонстрации в Берлине уже не было. Гитлер в этот день потребовал от рабочих занять места у станков. Геббельс не вылезал из радиостудии, часами прослушивая мажорное звучание воинственных фанфар. Раньше сводки вермахта «выпускались» в эфир под музыку «Прелюдов» Листа, а будущие победы над русской армией Геббельс хотел бы оформить более торжественно. Вероломно усыпляя бдительность обывателей, министр пропаганды 10 июня вдруг снял запрет... на танцы. В это же время, пока немцы отплясывали, радуясь движению своих еще целых конечностей, войска вермахта скрыто уже

сосредоточивались на исходных рубежах, готовые обрушить пограничные столбы нашей великой державы...

— Еще один вопрос,— сказал Паулюс, застав Франца Гальдера за поливкой цветов.— Нам уже не сдержать любопытства солдат, эшелонированных под самым носом России. Начинаются сплетни, вредные домыслы. Все труднее убеждать войска, что они собраны возле Бреста и Львова для нападения на... Англию.

Гальдер опустошил лейку над цветущей резедой.

— Можно вести «пропаганду шепотом», будто Сталин согласился на пропуск вермахта через всю свою страну для нападения на... Индию. Якобы вермахт совместно с Красной Армией! Этим эффектным слухом мы испортим и настроение Черчиллю.

Паулюс повернулся, но Гальдер удержал его.

— Послушайте,— сказал он,— а вдруг окажется, что линия Сталина — не блеф? Сталин слишком дорожит престижем своего имени и не отдаст его в пустоту... Вспомним хотя бы о Сталинграде: ведь он сделал из этого хлама новый Чикаго.

...Уже был отработан сигнал к нападению: «Дортмунд»!

## 14. ВИЗИТ В СТАЛИНГРАД

Сталинград той поры (при всем моем глубочайшем уважении к этому легендарному городу) я никогда бы не причислил к плеяде городов-жемчужин, украшающих нашу Родину.

Город на Волге издревле созрел для чисто практических соображений, сделавшись промышленно-купеческим, а такие города никогда не блистали изяществом планировки. К тому же — и пожары! Не знаю, как сейчас, а до революции Царицын славился именно своими пожарами. Весь деревянно-лабазный, почти деревенский, он горел с бесподобной лихостью, а в домах висели даже наказы от градоначальства — куда и кому бежать, кому хватать ведра, а кому браться за топоры, чтобы растаскивать головешки. Пожарные в старом Царицыне по вечерам зажигали уличные фонари, они же ведали заготовкой дров для школ и гимназий. Многие писали тогда о знаменитых пожарах в Царицыне, даже Куприн писал о них...

Сам же Сталинград длиннейшей «килой» вытянулся вдоль правого (крутого) берега Волги, прямо вдоль улиц денно и нощно шпарили тяжелогруженые составы, жители привыкли к неумолчному грохоту нефтецистерн, бегущих по мостам над обрывами захламленных оврагов. Царицын, когда-то уездный городишко Саратовской губернии, получил название от речки Царицы, рассекавшей его надвое, хотя Царица была далеко не царственной: летом она замыкалась в пересохший ручей, зато в весеннее половодье река металась в овраге, словно зверь, которого рискнули заключить в клетку. (Впоследствии Царица стала Пионеркой.)

Строили в Сталинграде много, и он обещал со временем стать вполне современным городом. Оперы еще не завели, зато был театр оперетты. 5 вузов, 11 техникумов и 70 библиотек делали Сталинград культурным центром. Но подле новостроек еще притихли старые купеческие лабазы, хранившие в своих потемках стойкие запахи былой России — балыков и дегтя, керосина и мочала, воблы и сарептской горчицы. Окраины Сталинграда напоминали деревни. На севере он был ограничен мазанками Рынка и домишками поселка Спартановка, на юге несколько обособленно от города затаилась тихая жизнь Бекетовки — с желтоглазыми кисками на крылечках, с розовыми геранями на окнах, а еще дальше к югу уже ощущалось дыхание жаркого марева калмыцких раздолий, где гуляли надменные гордецы-верблюды. Сталинград имел собственные нефтяные резервуары, оставшиеся еще



со времен Нобеля, нефть (как и до революции) доставлялась наливными баржами от Астрахани.

Главное в Сталинграде — тяжелая индустрия!

Комплекс заводов был как раз тем насущным, чем гордилась наша страна, о чем говорили по радио и писали в газетах. Именно здесь, на берегах Волги, и созрели подлинные молохи — Сталинградский тракторный завод (СТЗ), «Красный Октябрь», «Метиз», «Баррикады», «Лазурь» и Силикатный; денно и нощно дымила на юге города мощная Сталгрэс, гигантский элеватор из железобетона перемалывал за день курганы зерна. Рабочие СТЗ, главного поставщика тракторов для наших полей, выкатывали с конвейеров и танки, но при этом в любой момент они сами могли сесть за рычаги боевого управления (вот этого обстоятельства не учитывал Паулюс, когда в штабах Цоссена он составлял план «Барбаросса»).

Сказать, что Сталинград перед войной утопал в изобилии, было бы грешно, да и читатель не поверил бы мне, распиши я тут райскую благодать. Жили как все, не хуже и не лучше других. Если чего не хватало в магазинах, бегали на базары. Окрестные колхозы оживленной торговлей поддерживали в Сталинграде общий достаток. Рынки ломились от даров природы: мясо из станиц, волжская белорыбица, за гроши уступали ведра красной смородины, мешками сыпали яблоки, меж торговых рядов высились терриконы камышинских арбузов и превосходных дынь, взращенных на частных бахчах в Сталинграде. Наконец, был и собственный виноград, а за помидорами очередей никогда не знали... Так что в любом случае рядовой труженик Сталинграда худо-бедно, а сводил концы с концами!

Летом Сталинград удушал людей нестерпимым зноем, часто шел «царицынский дождь» — ветер с пылью. Против суховеев горожане выставили заслон, посадив за городом миллионы кленов, тополей и берез. Детишек вывозили в пионерские лагеря, поближе к колхозам, утопавшим во множестве фруктовых садов, многие горожане отдыхали в донских станицах. По воскресеньям речные трамваи не успевали переправлять сталинградцев на левый (уже не крутой, а пологий) берег Заволжья, где в череде островов люди купались, ловили рыбу, отдыхали. На островах уже были леса, прекрасные поляны. Оставшиеся в городе на каждом перекрестке занимали очереди за газированной водой, людей мучила жажда. Дети просили родителей отвезти их в зоопарк, где проживала тогда общая любимица сталинградцев — индийская слониха Нелли. В парке культуры и отдыха с парашютной вышки прыгали отважные девушки, придерживая раздутые колоколом ситцевые сарафанчики. У пивных киосков, как всегда, дрались пьяные, свистели дворничихи, сбегалась милиция в белых гимнастерках и шлемах витязей. Облезлые старенькие трамваи ерзали на поворотах улиц, выскребая из рельсов искры с пронзительным визгом.

Многие семьи предпочитали воскресничать на Мамаевом кургане, с которого виделась широкая панорама города и просторы Волги — с караванами барж, парусными швертботами, белыми пароходами. В скудной, выжженной солнцем траве Мамаева кургана фыркали паром дедовские самовары, тут же ворковали патефоны, раскручивая пластинки с песнями Ирмы Яунзем, Козина и Лемешева, шло пиво под воблу, работяги, таясь своих жен, торопливо вышибали пробки из мерзавчиков, говоря при этом: «Ну, давай... со свиданьицем. Тока скорее, а то моя уже сюда зырит!». Сталинградские инженеры грешили ликером «доппель-кюммель», очень модным тогда среди интеллигенции (помню, мой папа-инженер тоже отдавал ему немалую дань своего восхищения). А невдалеке от Мамаева кургана уже рычали моторы на танкодроме, неподалеку располагалось небольшое взлетное поле местного значения, с которого, кажется, в январе 1943 года и сумел подняться последний самолет из котла Паулюса с мешками писем...

Таким (или примерно таким) был тогда Сталинград — гордость советской индустрии, с населением около полумиллиона жителей, которые еще не ведали, что скоро их город будет полностью уничтожен и войдет в историю Человечества как незабываемый символ народного героизма.

Город-герой еще не был «героем»! Он работал...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В доме № 4 по Краснопитерской улице проживал Алексей Семенович Чуянов — с женою, детьми, дедом и бабушкой. Возле подъезда по утрам его ожидала легковая машина «бьюик», возвращая хозяина к семье только к ночи, изможденного от разных передряг и волнений; обыватели в городе о нем судачили:

— Большой человек! На своем автомобиле катается, кажинный денечек со Сталиным по телефонам о тракторах рассуждает...

Чуянов был первым секретарем Сталинградского обкома и горкома партии. Жизнь этого человека не была легкой. Он застал город, где «царила удушливая атмосфера, при которой клевета, опорочивание, нашептывание, подслушивание и доносы стали средством устранения с работы честных людей, которых объявляли врагами народа. В этот период многие партийные работники и представители творческой интеллигенции Сталинградской области были подвергнуты необоснованным репрессиям»,— так вспоминалось Чуянову позже. Он начал партийную работу в Сталинграде с того, что разогнал алчную свору следователей, сыщиков и прокуроров, освободил из тюрем незаконно осужденных.

— Опомнись! — заклинала его жена.— Ты ведь не один на белом свете, хоть о детях-то наших подумал ли?

— Помню. О тебе, о себе, о детях,— отвечал Чуянов.— Но грех великий не подумать о людях...

Он попер на рожон! Один против многих. Г. М. Маленков звонил из Москвы, задыхаясь материл Чуянова:

— Что ты там балдеешь? Разве затем тебе партия доверила город, носящий имя нашего мудрого вождя? Мы тебя в порошок сотрем, сволочь паршивая... Завтра от тебя даже тени на стене не останется!

Местное НКВД тоже хотело бы сделать из Чуянова «врага народа», но он — устоял. Как устоял? — чудом, наверное. Устоял и добился, чтобы весь аппарат слишком ретивых надсмотрщиков к Сталинграду близко не подпускали. Чуянов играл своей головой, а ведь ему было тогда всего лишь 33 годочка. В сложных обстоятельствах он действовал по правилу «не играть в таинственного носителя забот и тревог партии, не скрывать от народа своих сомнений»,— это слова самого Чуянова.

— Хуже нет,— говорил он друзьям, поигрывая на пальце ключами от секретного сейфа,— когда партийный «кадр» становится на пьедестал недоступного божества с многозначительным выражением на лице заботливого и внимательного человека, и в таком случае именно по морде его и хочется треснуть вот этими ключами, чтобы не задавался.

«Большой» человек был и хорошим человеком (в этом я нисколько не сомневаюсь), а жене своей он признавался:

— Когда полмиллиона знает меня в лицо и по имени-отчеству, тогда от народа секретаршей не загородишься. Если у бабки крыша протекает, так она уже не ползет к домоуправу, она со своей слезницей ко мне тащится. Закройся я на замок, на улице меня дождется и все равно доконает...

Конечно, страх в душе был, и много позже Чуянов признавался, что рано или поздно его бы все равно посадили:

— Меня, по сути дела, спасла война. Если б не война, от меня бы и костей не осталось...

В большой стратегии он ни бельмеса не смыслил. Кадровый партийный работник, облеченный большим доверием народа (добавим — и лично товарища Сталина), он видел смысл жизни только в людях — со всеми их радостями и капризами, с активностью и недовольством, с подлинным героизмом и безобразным головотяпством. Приятно думать, что люди ангелы. Но тюрьма в Сталинграде — не декорация и не «пережиток проклятого прошлого». Приходилось считаться, что еще не перевелись жулики, предатели, доносчики, спекулянты, ворюги, хапуги и просто обалдуи, каких божий свет еще не видывал...





В один из летних дней 1941 года Алексей Семенович завтракал с семьей, сердито поучая своих мальчишек:

— Вовка, не болтай ногами. Валера, лопай, что дают, и не капризничай. Заодно глянь — не подошла ли машина?

Дедушка Ефим Иванович сказал ему:

— Дал бы ты мальцам своим по лбу! Рази же они человеческий язык понимают? Вот раньше — драли с утра до ночи как сидорову козу, и все было в ажуре. Не кочевряжились!

— У нас свой ажур,— ответил Чуянов.

— Иди-ка ты... никогда вам порядков не навести! Расселись там по кабинетам, одно знаете — в телефоны мурлыкать...

Чуянов уже привык к брюзжанию деда и никак не реагировал. Допивая чай, он выглянул в окно, окликнул жену:

— Подъехал! Может, и вернусь сегодня пораньше.

— Да кто тебе поверит? — отвечала жена.

Сбежав по лестнице, Чуянов от самого крыльца глотнул жаркий воздух. Внутри его машины сидело... НКВД!

— Чего испугался? Садись, вместе поедем.

Это был Воронин, начальник НКВД Сталинградской области. Он шлепнул ладонью по коже сиденья, уже пропеченной безжалостным солнцем. Вместе поехали в обком. По дороге, как это принято, болтали о пустяках. Когда же приехали и прошли в кабинет, Воронин плотно затворил двери.

— Что еще стряслось? — насторожился Чуянов.

Он подумал о какой-нибудь аварии на заводах.

— Выручай,— ответил Воронин.— Во всей области у тебя одного «бьюик» повышенной скорости. Дай нам, а?

— Кого догонять? Или побег из тюрьмы?

— Хуже,— сказал Воронин и, рывком придвинув к себе стул, плотно уселся.— Из наркомата звонили. Кто-то из военных атташе Германии, фамилию не разобрал, вдруг рванул из Москвы на быстроходной машине...

— Куда рванул?

— К нам! Прется на Сталинград, словно танк.

— А что ему нужно здесь?

Воронин подивился наивности Чуянова:

— Как же не понять? Очевидно, мы тут профасонили, а немцы успели завести в Сталинграде своих резидентов. Значит, какой-то гад на заводах в Берлин уже капает. А у нас на конвейере СТЗ — танки самой новейшей модификации. Вот главное...

— Отсечь его по дороге пробовали?

— Попробуй отсеки,— ответил Воронин.— У него машина — как тигр, вездеход какой-то. Наши товарищи в Урюпинске пробовали догнать. Но у них же «эмка», барахло поганое. За немецкой техникой не угнаться! Вот и катит.

— Ладно,— сказал Чуянов,— хватай мой «бьюик», только верни его хотя бы не искалеченным на родимых ухабах.

— Вот спасибо. Ну, я побежал...

Чуянов стал вникать в дела области, но в середине дня его потревожил звонок из Питомника, большого сельского хозяйства к западу от города. Звонил секретарь тамошней парторганизации, просил объяс-

нить, как понимать заявление ТАСС от 14 июня сего года, в котором черным по белому написано: «по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы...» Там, в Питомнике, не понимали:

— Пишут, вроде плутократы войну провоцируют, а немцы тут ни при чем. Как народу я растолкую? У меня вот свояк приезжал в отпуск. Он в ленинградском порту гужбаном вкалывает. Так он сказал, что мы в Германию все шлем, шлем, шлем... а от Гитлера хрен в тряпке получишь!

Уверенным голосом Чуянов ответил Питомнику:

— Перестаньте фантазировать. Кто лучше знает обстановку в мире? Твой свояк-гужбан или товарищ Сталин? Надо иметь полное доверие к советской печати, а не слушать пьяные байки. Никто не помешает нам достраивать социализм. Ты мне лучше скажи, как у вас подготовка к сбору урожая?..

Только отговорили, тут же позвонили из НКВД:

— Это я, Воронин... Атташе германского посольства загримирован под иностранного туриста. Значит, его надо еще и «раскулачить». Но случилось все плохо, Семеныч.

— А что такое?

— Видать, у него карты лучше наших: он непроезжими проселками мимо Деминской МТС как рванул на грейдерную, мы, конечно, его прижали, но он все-таки проскочил...

— Куда проскочил? — обомлел Чуянов.

— Извини. Этот хлюст уже в Сталинграде.

— Какого черта он тут делает, в городе-то?

— Ищет свободный номер в гостинице.

Чуянов не выдержал, покрыл НКВД матом:

— Работать надо лучше! Навешали себе шпалы с ромбами, с женами без нагана спать не ляжете, а сами...

— А мы что тут тебе? Или мух ноздрями ловим?

— Верни машину, мать твою за ногу.

— Вернем. Не шуми... мы шуметь тоже умеем!

Далее события развивались, как в паршивом детективе.

Военный атташе Германии (скорее, один из сподручных) подрулил к центральной гостинице города. Его инкогнито оставалось в силе, он изображал редкого по тем временам дикобраза — иностранного туриста. По-русски же говорил чисто, без акцента, но это, замечу попутно, не был ни генерал Кёстринг, ни полковник Кребс, его помощник. НКВД области было обязано учитывать, что он в любой момент мог уйти в «глухую защиту» дипломатического иммунитета, и тогда с него взятки гладки.

В регистратуре гостиницы сидела солидная дама в модном берете. При виде иностранца она малость обалдела:

— Ой! А у нас все забито. Ни одного номерочка. Видели, что при входе на ступенях лестницы спят?

— Не ночевать же мне на улице! — возмутился приезжий.

— Может, в «Интуристе» освободились комнаты...

В этом «Интуристе» повторилась та же история:

— У нас в городе проходит конференция читателей с работниками библиотек, и все номера переполнены читателями. Знаете что,— посоветовала деловая барышня,— попробуйте сунуться в Дом колхозника. Там всегда легче устроиться. Хоть в коридоре на скамейке. Так многие приезжие у нас отдыхают.

— Благодарю! А где этот ваш Дом колхозника?

— Боюсь, сами не найдете... Верка! — закричала она в соседнюю комнату. — Верка, проводи товарища иностранца до колхозников. Заодно на заграничной машине прокатишься.

В Доме колхозника все было забито постояльцами, и в этом убедился сам «турист», увидев, как несчастные приезжие ютились с мешками на лавках в коридорах, раскладные кровати стояли даже на лестничных площадках.

— А вы не огорчайтесь,— было сказано здесь «туристу».— Уж в студенческом-то общежитии мы вам койку устроим...

Пришлось согласиться на общежитие. «Турист» оставил свою машину, где пешком, где трамваем он направился в северную часть города, где дымили трубы СТЗ. Наконец жарища Сталинграда и его доконала. Он занял место в очереди у пивной бочки. Тут к нему пристали хулиганы местного областного значения. Так, мелочь. Шпана в клешах. «Турист» врезал им всем японским приемом «свист дрозда в полночь»,— так ловко, что шпана мигом растеряла копейки по булыжникам мостовой.

Милиция не замедлила явиться, как штык:

— Граждане, до ближайшего отделения... пройдемте! Без паники!

Взяли на цугундер шпану и «туриста». В милиции пришлось выложить подлинные документы. «Раскулаченный», он понял, что его песня спета, и, погрузив автомобиль на пассажирский теплоход, отплыл из Сталинграда вниз по Волге. Через несколько дней Чуянову позвонили из Астрахани:

— Алексей Семеныч, у нас тут чэпэ. Помогите!

— Своим-то соседям как не помочь? Что стряслось?

— Сняли мы тут с парохода одного типа. В дымину косой. Ну, хуже сапожника! При нем ничего нету, не помнит, куда делся багаж или вообще багажа не было... Помогите! Он же в одних трусах, в майке и в тапочках... лыка не вяжет!

— Кто он, этот ваш лыка не вяжущий?

— Господи, да военный атташе Германии... Проспался и требует, чтобы его отправили в Москву самолетом. Срочно!

Пришлось Чуянову списать в расход деньги на экипировку атташе. За счет Сталинградского обкома его приодели, и он отбыл восвояси... До начала войны оставалась неделя.

Вермахт ожидал только сигнала — «Д о р т м у н д»!

А в секретном сейфе Чуянова лежал страшный пакет с пятью печатями, и на пакете было написано:

**«ВСКРЫТЬ ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ».**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Признаться, я не все понимаю в этой истории. Глава была уже написана, когда я узнал, что визитером был майор Нагель, посланный на разведку Гальдером; этот майор был причислен к штатам германского посольства в Москве. Ясно, что в канун войны ОКХ желало иметь информацию о том, какие танки и сколько их сходит с конвейера СТЗ на испытательный полигон Сталинграда; кажется, что Гальдер и его генштаб не слишком-то верили в достоверность информации из Москвы, поступавшей от Кёстринга... Местному НКВД удалось лишь «дезавуировать» гитлеровского шпиона. Но, думается, было бы правильнее позволить ему выйти на связь с резидентом, чтобы потом, пронаблюдав за ним, вовремя обезвредить. И уж совсем я, автор, не могу догадаться, каким образом опытный военный разведчик остался на пристани Астрахани в одних трусах, в майке и в тапочках.

Сам он разделся? Или ему «помогли» раздеться?..

В это время германское посольство в Москве уже опустело, детей немцы вывезли, полковник Ганс Кребс — сразу после первомайского парада — тоже удалился в Германию. Жены посольских чиновников носились как угорелые по комиссионкам, алчно скупая все подряд — иконы, фарфор, меха, антикварные ценности, обвешивались кольцами, браслетами, ожерельями. Нахапавшись выше меры, немки поспешно покидали Москву, вывозя массу чемоданов, не подвергаясь осмотру на таможнях, ибо их багаж был обклеен этикетками «дипломатической

почты». Генерал Эрнст Кёстринг с раздражением писал: «Приезжают сюда, лопают до отвала масло и черную икру, обвешиваются с ног до головы шубами и побрякушками за дешевые рубли, а затем смываются... Грешен, но мне так и хочется пожелать успеха англичанам: пусть их бомбы угодят в те дома, где находится в Германии это недостойным образом «спасенное добро». Думается, возмущение Кёстринга легко объяснимо: в глубине души он все-таки оставался русским немцем и к России не мог относиться наплевательски...

А с улиц Москвы доносились торжественные марши:

Могучих партия ведет,
Шагает трудовой народ,
И ты их знамя, Сталин...

Германский посол граф Шуленбург еще не подозревал о близости катастрофы, но генерал-лейтенант Кёстринг, кажется, уже был оповещен о страшном сигнале — «Дортмунд»!

## 15. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

К весне 1941 года железные дороги Германии пропускали на восток до ста воинских эшелонов. Близ западных границ СССР фюрер держал около четырех миллионов солдат вермахта. Когда Сталину докладывали об этом, он обзывал докладчиков паникерами, трусами и провокаторами.

— У меня имеется личное письмо Гитлера ко мне, в котором он объясняет, что задумал большую операцию против Англии, и, чтобы запутать британскую разведку, он вынужден группировать силы вторжения возле наших границ...

После этого остается лишь развести руками. Надо быть совсем олухом в военных делах, чтобы поверить: мол, для нападения на Англию надо собирать армию не где-нибудь, а на Висле и на Буге. Мало того, предупреждения о близком вторжении поступали из самой Германии — даже от офицеров вермахта, даже от старых членов нацистской партии, не согласных с Гитлером.

— Кому-то,— говорил Сталин,— очень хочется втянуть нашу страну в войну с Германией... Я знаю только одного немца — это Вильгельм Пик, он единственный коммунист, которому можно верить, но он не предупреждал меня, что будет война...

Пожалуй, помимо Пика, он еще верил только Гитлеру!

За время с осени 1939 года (сразу после пакта Риббентропа — Молотова о дружбе) и до самого начала войны немецкие самолеты *более пятисот раз* нарушали советскую границу — и хоть бы что! Сталин приказал огня не открывать.

— Не поддаваться на провокацию! — говорил он, покуривая свою трубку.— Империалисты, завидуя небывалому росту нашего могущества, желают развязать мировую войну, чтобы и нас втянуть в эту бойню. Но мы, верные своей миролюбивой политике, не поддадимся ни на какие провокации...

Не разрешая давать отпор агрессору, не он ли сам и провоцировал Гитлера наглеть все более, ибо любая наглость со стороны вермахта оставалась безнаказанной? Почему так могло случиться? Я, автор, вижу ответ в одном: Сталин дрожал за свою шкуру и попросту боялся войны, ибо любое поражение могло выбросить его из кремлевского кабинета вместе с его легендарной трубкой. Ведь он был трусли в, и вся жестокость его — это результат уникальной трусости.

Была еще середина апреля 1941 года, когда немецкие войска вступили в Белград, и как раз в день падения сербской столицы из Москвы отъезжал Иосуке Мацуока, японский министр иностранных дел. В Москве он был проездом из Берлина, где вел переговоры с Гитлером о единстве действий Японии и Германии, а в Москве убеждал Сталина в том, что Япония в делах Дальнего Востока будет придерживаться строгого нейтралитета. Провожать Мацуока на вокзале собралось немало дипломатов, аккредитованных в Москве, и вдруг — к удивлению всех! — на перроне появились Сталин с Молотовым, очень спешившие, чтобы не опоздать к отходу дальневосточного экспресса.

Сталин сразу кинулся обнимать Мацуока, высказывая ему очередную политическую ахинею, которая не делает ему чести:

— Я сам азиат, а мы, азиаты, должны держаться вместе...

«Здесь ли Шуленбург?» — спросил он потом. Германский посол предстал перед ним, а затем докладывал в Берлин сенсационное известие: «Сталин обнял меня за плечи и сказал: «Мы должны остаться друзьями, и вы должны теперь сделать для этого все!». Потом Сталин увидел Кёстринга с Кребсом, стал обнимать немцев, повторяя слова о нерушимой дружбе между ним и Германией...

Гитлер терпеливо выслушал доклад Риббентропа о том, как «вождь народов всего мира» кидался на шею японцам и немцам, словно провожал ближайших родственников, и долго молчал, пытаясь вникнуть в психологию Сталина. Затем сделал вывод:

— Сталин, кажется, начинает *волноваться*...

Через несколько дней вермахт вступил в Афины.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Германский посол в Москве, граф Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург, был типичным аристократом германской породы, а человек — умнейший и проницательный. Советником при нем состоял некто Хильгер, сын русского фабриканта, он, как и Кёстринг, родился и учился в России. Хильгер служил при Шуленбурге вроде ценного переводчика, между ними возникла доверительная дружба. После того как посольство опустело и многие отъехали в «фатерланд», Хильгер сказал послу, что обстановка среди оставшихся в Москве немцев явно ненормальная, даже нервозная — в предчувствии близкой катастрофы:

— Никто ничего не делает, чего-то ждут, ощущая близость чего-то страшного. Из Кремля уже не раз запрашивали о срыве поставок нашего оборудования, но Берлин указал нам отмалчиваться от подобных запросов. Я думаю, что вам, граф, надо бы побывать в Берлине, чтобы в аудиенции с фюрером прояснить. наконец эту гнетущую всех обстановку...

Шуленбург вылетел в Берлин, и в разговоре с послом Гитлер сразу дал ему понять, что вопрос о войне с Россией давно назрел, на что дипломат отвечал фюреру:

— Как можно поверить, что Россия, и без того убогая, способна совершить нападение на вооруженную Германию?

Гитлер быстро спохватился, осознав, что в откровенности переусердствовал, и поспешно стал заверять Шуленбурга в обратном и на прощание проводил графа словами:

— Возвращайтесь в Москву и будьте совершенно спокойны: я совсем не намерен воевать с русскими...

Но Шуленбург был умнее Гитлера, и он разгадал многое из того, что фюрер не договаривал. На аэродроме в Москве его встречал Хильгер, и посол — под шум еще не выключенных моторов — шепнул Хильгеру, чтобы другие не слышали:

— *Жребий брошен*. Война решена. Что нам делать?..

Шуленбург не желал войны, понимая, что она приведет Германию к гибели. Хильгер мыслил одинаково с послом. Как раз в это же время Москву навестил Деканозов, советский посол в Берлине, сподвижник Л. П. Берии (позже расстрелянный при Хрущеве как кровавый и отвратительный палач, немало поработавший в сталинских застенках).

— Надо пригласить его к нам... скажем, ради ужина.

Деканозов поужинать в германском посольстве не отказался, притащив с собой «хвост» в лице переводчика Павлова, тогдашнего сталинского любимца, сподручного Молотова. Нет сомнения, что Шуленбург меньше всего думал о насыщении Деканозова, и речь завел совсем о другом.

— Очевидно,— сказал он в конце ужина,— то, что сейчас произойдет между нами, будет являться феноменальным случаем в истории всей мировой дипломатии, поскольку я собираюсь сообщить вам самую важную из тайн своего же государства.

Павлов сиял очками, улыбаясь. Деканозов насторожился.

Шуленбург постучал концом вилки о край тарелки:

— Передайте господину Молотову, чтобы он срочно известил господина Сталина: наш фюрер принял решение начать войну с вами, и, судя по той информации, какой я обладаю в данный момент, нападение произойдет ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ.

Оставались считанные дни мира, а Деканозов спрашивал:

— От имени кого вы предупреждаете нас об этом? Есть ли у вас разрешение от... Гитлера? Или от... Риббентропа?

Дурак, он не понимал главного — эти немцы, Шуленбург с Хильгером, шли на верную смерть, дабы избавить СССР от внезапного нападения, а для Деканозова было важно другое — есть ли у них разрешение от Гитлера? «Очевидно,— писал впоследствии Хильгер,— он (Деканозов) не мог себе представить, что мы сознательно подвергаем свои жизни величайшей опасности ради последней надежды сохранить мир».

— Нет,— настаивал Деканозов,— вы сначала скажите, кто вас послал, чтобы предупредить о нападении Германии, иначе я не в состоянии тревожить свое правительство... Почему вы, посол Германии, сами же и предупреждаете меня о нападении Германии?

Этой стоеросовой дубине, закаленной в застенках Берии, было не понять, что, помимо служебного долга, существует еще и такое понятие, как обычная человеческая с о в е с т ь.

— Вас,— холодно отвечал Шуленбург,— очевидно, смущает, что я, посол Гитлера в вашей столице, предупреждаю Россию о планах Гитлера, тем самым предавая его. Вот именно этого вы понять и не можете, подозревая меня в чем-то. Но учтите, я ведь дипломат еще старой школы, воспитанной на заветах Бисмарка, предупреждавшего немцев на будущее, что Германия может воевать с кем угодно, только не с Россией, где она и оставит свои кости непогребенными...

Деканозов и Павлов известили Молотова о предупреждении Шуленбурга, которого Деканозов так и не понял, зато Молотов все сразу понял как надо и поспешил известить самого Сталина, который, как и Деканозов, тоже ничего не понял, подозревая какие-то хитрые козни «коварных империалистов».

— Будем считать,— сказал он,— что дезинформация пошла уже на уровне послов... Нас провоцируют! Кому-то, надо полагать, очень хочется поссорить меня с Гитлером.

Гитлер давно сократил поставки в СССР и наконец свел их до ничтожного минимума, а товарищ Сталин, поддерживая «дружбу» с Гитлером, все усиливал поставки сырья в Германию, словно желая задобрить своего берлинского приятеля, и тут я полностью согласен с Львом Троцким, который называл Сталина главным интендантом фашистской Германии. А наши корабли с поставками для Германии все плыли и плыли; в польском порту Гданьске (Данциге) портовые грузчики из поляков говорили нашим морякам:

— Или у вас совсем головы не стало? Немцы гонят эшелон за эшелоном к вашим границам, вы у них уже давно на прицеле пушек, а сами спешите накормить их... Не стыдно ли?





В июне, когда до войны оставались считанные дни, Тимошенко с Жуковым снова — в который уж раз! — говорили Сталину, что войска близ границы следует усилить и привести их в боевое положение. Ответ Сталина известен:

— Поднять в стране войска, чтобы выдвинуть их к западным границам? Но это же... в о й н а! Неужели сами не понимаете? Никаких поводов для войны не давать немцам.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Партийные ораторы придумали «текучесть», вот и замелькали в их речах текущие моменты, текущие задачи, вытекающие из них вопросы, и за месяц до начала войны сталинский деятель А. С. Щербаков сделал доклад «О текущих задачах пропаганды». И вот что «вытекало» из его речи (цитирую):

«...на почве легких побед армии в политических кругах Германии распространились хвастовство и самодовольство, которые ведут к отставанию. Все новое, что внесено в оперативное искусство и тактику германской армии, не так уж сложно... не является новостью и вооружение германской армии. На почве самодовольства военная мысль Германии уже не идет, как прежде, вперед. Германская армия потеряла вкус к дальнейшему улучшению военной техники... а наша Красная Армия, широко используя достижения отечественной и мировой военно-технической мысли, перестроилась и серьезно перевооружилась на основе опыта современной войны. Готовая к любым неожиданностям, она всегда готова на чужой территории защищать свою землю...»

Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.

Так ли это? Уничтожив в 1937 году полсотни тысяч командиров, Сталин в 1940 году произвел в лейтенанты 13 000 человек, вчерашних солдат. Военных училищ у нас было очень много, но к началу войны преподавателей набрали только 44,2 процента; в авиационных школах не хватало учебных самолетов, горючего давали ничтожно мало, а за два предвоенных года число тренировочных налетов сокращали с е м ь раз подряд.

В речи о «текущих задачах» об этом — ни слова!

Танковые «боги» вермахта, начиная с Гудериана, побеждали потому, что творчески освоили прежний опыт наших танкистов. Немцы свели танки в крупные колонны для массированных ударов; у нас же из танка сделали лишь подспорье для обслуживания пехоты. Танк становился зависим не от мощи своего двигателя, а лишь от скорости, какую могли развить ноги солдат. Главный маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров писал, что это бестолковое решение разрушило всю нашу танковую тактику, которая сложилась ранее. Теперь нам предстояло учиться заново — у тех же «гудерианов», бывших когда-то нашими учениками. Наркомат обороны начал формировать танковые корпуса, но... танки были устарелых систем, запчастей, как всегда, не хватало, а в танкисты набирали людей из пехоты и кавалерии, срочно переучивая их в танкистов.

С. К. Тимошенко приказом от 29 января 1941 года призывал: «Учить войска тому, что нужно на войне, и только так, как делается на войне». Очень хорошие слова! Почти суворовские. А на деле отменили ночное вождение танков («потому что ничего не видно»), запретили ночные атаки пехоты («всех людей в темноте растеряем»), подводным лодкам запретили погружаться в глубину («могут погрузиться и не всплыть»). Да, черт побери, ночью ничего не видно, да, можно людей растерять, да, подлодки иногда тонут, но... как же «учить войска тому, что нужно на войне»? Вот на это Тимошенко не мог ответить.

Генерал армии Д. Д. Лелюшенко писал, что стараниями горе-теоретиков полевая тактика была доведена до абсурда: «Из уставов был исключен боевой порядок цепью... Цепь заменили «стайкой», «змейкой» и «клином». Группировать бойцов в траншеях впредь запрещали, делая

упор на одиночного бойца». Генерал Ефим Щаденко с пеной у рта отстаивал «индивидуальные ячейки».

— Долой все окопы! — призывал он.— Почему империалисты сажают всех вместе в одну траншею? Потому что они боятся, как бы их солдаты не разбежались, а в окопе за ними наблюдать легче. Советский же боец сознательный, идейно подкованный, он никуда не убежит, а потому пускай сидит в индивидуальной ячейке... Побольше доверия к бойцам, товарищи!

А как готовили командиров? В военных училищах признавалось, что оборона — лишь «возможный, но временный вид действий», приемам же оборонительной войны не обучали, ибо считалось за аксиому то, что, случись война, и Красная Армия будет воевать «малой кровью и только на чужой территории». Военачальники решительно отвергли колоссальный опыт позиционной войны 1914—1918 годов, и это была одна из трагических ошибок! Между тем классические формы обороны и порядки отступления иногда гораздо сложнее форм наступательных...

Вооружением у нас ведали тогда три авторитета: Г. И. Кулик, Л. З. Мехлис и Е. А. Щаденко, которые боялись новых образцов оружия, как черт ладана. Они уже запретили выпуск запасных частей к танкам старых модификаций, но при этом активно тормозили серийное производство новейших машин — танка Т-34! Маршал Кулик с пеной у рта доказывал, что автоматы — это «оружие полиции» для расправы с боевым пролетариатом, а наш советский боец поразит любого врага из мосинской винтовки образца 1891 года. Известны и покаянные слова Г. И. Кулика: «Отсутствие автоматов в армии — результат моей ошибки, я в этом повинен... обязуюсь коренным образом поправить положение». Эти свои обещания Г. И. Кулик НЕ выполнил. Но преступная косность и дешевая демагогия «куликов» все-таки, признаем, преодолевалась умом и энергией талантливых патриотов, видевших войну будущего в двух ее решающих факторах — в мощи огня и в динамизме движения, иначе и не было бы у нас танка Т-34!

В ту пору говорили тишком: «Кулик не велик, а тоже птица».

Маршал артиллерии Н. Д. Яковлев писал о нем: «Это был типичный случай не власти авторитета, а — авторитет власти». Это еще мягко сказано. Перед самой войной Кулик «заморозил» выпуск противотанковых ружей, зато снабжал армию паршивыми винтовками СВТ, от которых потом не знали как избавиться. Немецкие генералы из Цоссена знали, что Кулик ума не имеет, соответственно и действовали. В самый канун нападения они подбросили ему лживую информацию, якобы Германия переводит свою артиллерию на повышенные калибры. Кулик ударился в панику и побежал докладывать Сталину, а Сталин сказал:

— Разумно! Я ведь помню, как при обороне Царицына прекрасно показали себя именно крупнокалиберные пушки...

Этого было достаточно, чтобы Кулик снял с производства малокалиберные пушки — главную полевую силу армии. Нарком вооружения Б. Л. Ванников вспоминал: «Сталин санкционировал это решение, имевшее для нашей армии самые тяжкие последствия. С первых же дней войны мы убедились, какая непростительная ошибка была допущена!» Подбивать немецкие танки стало нечем, а тяжелые громоздилы-орудия — не сдвинуть с места, ибо в армии не было тягачей. Много ли тонн железа вытянут из грязи на боевую позицию упряжки лошаденок?

Ах, сколько было врагов народа! Но я вижу их не за колючей проволокой Колымы или Воркуты, а в тишайших и теплых кабинетах Кремля, в ближайшем окружении Сталина. Вот один из них — Лев Захарович Мехлис, славный тем, что очень любил убивать людей выстрелом в упор. За год до войны он был наркомом госконтроля. Военное имущество Красной Армии тогда хранилось близ границы. Правительство образовало комиссию — оставить ли имущество там, где сейчас, или отодвинуть склады от границы? Люди военные, люди дальновидные, стали говорить, что склады боеприпасов нельзя держать возле рубежей... мало ли что! Кто-то из военных, самый ушлый, даже сказал, что арсеналы надо убрать как можно дальше от границ — хотя бы за Волгу...





— Паникер! — заорал Мехлис.— Как вам пришло в голову, что Волга может стать военным рубежом? Сначала думайте, что говорите! Наша победоносная Красная Армия, вооруженная могучим учением марксизма-ленинизма и руководимая гениальным и мудрым вождем, будет воевать только малой кровью и только на чужой территории. Поэтому все базы снабжения необходимо оставить близ самой границы государства...

Нашлись смельчаки, Мехлиса даже умоляли:

— Лев Захарович, ну хотя бы полушубки да валенки можно нам, военным, оставить за Волгой?

— А вы разве знаете, когда начнется война? — с ядом спрашивал Мехлис.— Может, она возникнет как раз зимою...

Сталин поддержал Мехлиса. Все склады оружия и продовольствия, базы горючего и арсеналы боеприпасов — все-таки оставили на границе, и в первый же день войны они достались противнику в целости и сохранности. Но Лев Захарович доверия Сталина не потерял: очень уж он любил расстреливать, а Сталин недаром сказал: «Кадры решают все».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Еще 5 мая 1941 года выступил «всенародный староста» нашей любимой колхозной деревни М. И. Калинин, который, как водится, ничего дельного не сказал, зато он высочайше соизволил сильно гневаться на агрессоров — на Францию, уже разбитую, и на Англию, еще недобитую, которые-де и развязали войну в Европе, но тут, по словам старосты, пришло спасение, и...

— ...занесенная над нами рука агрессора была отведена рукою товарища Сталина.

Конечно, грянули аплодисменты, переходящие в бурные овации.

— Договор, заключенный между Советским Союзом и Германией, выбил оружие из их рук...

Из зала слышались крики:

— Да здравствует наш великий вождь и учитель, любимый товарищ Сталин... Уррра-а!

В таких случаях принято говорить: хоть стой — хоть падай! .

14 июня появилось знаменитое «Сообщение ТАСС», в котором Сталин и Молотов авторитетно опровергали сплетни и происки империалистов, распускавших злостные слухи о том, что Германия готовит нападение на нашу страну. Тут стоит задуматься: трезвые или пьяные они были, когда запускали камень в свой же собственный огород? Им казалось, что «Сообщение ТАСС» вызовет тревогу в Берлине, фюрер в страхе забьется под стол и станет мелко вибрировать, войска вермахта мигом отхлынут от границ, после чего снова прилетит Риббентроп, публично заверяя всех, что Германия — лучший друг Советского Союза.

Но реакции со стороны Берлина не последовало. Радиостанция Коминтерна трижды в день проталдычила текст «Сообщения ТАСС» специально для немцев, но в Берлине... ни гугу. Немецкие газеты даже не мяукнули в ответ на призыв Кремля, а Геббельс со злорадным садизмом записал в своем дневнике, что напрасно Москва ожидает отклика на свое «сообщение».

— Русские,— сказал он Гансу Фриче,— получат ответ в ближайшие дни. Но только не словами...

«Сообщение ТАСС» от 14 июня было нелепостью, непоправимой

ошибкой. Почему? Да по той простой причине, что, заверяя читателя в добрых отношениях с Германией, «сообщение» успокаивало народ, оно порождало уверенность в невозможности войны с Германией, страна обязывалась быть уверенной в нерушимости западных границ, в армии возникла расслабленность, бдительности не стало, командиры ночевали уже не в казармах, а с женами, красноармейцам позволено было раздеваться на ночь...

Помните, что в Сталинграде ответил Чуянов на вопрос об этом «сообщении», заданный из Питомника? Примерно так, наверное, думали многие, и политруки пылко убеждали красноармейцев:

— Там (было понятно где) лучше нас всё знают... А потому никаких дискуссий по этому вопросу не будет, лучше мы послушаем лекцию о том, как наша партия заботится о культурном отдыхе трудящихся в дни воскресные и дни прочие.

Между тем разведка усиленно работала. Люди разных национальностей слали и слали в Москву донесения о близкой войне. Трудилась и военная разведка, а маршал Тимошенко не раз выкладывал перед Сталиным пачки подобных донесений.

— У меня есть другие сведения,— отвечал Сталин.— Вот, полюбуйтесь, в них говорится совсем другое...

Он предъявлял маршалу не меньшую стопку донесений агентуры, но все они были испещрены издевательскими пометками и бранью генерала Ф. И. Голикова, призывавшего к недоверию.

— Кому верить? — спрашивал Сталин маршала...

Голиков был начальником Главного разведуправления Генерального штаба. До него этот пост занимали пять генералов, оказавшихся «врагами народа», и потому Филипп Иванович здорово боялся — как бы ему не оказаться шестым! Теперь он сидел в том же кресле, в каком сидели и они, уже покойнички. А сидел — потому что поддакивал Сталину, вполне согласный с мнением вождя, что все люди сволочи, верить им никогда нельзя. По этой благородной причине, желая уцелеть, Голиков фальсифицировал донесения агентов, только бы угодить Сталину. Рихарда Зорге, назвавшего точное время нападения вермахта, товарищ Сталин мудрейше обозвал теми словами, кои пишутся на заборах, а Голиков не возражал. Наконец дело дошло до того, что сам Уинстон Черчилль предупредил Сталина, чтобы 22 июня он был готов отбить нападение вермахта.

— Вот! — сказал Сталин.— Эти империалисты никак не могут успокоиться, пока не поссорят меня с Гитлером...

«Вождя всех народов» уже не было на свете, когда Филипп Иванович Голиков все-таки нашел в себе мужество честно сознаться:

— Да я просто боялся! Потому и угождал Хозяину, докладывая ему только то, что совпадало с его же мнением, и, наоборот, отвергал то, что было не согласовано с его прогнозами. Хотя я, честно говоря, я сам не очень-то верил в нападение Германии...

Зато вот маршал Кулик, к разведке никакого отношения не имевший, твердо знал, когда начнется война с Германией:

— А чего там долго думать? — говорил он.— Пусть разведка не сводит глаз с поголовья овец в Германии. Если поголовье начнет сокращаться, значит, немцам понадобились шкуры для выделки полушубков. А без полушубков — как же воевать с нами? Вот и получается: станут в Германии резать овец — значит, все ясно, следует крепить оборону для ответа тройным ударом...

Вы, читатель, все поняли? Мудрость-то какова!

Именно в эти дни Черчилль, ложась спать, наказывал:

— Будить меня, безмерно усталого, я разрешаю только в двух случаях — или Гитлер высадит десанты на Британские острова, или же Гитлер нападет на Россию. Дайте выспаться пожилому человеку!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Если Голиков имел пять уничтоженных предшественников, то П. В. Рычагов, славный начальник ВВС, имел их семь или восемь: на этом посту люди держались от силы год-полтора, после чего поступали в разряд «врагов народа». Сталин именовал себя «лучшим другом советских летчиков», и Павел Рычагов, молодой и наивный парень, в эту дружбу со Сталиным верил...

На совещании в Кремле шла речь об аварийности. Пилоты ВВС гробились один за другим, вместе с ними гробились и машины. Рычагов знал, что новых самолетов давно не поступало, а старые — это сброд всяких устаревших систем, что мешало их ремонту, мешало и подбору пилотов к самолетам разного типа. Рычагов нервно воспринимал критику в свой адрес, но... пока еще сдерживался. Когда же пришло время отвечать на критику, чтобы оправдаться перед партией и правительством, Рычагов оправдываться не стал, а повернулся лицом к «лучшему другу советских летчиков»:

— Аварийность была, есть и скоро будет еще больше, потому что вы (!) заставляете летать нас на летающих гробах...

Сказал в лицо, только перстом не указывал.

Стало тихо-тихо. Пошевелиться боялись. Сталин мягкими сапожками ступал по коврам своего кабинета, и в этот момент он напоминал дикую кошку, которую — нашелся смельчак! — выдрал и при всех за уши. Вот он ходил, ходил... сосал и сосал свою трубку... думал он, думал... потом сказал:

— А вот вам, товарищ Рычагов, не надо было говорить таких слов... не надо было! — повторил он с грузинским акцентом.

На выходе из сталинского кабинета Рычагова арестовали.

Мария Нестеренко, его любимая жена, чемпионка парашютного спорта, в это время была на аэродроме, где готовилась к испытательному прыжку. Ее взяли прямо с крыла самолета.

— За что? За что? — спрашивала она, ничего не понимая.

На Лубянке уже был готов для нее ответ: «Будучи любимой женой Рычагова, она не могла не знать о вредительской деятельности своего мужа». Сталин «летающих гробов» не простил, а Мария Нестеренко горько рыдала, по-прежнему ничего не понимая:

— О чем вы? Какая измена? Откуда вредительство?

Пытки? Да, и пытки. Но пытки оказались чепухой по сравнению с тем, что ждало женщину впереди.

Она уже не слышала, как рвались немецкие бомбы...

*«Вот, — скажут читатели, — написал тут автор, что все было плохо. А что же было в то время у нас хорошего?»*

*— Народ был хороший, — отвечу я, — лучше нас с вами. И любовь к великой Отчизне даже в те злодейские времена народ испытывал гораздо большую, нежели сейчас...*

*Впрочем, о любви к России ныне говорить опасно, ибо уже не враги, а друзья народа сразу обклеют тебя ярлыками: «шовинист», «фашист» или даже «сталинист»...*

Но, пожалуй, в одном Сталин прав: «Кадры решают все»!

**Подготовка текста и публикация Антонины Пикуль.**

*Продолжение следует*

# ПОЭЗИЯ



## Неизвестная поэзия русского зарубежья

Ольга Александровна ИЛЬИНА — правнучка великого русского поэта Евгения Баратынского. Ранние ее годы прошли в загородной семейной усадьбе под Казанью и в самом городе — в доме, который был известен под названием Серый дом и являлся культурным центром города.

Во время революционного переворота Ильина, ее муж Кирилл и их малолетний сын испытали немало невзгод, но все же им удалось уйти с частями белой армии в Китай, откуда семья переехала в Сан-Франциско, где до сих пор живет Ольга Александровна.

Стихи, которые мы публикуем, взяты из книги, вышедшей в 1985 году, предисловие к которой написал Николай Баратынский — правнук великого русского поэта. Самые ранние стихи в этой книге помечены 1910 годом.

### ОЛЬГА ИЛЬИНА

* * *

Во время грозного и злого поединка,
Когда стихийный треск нам оскорбляет слух,
На память мне приходит часто Глинка
И музыки его правдиво русский дух.
Когда в порыве пламенном и скором
Творим мы новое и прошлое клянем,
Из прошлого на нас глядит с таким укором
То близко-русское, что тайно скрыто в нем.
Пусть жизни нашей склад разрушен и изранен,
Пусть Русь очистится страданьем и борьбой,
Но сердце говорит: «Сусанин!
Зачем ты жертвовал собой!»

*1917 г.*

### Над книгой прадеда

Передо мною том стихов твоих,
Они давно меня пленили.
Но каждый раз, когда вникаю в них,
Я что-то путаю... ты слишь давно
в могиле,
Передо мной и жизнь и смерть твоя,
Ты умер век назад, тебя похоронили,
А между тем ты жив — и вто я.

Мне жутко оттого, что кровь моя
не та ли,
Которая в тебе текла:
Что те же призраки вокруг тебя витали,
Когда спускалась ночи мгла.
Не те же ль у тебя минутная беспечность,
Не те же ль боль души во сне и наяву!
Мне жутко оттого, что непонятна
вечность,

А я... я все еще живу.

*1915 г.*



* * *

Наши русские осенние пейзажи,
Гулкий ветер да черные дали
Были сердцу всего милей.
Но теперь ничего мне не скажет
Ни угрюмость небесной стали,
Ни простор обнаженных полей.
Не пойму. Не узнаю даже...
День осенний дождливо-сер,
Солнце вечно где-то скрывается,
И главное — все это называется
С.С.С.Р.!

* * *

От двери к двери в морозы эти
С тобой ходили мы вдвоем и порознь,
И объясняли всем, что у нас дети,
Что мы на улице и очень мерзнем.

И мы внушали иным доверье,
Иным внушали даже жалость.
Но... отчего-то от двери к двери
Наше скитанье все продолжалось.

Ах, какая тогда была стужа!
Иная хозяйка дверь откроет немного
И крикнет грубо и строго:
«Ребенок-то есть, а нет что ли мужа!»
И прямо гонит с порога.

Другие посмотрят на мужские валенки
(А из дома на нас пахнет тестом
сдобным)
И вежливо скажут: «Если ребенок
маленький,
Мы это находим для себя неудобным».
И торопясь, чтобы булки в печке
не пересидели,
Дверь захлопнув, выкрикнут нам
в утешенье:
«Не у одних у вас дети, в самом деле,
Все теперь в таком положеньи».

«Нет нам с тобой на свете места...»
Усмехнешься. «Не мы первые...»
Но давно забытый запах теста
Будет долго терзать наши нервы.

Вспомнится няня Прасковья Егоровна,
Как она вынимает из печки пирожные
И потом нам с братом делит поровну
И говорит: «горячие, осторожно».

* * *

Вскоре после того, как замолкли орудья
И над городом павшим, что сковала
тоска,
Загорелись глаза ненасытной че-ка —
Появились на улицах странные люди:
Много почти неживых уже лиц
Цвета грязного снега.
Их глаза, словно вопли огромные
В неподвижной оправе ресниц,
Молят: «Хлеба... Ночлега...»
Но слова
Всегда такие скромные,
Слышные слова,
И протянутых рук никогда при этом,
Рамой стало наше окошко
К страшным этим портретам.
Если хлеба сухого протянешь немножко,
Возьмет руками несмелыми
(Кожа прозрачна — насквозь все видно,
Пальцы на свечи восковые похожи!)
Скажет с усильем: «Брать у вас стыдно...
Вы, наверно... были с белыми,
У вас, наверно... нет тоже».
Стараюсь угадать по лохмотьям одежды,
Какой он был части.
И в облике его перечитываю
Все великое наше несчастье,
Все наши погибшие надежды!
Он скажет: «Доброволец Волжской
Бригады...
Был ранен... остался в обозе,
Вот — ноги себе отморозил».
Стану звать его в дом — «Нет, скажет,
не надо,
Я только из тюрьмы. Вы тифом-то еще
не болели,
Тиф затащишь к вам на квартиру».
И уйдет, шагая еле-еле,
Молодое тело таща, как луб мочала,
Унося в этом жалком теле
Всю скорбь, завещанную Богом миру
Изначала.

Сегодня утром я была в ударе.
Никто меня не видел, жаль!
Я продала сегодня на базаре
За миллионы бабушкину шаль.

Я волосы платком прикрыла желтым,
Была я в бальных туфлях, без чулок.
О, как хотела б я, чтоб где-нибудь
прошел ты,
Чтоб ты увидеть это мог!

Ты верил бы тогда в мои таланты.
На пыльной площади, где визг и толкотня,
Кольцом столпились вкруг меня
Старьевщики и спекулянты.

Один из них — монгол лицом,
В гороховом пальто поверх рубахи
грязной,
Хватал меня рукой кривой и безобразной,
Украшенной сверкающим кольцом.
«Чего воротишь нос! Ведь хорошо даю,
И никакой дурак тебе не даст дороже».
Впивалась цепко в шаль мою
Его шершавая мозолистая кожа.

Другой кричал: «Уж ей не в первый раз,
Мы эту бабу знаем — шельма!»
А бабушка моя в Стокгольме родилась,
Дочь графа Симона Кронгельма.

И мы сейчас портрет ее спасли:
На фоне бархатной портьеры синей
И грозовых небес вдали
Она сидит в огромном кринолине.

Брюллов, ведь он всегда хорош,
И очень, главное, похожа:
Такая матовая кожа
И волосы, как золотая рожь.

Пунцовых губ ее любезна складка,
Надменна глаз улыбчивая сталь,
И с полного плеча, что так
округло-гладко,
Скатилась эта вышитая шаль.

Вот эта шаль, которую едва
Удерживать в руках мне удавалось.
«Ну, полтора и кончено! Ну... два
И по рукам!» Я не сдавалась.

Но, наконец, я вышла из толпы,
Но, наконец, я вырвалась на волю!
Вот. Цель достигнута — по розовому полю
За молоты зацеплены серпы.

Вот, цель достигнута, и я собой довольна.
Теперь куплю муки. Восторг,
а не житье!
Но... бедной шали было больно!
И я прошу прощенья у нее.

* * *

И сегодня мне приснился снова
Тот же сон: ты невредим и цел
И пришел сказать, что не тебя, другого,
Увели солдаты ночью на расстрел.
Ты бесшумно входишь и стоишь у двери
И спокойно это рассказываешь мне.
А я твержу смятенно, что знаю, вижу,
верю,
Верю — этот раз уж это не во сне.

Говоришь ты мне, что все была ошибка,
Очень просто — сплетня. Просто ложь.
И чудесно светит любимая улыбка,
И ты обещаешь, что больше не уйдешь.
Ты такой, как прежде. Четко, ясно вижу
Этот светлый взгляд и бледные черты,
И, теряя голос, я шепчу «Войди же!»
Холодея сердцем оттого, что ближе
Подойти не можешь ты.

*1920 г.*

* * *

Отца и дедов портреты
В моем сердце, как звездный свет —
Отец мой и дед поэты
И прадед большой поэт.

В одно сливаемся все мы,
Общей мечтой близки,
Строфы одной поэмы,
Воды одной реки

И если страшны обвалы
Чуждых и грозных скал
И тем водам не петь, как бывало,
А исчезнуть в чужих песках,

И если слабей их звучанье,
И если мутней струи, —
Боже, прими их молчанье,
Сделай его своим.

# ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



## *Летопись России: история в лицах*

# ПОИСКИ БУДУЩЕГО

**Новую рубрику журнала — *«Летопись России: история в лицах»* — открывает беседа с писателем Вадимом Кожиновым. Мы попросили его поделиться своими мыслями о состоянии и роли в нашей жизни российской исторической науки.**

— Я приветствую инициативу журнала, поскольку вопрос о том, что должны читать люди, всерьез интересующиеся историей Отечества, чрезвычайно важен и сложен. Сейчас наибольшим признанием пользуется «История государства Российского» Карамзина. Правда, многие стремятся обратиться и к «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева или к более позднему курсу лекций, прочитанному В. О. Ключевским.

Но мало кому по силам одолеть «Историю» Соловьева, состоящую из пятнадцати громадных томов: это, скорее, издание, которое необходимо для справок. Это как бы энциклопедия, с той лишь разницей, что статьи в ней расположены не в алфавитном, а в хронологическом порядке, и человеку, которому часто бывает нужно подробно ознакомиться с тем или иным историческим периодом, очень полезно иметь на полках это издание. В частности, один из самых ярких современных историков Л. Н. Гумилев в своей беседе в первом номере журнала (о которой мы еще будем говорить ниже) специально подчеркивает — Соловьев дает такое количество сведений, что любой человек, ознакомившийся с каким-либо разделом его «Истории», может сделать свои собственные выводы о том, что происходило в России в данное время.

Напротив, курс лекций Ключевского не ставил своей целью ознакомить своих слушателей (а впоследствии читателей) с фактическим, событийным развитием отечественной истории. Ключевский стремился прежде всего осмыслить закономерности исторического развития России, предполагая, что его слушатели-читатели уже знакомы с основными фактами.

Изучить же оба эти курса — задача чрезвычайно трудная, для большинства просто невыполнимая. Все-таки самым доступным и, если угодно, самым вдохновляющим трудом является «История государства Российского» Карамзина. В этом труде, начатом без малого 200 лет назад, был предпринят первый опыт фундаментального национального самосознания. Современные читатели часто сетуют, что «История» Карамзина не переиздается, и действительно, в последний раз она была издана в начале века и только сейчас снова появилась в различных изданиях с разной степенью полноты. Но я должен заметить, что основная масса людей, интересующихся историей и более или менее образованных, знает ее, как это ни странно прозвучит, в основном по Карамзину. Большинство из этих людей не читали самого Карамзина, но его «История» оказала громадное влияние на русское историческое сознание. Пушкин, Гоголь, Достоевский знакомились с русской историей по Карамзину, художники, создававшие исторические полотна, узнавали об интересующих их событиях и лицах из этой «Истории», и, таким образом, всякий образованный человек нашего времени, даже не читавший Карамзина, представляет события и героев нашей истории именно в том духе, в каком их показал, осмыслил и оценил Николай Михайлович Карамзин. Сама «История» Карамзина стала «историческим памятником», вехой в истории русского национального самосознания.

И в этом отношении «История государства Российского» и сейчас остается тем произведением (не только исследованием, но и художественным творением), с которым необходимо знакомиться человеку, претендующему на образованность. И все-таки, если говорить о настоящем историческом знании, можно заранее, без специального разбора, утверждать, что как исторический труд «История государства Российского» давно устарела. Со времени ее создания стало известно множество новых исторических фактов, далеко шагнуло вперед осмысление хода истории. Да и заканчивается она 1611 годом — Карамзин работал над ней до самой своей

кончины, но успел довести лишь до этой даты. Со стороны человека, познакомившегося с работой Карамзина, было бы заблуждением считать, что он в полном или хотя бы в достаточном объеме овладел российской историей.

*— Вадим Валерьянович, не могли бы Вы продолжить этот ряд, назвать авторов и труды, которые внесли достойный вклад в российскую историю?*

— То, что я скажу, вероятно, пойдет вразрез с расхожими представлениями о советской исторической науке. Можно смело утверждать, что за последние десятилетия, в очень трудной идеологической обстановке, наши историки сделали очень много. Правда, легко заметить, что фундаментальные курсы (предназначенные дать полное представление о ходе истории), созданные в советское время, не выдерживают никакой критики. В частности потому, что за основу в них брались те или иные тезисы классиков марксизма-ленинизма, а исторический материал подбирался с единственной целью — подтвердить эти отвлеченные положения. В этом — главный изъян советской исторической науки. Я думаю, сам Маркс возразил бы против такого способа изучения истории. Нет никакого сомнения, что настоящая историческая наука должна исходить из живого реального материала, не пытаясь заранее спроецировать на него какие-либо отвлеченные представления, а извлекая смысл, основные закономерности из изучения конкретного развития страны.

Конечно же, приступая к изучению истории, необходимо иметь какую-то предварительную концепцию, но она не должна накладываться жесткой схемой на исторические факты, а должна вступить с ними в сложное и непременно творческое соединение, чтобы концепция не подавляла факты, а факты не подавляли концепцию (а если это происходит, то, видимо, концепция негодна и от нее следует отказаться). Только так может сложиться подлинное понимание истории.

Но хотя ни один из общих курсов истории, созданных после революции, не заслуживает серьезного внимания и уважения, в то же время, и особенно за последние тридцать-сорок лет, было создано немало трудов по частным вопросам (что в какой-то мере и избавляло авторов от жесткого идеологического давления), посвященных отдельным историческим фактам, событиям, лицам, территориям, работ, среди которых есть превосходные и даже выдающиеся. Например, замечательная работа Г. М. Прохорова «Повесть о Митяе. Византия и Русь в эпоху Куликовской битвы», изданная в 1978 г., в которой исследование данного периода развито глубже, чем в каких-либо предшествующих трудах. Говорить об исключительной важности этой эпохи в отечественной истории не нужно — это общепризнанный факт (в частности, Л. Гумилев в беседе в первом номере «Нашего современника» называет Куликовскую битву главным, переломным событием в истории Руси, определившим все ее дальнейшее развитие, вплоть до сегодняшнего дня). И таких работ, как исследование Г. М. Прохорова, не так уж мало.

Но замечательных трудов, охватывающих целый ряд эпох, фактически нет. Единственное, пожалуй, исключение — это произведение того же Льва Николаевича Гумилева «Древняя Русь и Великая степь», но очень характерно, что книга была написана уже десять лет назад, а издана смогла быть только в 1989 году, поскольку никак не соответствовала неумолимо выдвигавшимся идеологическим требованиям.

Думаю, что любому человеку, стремящемуся разобраться в русской истории, обязательно нужно прочитать эту книгу. В ней не только осуществлен опыт осмысления русской истории от самых ее истоков до конца XV века,— автор поставил перед собой задачу рассмотреть русскую историю в контексте мировой истории, точнее, истории Евразии в этот период. Ни Карамзин, ни Соловьев и Ключевский вообще не касались очень многих вопросов, которые освещает в своей книге Л. Н. Гумилев, даже не замечали их.

Я не хотел бы, чтобы меня заподозрили в недоуважении к трем нашим великим историкам, но нужно учитывать, что эти труды, самому позднему из которых, курсу Ключевского, уже около ста лет, просто не могут дать современного представления об истории. Чтобы быть на уровне серьезного исторического знания, абсолютно необходимо знакомиться с новейшими работами. Увы, это, конечно, чрезвычайно трудно, когда практически все (за исключением книги Гумилева) сколько-нибудь значительные работы представляют собой исследования отдельных периодов и фактов, к тому же работы эти издавались обычно мизерными тиражами.

Вот почему инициатива «Нашего современника», преследующая цель дать слово современным историкам, а также людям, не являющимся профессиональными историками, но внимательно следящими за тем, что происходит сейчас в исторической науке, имеет бесспорно неоценимое значение.

*— Какие представления, выводы, идеи можно считать достижениями уже современной нам исторической мысли?*

— И Карамзин, и Соловьев, и Ключевский рассматривают русскую историю исключительно как историю р у с с к о г о народа. Тому есть свои причины, но тем не менее Русь всегда была многонациональным государством. Мне уже приходилось приводить летописное сообщение о самом факте создания русской государственности: «Сказали чудь, словене, кривичи и весь: земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет...» — из знаменитого предания о призвании варягов. Я не ставлю целью обсуждать сейчас, насколько достоверен факт призвания чужой династии к управлению Русью (в принципе почти во всех государствах совершалось такое «призвание»); я хочу обратить внимание на то, кто совершил акт создания русской государственности в представлении древнего летописца: финское племя чудь, два славянских племени, словене и кривичи, и опять-таки финское племя весь. Нет никакого сомнения в том, что восточные славяне во все время своего существования действовали в неразрывном единстве с финскими (на севере) и с тюркскими (на юге) племенами. Ключевский первым заговорил в своем курсе об этом определенно и даже подчеркнуто. И лишь в самом конце XIX — начале XX века стали появляться работы, рассматривающие Россию как заведомо многонациональное образование. Стоит напомнить, что Пушкин, подводя итог своей не только поэтической, но и общекультурной деятельности, сказал, что

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне
дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Из двадцати строк своего поэтического завещания Пушкин счел необходимым четыре строки посвятить утверждению о том, что он творил не для одного только русского, но в равной мере для всех народов, которые составили многонациональное Российское государство.

И нельзя не видеть, что именно после 17-го года, и особенно в последние десятилетия, наши лучшие историки достигли подлинного понимания того, что Россия на всех етапах своего существования была многонациональным государством. До 1917 года были лишь отдельные прорывы к этой теме, а между тем без нее нельзя по-настоящему понять историю России.

Когда Достоевский провозгласил, что главная российская идея — идея всечеловечности, ето во многом вытекало (хотя он специально на это не указывал) из того, что на протяжении веков определяющим для России являлось многонациональное единство (не исключающее, конечно, противоречий между отдельными нациями и племенами).

Для работ Л. Н. Гумилева определяющее значение имеет не очень распространенное ранее сознание того, что Россия никак не в меньшей степени связана с Востоком, чем с Западом, причем связь с Востоком не была чем-то «негативным» и менее плодотворным, чем связь с Западом.

К великому сожалению, в послепетровскую эпоху, когда было открыто «окно в Европу» и на Русь широко хлынули западноевропейские представления о Востоке, русским людям, в том числе и многим историкам, даже такому крупному, как С. М. Соловьев, была внушена, вбита мысль о заведомо плодотворных, «светлых» связях с Западом в противовес негативным связям с «темным» Востоком. И по сей день эта точка зрения безраздельно господствует. А Гумилев, который, несомненно, продолжает традицию очень сильной, очень интересной и стимулирующей исторической школы так называемых «евразийцев», начавшей складываться перед самой революцией и развившейся в первой половине XX века почти исключительно в эмиграции, делает очень резкий поворот и показывает, что связи с Востоком были не только очень широкими и глубокими, но и имели большой позитивный смысл.

*— Для многих наших читателей беседа в первом номере журнала, вероятно, стала первым знакомством как с теорией этногенеза Л. Н. Гумилева, так и с идеями исторической школы евразийцев. Некоторые положения, высказанные Львом Николаевичем, настолько противоречат привычным оценкам общеизвестных, казалось бы, фактов русской истории (таких, например, как татаро-монгольское иго), что могут вызвать непонимание и даже протест.*

— Так или иначе Лев Николаевич Гумилев высказал свои взгляды как на историю России, так и на историю вообще. Да, многие его суждения неожиданны и, можно предположить, просто-таки неприемлемы для множества читателей. Например, каждый увидит, что его мысли об эпохе татаро-монгольского нашествия в корне противоречат «общепринятым» представлениям. Правда, нужно сразу же сказать, что концепция Гумилева сложилась отнюдь не на пустом месте. Вывод о положительном значении сотрудничества русских и Золотой Орды делал даже еще Карамзин (в частности, он считал, что монгольское иго способствовало преодолению раздробленности русской земли, созданию единой государственности, при которой началось мощное развитие народных сил и культуры).

Но, выступая против общепринятого представления о татаро-монголах, Гумилев явно «заостряет» свою точку зрения, идет, если угодно, напролом. Несомненно, в его изложении тяжелейшие последствия татаро-монгольского нашествия преуменьшены. Однако всякое историческое исследование — в известной степени гипотеза. И только разные концепции могут создать достаточно объемное представление об истории (речь, конечно же, идет о серьезных концепциях, исходящих из глубокого понимания и данной эпохи, и всего развития страны). И поскольку до появления работ Л. Н. Гумилева противоположная концепция господствовала безраздельно, — то, что он сделал резкий крен в другую сторону, совершенно естественно.

Вместе с тем на некоторых моментах нельзя не остановиться. По-видимому, для многих читателей станет камнем преткновения утверждение Льва Николаевича о том, что монгольская армия, завоевавшая полмира, была довольно малочисленной: он говорит, что в пришедшей на Русь армии Батыя было всего 30 тыс. монгольских воинов, в то время как Русь могла выставить 110 тыс. вооруженных людей. Но если даже согласиться с тем, что число монгольских воинов в армии Батыя не превышало тридцати тысяч, из многих источников известно, что монголы широко использовали военную силу ранее покоренных ими народов, частью по принуждению, частью добровольно, по-

скольку участие в военных походах сулило хорошую прибыль. Во-вторых, 110 тыс. русских — это не профессиональная армия, а просто люди, способные держать в руках оружие, а кроме того, до самой Куликовской битвы нам неизвестны случаи, чтобы Русь выставляла стотысячное войско. И, наконец, самое важное, хотя и трудно понимаемое. Лев Николаевич упоминает о том, что луки монголов намного превосходили по своим качествам все имевшиеся тогда виды стрелкового оружия, а у лучников с детства тренировали определенные группы мышц. Но это далеко не всё. Из многих исторических источников явствует, что ни один народ в мире в то время так не готовился к войне. Монгольские мальчики с шести лет садились на коня и брали в руки оружие и, подрастая, превращались в своего рода совершенные военные машины: один средний монгольский воин мог справиться с пятью-шестью воинами любой другой армии. Еще более совершенной была разработка совместных действий воинов. Словом, в те времена, когда во главе монгольских племен встал Чингисхан, буквально вся энергия объединенного народа воплощалась в армии, и потому тогда, в XIII веке, в мире заведомо не было силы, способной этой армии противостоять.

Легко предположить, что у многих людей вызовет недоумение и даже негодование точка зрения Л. Н. Гумилева на отношения Руси и Орды в эпоху ига как чуть ли не дружески соседствующих государств. И здесь им, конечно, руководили те же мотивы (противостоять общепринятому), и выкладки его нуждаются в корректировке.

Но, однако, не совсем верно и мнение о чрезвычайной обременительности монгольского ига для русского народа.

Обращу внимание на одно очень важное, но труднодоступное исследование историка П. Н. Павлова «К вопросу о русской дани в Золотую Орду», опубликованное в «Ученых записках Красноярского педагогического института» в 1958 году. Это, пожалуй, единственная работа, где данный вопрос поставлен серьезно и конкретно. И выясняется, что в среднем на душу населения годовая дань составляла всего лишь один-два рубля в современном исчислении! Такая дань не могла быть обременительной для народа, хотя она сильно била по казне собиравших ее русских князей. Но даже и при этом, например, князь Симеон Гордый, сын Ивана Калиты, добровольно жертвовал равную дани сумму денег для поддержания существования Константинопольской патриархии...

Гораздо более пагубными, чем что-либо, были отдельные набеги татарских отрядов на русские области — но они (о чем можно прочитать у С. М. Соловьева) в подавляющем большинстве случаев были спровоцированы междоусобной борьбой русских князей и совершались по их прямому вызову. В этом смысле действительно можно сказать, что татаро-монгольское иго подорвало нравственные основы русской жизни. Одна из самых неприятных вещей заключалась в том, что платой монгольским отрядам за их «помощь» князьям было разрешение беспрепятственно грабить соседнее княжество, уводить в рабство людей и т. д.

Так или иначе есть все основания с сочувствием отнестись к тому опыту осмысления татаро-монгольского ига, который предпринял Л. Н. Гумилев. Прямолинейные исторические представления, деление моментов истории на абсолютно положительные и безусловно отрицательные никогда не дают верной картины эпохи и не способствуют формированию истинного национального самосознания.

*—...И, видимо, в случае каждого конкретного человека, будут давать ему искаженные представления и о настоящем моменте?*

—К сожалению, мы не понимаем всего значения истории для любого человека, а особенно для тех, кто так или иначе формирует общественное сознание и политику страны. Это старая беда. Я хочу напомнить замечательные слова Ф. И. Тютчева, написанные в 1868 году. Он задается таким вопросом: «Отчего в наших правительственных людях, даже лучших из них, такая шаткость, такая податливость, такая неимоверная, страшная несостоятельность? Дело, мне кажется, объясняется удовлетворительно следующим анекдотом, рассказанным мне графом Киселевым. Раз, беседуя с ним о каком-то политическом вопросе, покойный государь (Николай I.— В.К.) сказал ему: «Я бы мог подкрепить мои доводы примерами из истории, но в том-то и беда, что истории-то меня учили на медные гроши». Слово это и теперь применимо ко всем почти правительствующим, и потому следовало бы, чтобы печать без желчи, без иронии, в самых ласковых и мягких выражениях, сказала бы им: «Вы все люди прекрасные, благонамеренные, даже хорошие патриоты, но всех вас плохо, очень плохо учили истории, и потому нет ни одного вопроса, который бы вы постигали в его историческом значении, с его исторически непреложным характером. И затем следовало бы сделать перечень таких вопросов, короткий, но осязательный, указывая на их глубокие, глубоко скрытые в исторической почве корни».

Эти слова Тютчева, с одной стороны, имеют всеобщее значение, с другой — особенно важны сегодня. Подавляющее большинство людей, которые выступают сейчас как политические или идеологические деятели, историю знают очень плохо, даже те, кто получил какое-то историческое образование.

Чтобы думать о будущем, знать историю абсолютно необходимо. Чем дальше человек хочет заглянуть в будущее, тем более глубоко он должен заглянуть в историю. К сожалению, этого почти никто не понимает.

«Историк — это пророк, обращенный в прошлое», — прекрасно сказал германский мыслитель Август Шлегель. Попытка понять что-либо в прошлом требует, если хотите, творческого акта: все-таки до нас дошли лишь отдельные следы, а ведь была определенная целостность. Без момента фантазии нельзя постичь ушедшую в прошлое эпоху.

Но в то же время своим высказыванием Август Шлегель утверждает, что взгляд в прошлое и взгляд в будущее — это в конечном счете нечто единое. Плодотворность попыток заглянуть в будущее всецело зависит от способности человека увидеть в истории тот стержневой указующий вектор, который соединяет и пронизывает все эпохи развития страны.

Уместно указать на одну черту русской истории, которая проявлялась на всем ее протяжении: это ее катастрофичность, периодические «надломы», которые по своим масштабам не имеют ничего равного в истории стран Запада, да и Востока тоже. Мне уже приходилось писать об этом на страницах «Нашего современника» 10 лет назад, в 81-м году. Конечно, тогда я говорил более уклончиво, не договаривая всего до конца. Тем не менее статья подверглась резкой критике, вплоть до постановления ЦК КПСС... Но во всяком случае я сформулировал основное отличие западной истории от русской: любая западная страна, будучи раз рожденной, в дальнейшем лишь развертывала возможности, заложенные в ней. А история России представляет собой последовательность гибельных, почти смертельных крушений и последующих воскрешений: татаро-монгольское нашествие, какого не знала Западная Европа и после которого историческое развитие России пошло по другому пути; Смутное время в начале XVII века, когда начисто распалась государственность, теряла свое влияние Церковь, во главе государства становились самозванцы, которым народ, как это ни чудовищно, верил; следующий этап — эпоха Петра I...

В начале XVI века монах Филофей провозгласил, что «третий Рим стоит и четвертому не быти», имея в виду Москву и Россию. Сейчас идея Третьего Рима часто трактуется как экспансионистская, агрессивная. Люди, которые думают так, глубоко заблуждаются (просто-таки нелепо мнение Н. Бердяева, сравнившего Третий Рим с III Интернационалом; единственное сходство состояло в числе «три», которое к тому же в идее Интернационала не несло никакой смысловой нагрузки, а было только «порядковым» номером). Идея Третьего Рима была, если уж на то пошло, изоляционистской, являла собой попытку очертить Россию магическим кругом, выход за пределы которого предполагал гибель. Петр, «прорубив окно» в Европу и открыв дорогу заимствованиям у Запада, как бы признал тем самым Западную Европу «Четвертым Римом». Все историческое и духовное наследие России было надолго отвергнуто. И кстати, в России в это время было достаточное количество людей, которые рассматривали Петра как антихриста, а саму эпоху — как конец света, Апокалипсис. И, наконец, апокалипсис революции, о котором в последнее время так много (хотя чаще всего вкривь и вкось) написано.

Такое своеобразие исторического пути России наглядно, осязательно отразилось в том, что, в отличие от Запада, где главный праздник — это Рождество, в России таким праздником является Воскресение, Пасха: «смертию смерть поправ»... Это явное предпочтение, конечно, сложилось не на пустом месте.

Вникая в это, можно думать и о современной ситуации, когда у людей — и в этом нет ничего противоестественного —то и дело прорываются апокалиптические настроения. Единственной опорой в данном случае и единственным основанием для действия может быть глубокий взгляд в предшествующую историю, в частности память о том, что были времена более катастрофические (как то же самое Смутное время, когда во главе государства стал самозванец Лжедмитрий II, имевший, как явствует из сохранившихся документов, единственную цель — бросить Россию в войну с Турцией, чтобы отнять у нее Палестину и создать там еврейское государство).

Будем надеяться, что материалы, которые появятся в журнале под рубрикой «Летопись России: история в лицах», не только удовлетворят возросший интерес к истории, но и будут давать людям, так или иначе выступающим на политической арене, более серьезное понимание стержневых линий исторического развития России, с тем чтобы обращенные в прошлое пророчества смогли сделать основательными прогнозы грядущего...

**Беседу вел Игорь СТЕПАНОВ.**

---

Первые статьи рубрики
*«Летопись России: история в лицах»*
читайте в № 5



АЛЕКСАНДР АНИСИМОВ

# СУДЬБЫ РОССИИ И МИРОВЫЕ КРИЗИСЫ

## 1. КОГДА РОССИЯ НА ГОЛГОФЕ

В то время, когда Москва грезила идеями мировой революции, западноевропейский интеллигент только пожимал плечами. Немалому числу английских и американских либеральных буржуа и интеллигентов вплоть до весны 1919 года дело представлялось так: по России ходят агитаторы с красными флагами, нечто вроде христианских проповедников, и агитируют крестьян. В Москве сидят несколько мечтателей и мечтают. Красная армия — не более чем фантазия контрреволюционеров, пытающихся запугать Европу.

Между тем Советская Россия, освободившись от пут Брестского мира, получила возможность взяться без помех за строительство вооруженной силы. Осенью 1918 года принимается план: довести армию до реальной численности царского времени.

Дело идет. Численность Красной армии быстро растет, но первоначально запланированных целей достигнуть не удается. Фронты и эпидемии, вызванные ситуацией гражданской войны, пожирают людей. Базы производства металла и угля — все еще почти полностью в руках белых. В тот момент, когда надо подать руку помощи революционной Венгрии, значит, наступая на Запад от Украины, Добровольческая армия выбивает красных из Донбасса и начинает распространяться на Север и Запад.

В августе 1920 года Тухачевский издает знаменитый приказ: «Вперед к победе мировой революции через труп Польши». Но полякам удалось отбиться.

Ну а если бы не весенние наступления Колчака и Деникина? Если бы вообще не было ни Колчака, ни Деникина? Тогда, нет сомнения, Венгерская революция была бы спасена. Был бы сделан крупный шаг к всеевропейской революции.

Приказ Тухачевского был бы издан на год раньше, когда Польша еще раздумывала — слушать или нет богатого, но сумасшедшего американского дядюшку, предписавшего Польше иметь армию в 50 тыс. человек, и, сверх того, не имела военных материалов. А за Польшей лежала терзаемая победителями Германия, действительно готовая вспыхнуть революционным пламенем.

Ну а если бы пролетарская революция в Германии стала фактом, то будущее европейского истеблишмента было бы предрешено. Он разделил бы судьбу российских интеллигентов и буржуа, и не было бы никакого соревнования двух систем, потому что был бы один победитель.

Когда человек с такой головой, как у Л. Д. Троцкого, говорит, что это возможно, когда то же повторяет другой политический гений — В. И. Ленин, то это в самом деле возможно.

Мировая революция была возможна. Она не осуществилась потому, что гражданская война в России приняла чрезвычайные размеры.

К исходу 20-го года дело обстояло так, что западным буржуа и либеральному интеллигенту, которые были не прочь порадоваться исчезновению с политической арены русского колосса, повезло. Но России это дорого обошлось.

* * *

Согласно расхожим представлениям, Англия и Франция, союзники старой России, были страшно потрясены ее гибелью и после прихода к власти большевиков делали все возможное для ее возрождения — сначала помогали Колчаку и Деникину, затем — Врангелю.

Реальная картина была другой, и это ясно понимали руководители большевистской России. «Вестник НКИД» в этой связи прямо писал в разгар войны с Польшей, что Антанте больше всего хотелось, чтобы не было сильной России — ни белой, ни красной (1920, № 8, с. 17).

Все началось с того, что Англия приложила руку к низвержению Николая II. Когда самодержавие пало, Ллойд Джордж, тогда английский премьер, произнес: «Одна из целей Англии в войне достигнута».

Союзники сделали ставку на либерально-интеллигентские политические течения,



которые, как они знали, быстро приведут Россию в расслабленное состояние.

Конечно, не нужно приписывать антантовцам сверхъестественной способности к политическому маневрированию. В дальнейшем мы увидим, как они строили капкан за капканом своим политическим противникам и сами же в них попадались. Они вели завлекательную «игру с провидением в карты». Но игры такого сорта опасны, как отмечал еще Бисмарк, когда его упрекали в том, почему он не упреждает события и не нападает еще раз на готовящуюся к реваншу Францию. Всегда случается нечто непредвиденное.

И вот — то, что так и не предвидели. Как тогда писала антантовская пресса, «максималисты» взяли власть. Максималисты — значит большевики.

Хитроумная антантовская политика расслабления России дала первую трещину. Пособничество опытам керенщины по разрушению Российского государства еще не успело привести Россию на Голгофу, а союзникам уже пришлось пить из горькой чаши. Кампания 1918 года на Западе была страшно кровопролитна. Две-три сотни миллионов выпущенных с обеих сторон снарядов, включая несколько десятков миллионов химических снарядов, тучи газа, несколько миллионов убитых и искалеченных.

Внутренние долги Англии, Франции возросли в такой степени, что в послевоенный период парализовали развитие экономики всего мира. Пришлось пойти в кабалу к дядюшке Сэму. Заняли столько, что выплатить не было никакой возможности. Так, между прочим, и не выплатили. Вместо французского, английского и итальянского золота дядя Сэм получил шиш. (Неплохой пример для некоторых левых современных правительств, твердо уверенных, что чем больше они выплатят международным шейлокам, тем будут прогрессивнее.)

Можно с уверенностью сказать, что блестящие политические маневры антантовских, в особенности английских, политиков на российской почве едва не привели их инициаторов к полной катастрофе уже в 1918 году.

Подсчет итогов 1918 года был еще впереди. А политическая игра с участием антантовцев в России шла полным ходом и привела к появлению в ноябре 1918 года, наряду с деникинской властью, Верховного правителя России адмирала Колчака. В Лондоне популярна такая версия: английский представитель Нокс должен был способствовать созданию антибольшевистского демократического правительства, каковое и появилось в виде Уфимской директории (23 сентября 1918 г.). Колчак был приемлем в качестве военного министра этой Директории. А то, что Нокс и его сотрудники Нельсон, Стевени, Уорд способствовали образованию диктатуры Колчака, — это их частная инициатива.

Как бы то ни было, едва Колчак в результате переворота 18 ноября 1918 года появился на политическом горизонте, как в Лондоне схватились за головы — зачем? Война с Германией 11 ноября 1918 года кончена. Все обошлось. Россия в развалинах, слава богу. А тут этот националист, стремящийся воссоздать Великую Россию!

Первая реакция была — закрепить раскол России. Пусть большевики и антибольшевики соберутся на Принцевых островах и договорятся — каждый владеет своей территорией. Пусть большевики в Москве без хлеба, угля и стали. А Колчак на Урале и в Сибири — с хлебом, но без московских и питерских военных заводов. Суть игры Колчаку и Деникину была ясна, они отказались отправляться на Принцевы острова. Ленин действовал иначе. Он согласился — Красная армия стремительно наступала и в любом случае успела бы занять Донбасс.

«Союзники» явно стремились превратить Верховного правителя в марионетку. В популярной в Красной армии песне о Колчаке («погон английский») давалось понять, что «правитель» плясал под дудку союзников, а потом «смылся». Это было все же неверно. Не плясал, а потому и «смыться» ему не удалось. Чем дальше от 1918 года, тем больше портились отношения Колчака и Деникина с «союзниками». Оба понимали, в чем тут дело. «Им Великая Россия не нужна», — говорил Колчак. Вопреки легенде, «помощь» оружием белым шла в основном за счет захваченной ими — довольно внушительной части — государственного золотого запаса. Приблизительно с августа 1919 года — в разгар деникинского наступления — начинаются маневры, направленные на замещение Колчака правоэсеровским правительством.

Еще в начале колчаковского правления «союзники» навязали ему контроль белочехов (до 60 тыс. человек) над Транссибирской магистралью. Когда колчаковские войска откатились примерно к линии Красноярска, чехи по указке союзного командования блокировали магистраль и вырвали отречение от власти у Колчака (он ее передает Деникину). Золотой запас попадает в руки чехов, которые в конце концов вывозят его в Чехословакию. Синхронно власть в Иркутске (5 января) берет так называемый Политцентр. Как казалось союзникам, это было искомое правоэсеровское правительство. Вскоре, однако, союзному командованию в Сибири пришлось пережить разочарование: «Политцентр» у них на глазах превратился из эсеровского в большевистский.

Вот так «союзники» помогали русским националистам.

То, что произошло в Восточной Сибири в январе 1920 года, трудно назвать даже ударом в спину.

Приблизительно по тому же «сценарию» развиваются дела на юге.

Политические мошенники на высоте, и им кажется, что они «сделают хороший бизнес». Они считают, что, если оставить Россию большевикам, те ее разрушат до основания. Ведь Ленин гласно обещал в концессию территорию в 170 тысяч квадратных километров в Архангельской губернии — во сколько раз это больше Крыма? — обещал продать Америке Камчатку!

Скоро им придется разочароваться. Архангельских концессий они не получат. Камчатки — тоже. А что касается политики, — у них будет на выбор Троцкий и

Сталин. Когда оказывается, что все-таки Сталин, Запад решает морально поощрить благотворную перемену. После смерти Ленина (он для Антанты персона нон грата) сначала Англия, а затем Франция устанавливают дипотношения с СССР. Вскоре разочарованная Англия разорвет их. Потом опять восстановит — куда деваться? Игра закончилась.

Но расплачиваться за игру придется долго, и не только России, но и Западу.

Исчезновение исторической России с мировой политической арены освободило дорогу силам ада. Политолог скажет: «Да, мировое равновесие было нарушено в крупных масштабах. Должны были быть последствия. Серия конвульсий, серия войн, да еще в условиях научно-технической революции, чтобы установить новое равновесие крупных интересов. Огромные жертвы неизбежны».

Моралист скажет: «Плохо делаешь, себе делаешь».

* * *

Наконец и до Запада начинает что-то доходить. Быстрее всех реагирует итальянская буржуазия. Она знает свой пролетариат и наносит превентивный удар. К власти призывают Муссолини. Диктатура!

В 1923 году, в Москве, Троцкий волнуется: «Революция в Германии возможна». Но возможна и превентивная контрреволюция. Гитлер со своей набранной с бору по сосенке бандой пытается совершить государственный переворот. Пока это почти оперетка: колонной по улице идут совершать переворот. Гремят выстрелы, переворотчиков расстреливают. Гитлера сажают в тюрьму.

Через короткое время Гитлера выпускают из тюрьмы. И вот это — серьезный симптом. Еврейская буржуазия Германии пользуется огромным влиянием на Веймарское правительство. Гитлер же — патологический и явно опасный антисемит, строящий свой политический бизнес на погромной агитации. И тем не менее его досрочно выпускают. Он явно нужен. Что же изменилось за время краткой отсидки Гитлера?

Появилось чувство того, что Советская власть в России надолго. Укореняется страх перед «коммунизмом».

Мы видим, что со времени завершения «удачной операции» по политической ликвидации исторической России, предпринятой именно с той целью, чтобы происходящее на ее пространствах больше не беспокоило Запад, страх перед тем, что там совершается, рос непрерывно.

Первая пятилетка Сталина повергла западную буржуазию тем в большую панику, что одновременно разразился страшный экономический кризис 1929 года.

И вот совершается роковой шаг — к власти в Германии призывается Гитлер. Еще одна диктатура. Стоило ли свергать Вильгельма с Николаем, расстреливать Колчака?

Между тем это не кто иной, как антантовцы в 1918 г. заявляли, что устранение Вильгельма II с трона — необходимое условие мира.

О своеобразном параличе, в котором оказались «демократические державы» в начале 30-х годов, свидетельствует и их реакция на захват Японией Маньчжурии (1931 год). Раньше эскадры пошли бы к берегам Японии, начались бы эмбарго, блокады и скорее всего дело дошло бы до войны. Кусок жирный. Зацапав Маньчжурию, Япония получила недостающую ей сырьевую базу, неограниченные ресурсы угля и железа. Тут — проглотили.

Японцы давно тянули руки к Маньчжурии. Но если бы старая Россия оставалась в силе, они никогда не пытались бы захватить ее целиком. Захват Маньчжурии, с учетом того, чем уже владела Япония (Корея, Тайвань, пол-Сахалина), создавал в районе Тихого океана державу с примерно такой же массой населения, что и в США, и с сопоставимым сырьевым потенциалом. Это все понимали.

Международные отношения — это система силовых балансов. Так было, так всегда будет. Еще В. И. Ленину было вполне ясно, что выпадение России из мирового баланса сил к началу 20-х годов высвобождает руки Японии и делает — он так и писал — неизбежной японо-американскую войну на Тихом океане.

После захвата Японией Маньчжурии англо-американский буржуа загрустил. Он стал понимать, что воевать с Японией, пожалуй, придется.

Непрерывно давая понять, что она вот-вот начнет борьбу с коммунизмом на суше, императорская Япония приняла в 1936 году программу увеличения ВМС. Число линкоров должно было возрасти лишь с 9 до 12, но строились при этом три самых мощных в мире линкора типа Ямато, способные расстрелять каждый целую американскую эскадру, оставаясь при том вне пределов ее действительного огня. Число авианосцев было намечено увеличить с 3 до 12.

Еще до завершения этой программы Япония напала сразу на США, Англию и Голландию.

Так закончилась история с ликвидацией России как международного фактора на Тихом океане.

Борьба с Японией обошлась США и Англии очень дорого, и без сталинского вспомоществования не могла быть выигранной. Япония была добита как раз в тот момент, когда в ней завершались программы подготовки производства новых высокоэффективных видов оружия.

Ну и что, скажет иной читатель,— зато у американцев атомная бомба!

С атомной бомбой тоже не просто. Имея достаточно времени между объявленной капитуляцией и фактической сдачей соответствующих объектов союзникам, японские милитаристы получили возможность уничтожить все, что они считали подлежащим уничтожению, — в том числе документацию, имеющую отношение к созданию японской атомной бомбы, вместе с соответствующими объектами. Все же к настоящему времени установлено, что японская атомная программа была «запущена» в 1942 году, что аппаратура для разделения изотопов в промышленных масштабах была изготовлена в 1944 году. Дальше следы теряются. Исследователь этого вопроса Р. Вилкокс приводит сообщение деятеля американской разведки Дэвида Снелла, квалифицируя его как неподтвержденное, о том, что испытание японской атомной бомбы было произведено почти одновременно с взрывом хиросимской бомбы.

Впрочем, с разгромом Японии успокоение на Тихом океане не было достигнуто.

Восток — дело тонкое. Восточноазиатские алгоритмы ведения политических дел — вещь серьезная. Там, между прочим, принято, затевая какое-либо дело, поручать лучшим из имеющихся научных сил — да, да! — взвешивать его последствия, а потом — вот уж чудо! — считаться с выводами специалистов. Так действовало японское руководство, перед тем как напасть на США. Между прочим, иллюзий относительно возможности легко выиграть дело не было, говорили лишь о шансе, о том, что нужно использовать шанс.

Так действовал и Чан Кайши. Еще в разгар войны был создан специальный прогностический институт с целью оценки послевоенной обстановки. Был сделан вывод, что Китай быстро станет ведущей силой на Тихом океане. Считалось, что через относительно короткое время Китай будет производить в четыре раза больше угля, чем США.

И как только с Японией было покончено, Чан Кайши дал волю чувствам. Кто сказал, что китайская интеллигенция, за плечами которой шесть тысячелетий писанной истории, должна стоять в поклоне перед заокеанскими нуворишами — этими калифами на час?

Чан Кайши поторопился.

— Караул — «новый деспотизм», антиамериканский!—завопили в государственном департаменте США, — какую змею пригрели на груди.

Как водится, поспешно сократили до возможного минимума «помощь», а тут почему-то в чанкайшистском руководстве поселился дух склоки, административная машина режима разладилась... Бывает, если поссоришься с заокеанским дядюшкой.

Результат — знаменитый марш с севера на юг Линь Бяо, будущего неудачливого «наследника» «великого кормчего», отдал Китай Мао Цзэдуну.

Ну и что выиграл дядя Сэм?

Уже в 1952 году китайские добровольцы в Корее основательно набили морду американской армии... Били американскую армию и во Вьетнаме.

Было много чего. Был и панический страх перед ракетно-ядерной мощью маоцзэдуновского Китая в 60-е годы, лихорадочные попытки создания ПРО. Но вроде пронесло...

Только вот всем ясно, что лишь при «самоограничении» Японии в смысле торгово-экономической экспансии американский капитал может сосуществовать с японским кудесником на мировом и даже только на собственном рынке. И в какую страну восточноазиатского мира ни ткни — Южную Корею, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Китай, — всюду стремительно наращивают мускулы «экономические тигры».

Но вернемся к Европе сумрачных 30-х годов.

Привели к власти Гитлера, конечно, не для того, чтобы затем читать ему правила хорошего политического тона. Привели его потому, что так успокоительно было слышать его тирады против большевизма. Это была стратегия использования «яда против яда». Курс западных держав очевидным образом способствовал созданию примерно такой ситуации. К востоку от Гитлера «коммунизм», к западу — демократия. Хотели ли они войны коммунизма с гитлеризмом? Коминтерн не сомневался — хотели. Современные историки склоняются к другой точке зрения — нет.

Фактически, конечно, часть западных политиков ориентировалась на отсидку за забором, а другая рассчитывала, что «яд пойдет против яда». А реальный политический курс определялся взаимодействием этих двух групп.

Внутри Германии снова заработал механизм, делающий неизбежной войну.

Политическая структура гитлеровского режима образовывалась двумя основными элементами: нацистским блоком («партия» плюс партийное войско—СС, плюс «национал-социалистский» вид войск — ВВС) и офицерским корпусом сухопутных вооруженных сил и ВМС. Тут такая тонкость — по молчаливой договоренности офицерство сухопутных вооруженных сил, а также флота не состояло в гитлеровской партии, так же как не состояло в партиях Веймарской республики (армия вне политики). Это была каста со своей внутренней иерархией, со своими традициями и идеологией.

Гитлер установил полный контроль над сухопутными силами только после неудачной попытки переворота 1944 года и физического истребления ядра офицерского корпуса (5 тыс. человек).

А до войны было достаточное количество частей и офицеров, которые в любой момент выполнили бы приказ генштаба о ликвидации гитлеровского руководства. И во главе генштаба стояли люди, которые в случае чего были в состоянии отдать такой приказ.

Над Гитлером постоянно висела угроза ликвидации и замещения его монархической комбинацией.

Так что Гитлер был совсем в другом положении, чем Сталин.

Но Гитлер был нужен генштабу, а генштаб — Гитлеру.

И этот союз мог существовать только в условиях подготовки войны.

И это понимала вся Европа. По крайней мере, после выхода Германии из Лиги Наций всем было ясно, что Германия взяла курс на войну, и трудно представить себе, каким образом может сохраниться мир при существовании гитлеровского режима.

Без Сталина «демократия» не могла одолеть гитлеризм, а Сталин стремился избежать схватки с Германией. Гитлер тоже не прочь был уклониться от схватки с СССР. Подготовка к нападению на СССР шла полным ходом больше полугода, а окончательное решение было принято только 21 июня. Достаточно сказать, что конец июня — это был последний срок для развязывания войны. Приближалась осень.

Ну и что бы делала «демократия», если бы два диктатора договорились?

В кампании 1941 года СССР избежал тотального поражения, и все же оно было возможно. К счастью, немцы сделали много ошибок и, в частности, не пошли в огромную дыру, пробитую во фронте после катастрофы под Ельней, — за дырой была беззащитная Москва. Рок долго преследовал Россию, но тут он смилостивился.

О каком предопределенном успехе можно говорить, когда в 1941 г. армии разбегались после символического сопротивления, когда в 1942 году снова возник страх поражения, когда был момент отречения Сталина от власти — все, проиграли.

А эти кровавые наступления 1943—1944 годов. Каким чудом они были осуществлены? Да, был численный перевес. Но в артиллерийских выстрелах перевеса не было. По немецким данным, даже в 1944 году в этом отношении перевес, и огромный, был у немцев.

Вот потому-то Россия и потеряла на войне свыше 15 миллионов мужчин. Сегодня ей никто не говорит за это спасибо, «За что ты меня ненавидишь — я же не сделал тебе ничего хорошего?» — есть такая пословица. За что ненавидят Россию — ясно. Она сделала много хорошего.

К счастью для мира, Гитлер увлекся гремящими игрушками — ракетами — и упрямо отказывался дать «зеленый свет» королю воздуха «Мессершмитту-262». Если бы немцы имели чуть больше успеха в 1942 году, немного медленнее пятились в 1943 году, то германские ВВС успели бы стать реактивными, тогда как союзные еще два-три года оставались бы винтовыми...

А это означало — чистое небо над Германией, соответственно — новый рывок военного производства, может быть, отсутствие второго фронта.

Одним словом, война затянулась бы, скользя к патовой ситуации.

Можно сказать, к чему все эти «если бы»? Германия все же разбита, а демократия — победила.

Насчет победы демократии можно заметить, что не совсем.

«Демократия» явно могла сойти с исторической сцены в результате второй мировой войны. И в послевоенный период у нее была трудная судьба. Случайно ли это? Или есть какие-то общие причины, конкретным результатом действия которых было указанное положение вещей?

Очевидно, причины есть.

30 лет до 1914 года, как было давно замечено, — гораздо более спокойные, чем 30 лет после 1918 г., или после завершения первой мировой войны. Причем этот второй период оказался, в общем, неблагоприятным для распространения демократических учреждений. Непосредственная причина этого, как видно из изложенного, очевидна — это крах старой России. Дезинтеграция этого гигантского пространства моментально вызвала политические ураганы, которые дули затем не переставая 30 лет, причем новое мировое равновесие установилось только в конце 50-х годов.

Таков урок истории. Очень похоже, однако, что он не усвоен.



## 2. РОССИЯ И МИРОВЫЕ СИЛЫ БУДУЩЕГО

Если взять крупным планом изменения на политической карте, связанные с демографическими процессами, то основные результаты их в связи с событиями, начавшимися распадом России в 1917 г., выглядят так.

В начале века принималось в расчет, что численность населения Российской империи к его середине достигнет 300 млн. человек (это знал уже Николай II). Сегодня было бы 500—600 млн. Реальная численность населения в стране, как видим, в два раза меньше.

Если бы сталинские маневры в 1939—1941 гг. увенчались успехом и Гитлер не напал бы на СССР, то численность населения СССР составляла бы ныне 400—500 млн. человек. В том числе 300—400 млн. русских, украинцев и белорусов. Евреев было бы в «царском» варианте на земном шаре около 25 млн. человек против фактических 14 млн.

Германия бы в «сталинском» варианте контролировала всю срединную Европу с населением около 200 млн. и половину Африки. Общая численность немцев превышала бы на 20—40 млн. современную.

Англия и в «царском» и в «сталинском» вариантах сохранила бы тесные связи с Канадой, Австралией и Новой Зеландией, и искусственное разделение английского народа не стало бы фактом.

Япония и в «царском», и в «сталинском» вариантах развития геополитической обстановки сохранила бы контроль над Кореей и Тайванем, рядом архипелагов Тихого океана, а в «сталинском» варианте — над Маньчжурией и рядом вассальных государств в юго-восточной Азии. Экономически это был бы сегодня более сильный мировой фактор, чем Соединенные Штаты.

Важнейший нюанс. Восстанавливается существовавшее еще в XVI веке экономическое преобладание восточноазиатского мира. Он уже сегодня дает в два раза больше стали, чем США. Япония, Южная Корея, Тайвань с Гонконгом и Сингапуром вместе обладают явным конкурентным преобладанием на мировом рынке. С ними может бороться только Германия.

Из всех игроков, имевшихся в наличии на мировой сцене в начале XX века, выиграл только один, тогда державшийся в тени. Это — Соединенные Штаты.

Еврейскому народу удалось создать государство — Израиль. Но он понес чудовищные потери как в результате гитлеровского голокауста, так и косвенно в результате выпадения из процессов воспроизводства наиболее продуктивных элементов.

Восстанавливаются арабский и ирано-индо-арийский мусульманские миры. Восстанавливается тюркский мир. И индийский и индонезийский миры восстановлены и находятся в стадии экономической реорганизации.

В результате устроенной России в XX веке Голгофе Европа потеряла свои демографические позиции. Численность русского народа по отношению к численности китайского народа приближается к тому, что мы имели в XVI веке. То же самое — численность англичан по отношению к численности населения индийского субконтинента.

* * *

В настоящее время СССР — на пороге превращения в конфедерацию, и, вероятно, никогда уже не будет обладать прежним внутренним единством.

Первопричиной этих явлений, по-видимому, можно считать политическую слабость русской нации в качестве этнического ядра государства. Россию можно резать по живому телу. Она не реагирует. Характерно, например, что о своем суверенитете объявила группа автономных республик РСФСР (Карельская, Коми, Якутская) с численно преобладающим русским населением[1].

2 августа 1989 г. в «Литературной газете» был опубликован проект государственной реорганизации СССР и РСФСР, в котором предусматривалось превращение в практически самостоятельные государства всех союзных и автономных республик и практически всех автономных областей и округов (АОБ и АОК) и сверх того образование на территории России в чисто русских областях ряда государств: 1) европейской России со столицей Ленинградом (58,8 млн. человек); 2) Урала (14,5 млн.); 3) Западная Сибирь без богатых нефтью Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АОК (10,3 млн.); 4) Восточная Сибирь (без Якутской АССР, Хакасской АОБ и Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Усть-Ордынского, Бурятского АОК) (5,5 млн. человек); 5) Дальний Восток без Еврейской АОБ, без Чукотского и Корякского АОК и Камчатки (6 млн.); 6) Камчатки без Корякского АОК (0,4 млн.)[2].

Проект этот показывает, в каком направлении развиваются события. Он, по-видимому, может быть реализован.

Характерной особенностью всех существующих проектов суверенизации российских территорий является отсечение европейской России от центров производства сырья, в первую очередь нефти. Это, конечно, будет иметь самые тяжелые последствия не только для европейской России, но также Украины, Белоруссии, Прибалтики, ибо очевидно, что «суверенные» производители дефицитного сырья будут пытаться сбыть его, в первую очередь на мировом рынке, а уже остаток пойдет на внутрисоюзный рынок.

При конфедеративной структуре СССР реальным конкурентом мировым державам может быть только РСФСР — если она не утратит государственного единства. Если же она его утратит, а события развиваются в этом направлении, то государства, которые будут существовать на территории СССР, даже при сохранении его номинального существования (наподобие Германской империи в средние века) будут играть на международной арене второстепенную роль.

Кто же выиграет?

Если начать с Европы, то нужно иметь в виду, что с объединением Германии здесь еще только начался процесс перегруппировки политических сил.

Соседями Германии являются Австрия, Чехословакия и Венгрия. Все эти страны тяготеют экономически к Германии. В процессе перехода Чехословакии и Венгрии к частной экономике германский капитал вернется на свои старые позиции и в экономике Чехии, и в экономике Венгрии. Таким образом, вновь возникнет среднеевропейское экономическое пространство с ядром в виде Германии. Вместе с тем если Россия утеряет единство, то Польша, Прибалтика, Белоруссия и Украина также войдут в германскую экономическую зону. Общий рынок соответственно диссоциирует. Вообще можно сказать, что с объединением Германии все планы интеграции Западной Европы лопнули.

При частном хозяйстве германский капитал наверняка возьмет верх над американским и в России. Он здесь вернется на свои позиции до 1914 г. Русское общественное мнение, усматривающее первопричину возникновения распадных тенденций в России в американской политике, определенно отдаст предпочтение германскому капиталу.

Экономически срединная Европа будет уступать США, но несущественно.

Источником американского влияния в Европе всегда было существование СССР. Поэтому исчезновение СССР как образования существенно более сильного, чем Европа, сразу меняет положение вещей. Потенциал американского присутствия в Европе падает.

Однако эпицентр мировых событий переместится в XXI веке в район Тихого океана. Здесь снова заработал механизм противостояния Великой Восточной Азии и Соединенных Штатов.

В американском подходе к делу четко трассируется одна любопытная черта. Ее можно определить как мышление в дестабилизирующих категориях. Может быть, именно это главная причина того, что в США нашлись многие десятки миллиардов долларов для создания систем первого удара, особенно эффективных в отсутствие ПРО, и не нашлось денег для развертывания ПРО. Так вот и живет мир. ПРО фактически запрещена, а развитие систем первого удара практически не ограничено никакими соглашениями. Иррациональная ситуация.

США стали проявлять серьезный интерес к созданию ПРО только в воздушно-космическом, дестабилизационном варианте. Все — или ничего. На практике это обычно означает — ничего.

[1] В Карелии — 792 тыс. населения (перепись 12.1.1989 г.; всех карелов в СССР — 131 тыс., из которых лишь 48% говорят на языке своей национальности (СССР в цифрах в 1989 году, с. 40. Ежегодник БСЭ, с. 165). В Коми АССР (12.1.1989 г.) 1263 тыс. жителей, всех коми в СССР — 345 тыс., из которых 70% говорят на языке своей национальности (Ежегодник БСЭ, 1989, с. 166; СССР в цифрах в 1989 году, с. 40). В Якутской АССР (12.1.1989 г.) 1336 тыс. жителей; всего якутов в СССР — 382 тыс. (Ежегодник БСЭ, с. 170; СССР в цифрах в 1989 году, с. 42.)

[2] См.: «Литературная газета», 2.8.1989, с. 10.

Дальнейшему уже не приходится удивляться.

Отказ от развертывания систем ПРО США и СССР (кстати, при наличии такой общесоюзной системы дезинтеграция Союза была бы затруднена) был прямо-таки равносилен стимуляции гонки стратегических вооружений в малых и средних странах, которые таким путем могли надеяться стать на одну ногу с великими.

И вот результат. На Ближнем Востоке ракетным вооружением и средствами массового поражения в ядерном и химическом вариантах обзавелись все основные действующие лица.

Первым на Ближнем Востоке начал производить собственные стратегические ракеты Израиль. Затем — Ирак. Затем — Иран.

Иракско-иранская война имела ту важную особенность, что она в отличие от арабо-израильских войн протекала без вмешательства «сверхдержав». Это привело к тому, что война была очень длительной.

Существовало мнение, что стороны истощат друг друга.

Произошло же, скорее, обратное. И Иран, и Ирак создали в ходе конфликта довольно мощную военную промышленность, причем к концу войны Иран производил почти все необходимое для его сухопутных сил оружие и боеприпасы. В обеих странах появились и крупные вооруженные силы.

Уход Советского Союза с мировой арены соответственно увеличил зависимость малых и средних стран от США. Одни из них смирились с этим обстоятельством. Другие, наоборот, стали активно наращивать свой военно-экономический потенциал, что и создало кризис на Ближнем Востоке.

Запад находится перед лицом очень любопытной ситуации. Когда он, способствуя свержению шахского режима, выбил из игры Иран, вверх пошла та чаша политических весов, на которой было написано «Ирак». Когда он разбил Ирак, снова пошла вверх чашка политических весов с Ираном. В любом случае рядом со стратегически важными нефтепромыслами Персидского залива будет находиться местная мощная военная держава.

Циники давно утверждали, что малые и средние страны существуют только потому, что великие мира сего никак не могут договориться, как их поглотить. Во всяком случае, противоречия между большими державами придают реальную ценность понятию суверенитета малых и средних стран.

И даже условием политического существования либералов в китайском руководстве, как оказалось, были советско-американские противоречия. Когда СССР лег на параллельный курс с США, в КНР автоматически взяли верх сторонники «опоры на собственные силы», а патриотические ценности начали вытеснять в китайском обществе либеральные.

Началась долго назревавшая революция в соотношении сил в Тихоокеанском регионе и, значит, во всем мире.



* * *

Существует своеобразная «империя», которая формально давно канула в Лету, а фактически продолжает оставаться пока что основным действующим лицом на международной арене. Это — бывшая Британская империя. Англия, США, Канада, Австралия (Новую Зеландию и Южную Африку в расчет брать не будем). Страны английского языка и преобладающего английского населения и в первой, и во второй мировых войнах, и в годы холодной войны, и сейчас, когда разворачивался кризис в Персидском заливе, выступили и выступают единым фронтом. Вот и получается, что Британская империя, или, если угодно, британский мир, по-прежнему существует и, по крайней мере применительно к ситуациям критического характера, должна рассматриваться как единое целое.

События второй мировой войны, завершившейся разгромом Германии, привели к крайнему ослаблению значения фактора Европы в мировой политике. И только в последнее время, в связи с революциями в странах Восточной Европы, Великим Советским Отказом и воссоединением Германии появляются хорошие перспективы для оживления европейского фактора.

В Восточной же Азии дело обстояло иначе. Восточная Азия располагала потенциалом, чтобы почти немедленно после разгрома одной великой восточноазиатской державы — Японии выставить дубль в виде Китая.

Уже в 1956 г. в КНР были запущены программы разработки ядерного и ракетного оружия.

В 1958 г. начался знаменитый «большой скачок». Задачи, которые ставились во время «большого скачка», были грандиозны.

Два момента сорвали эту грандиозную программу: неудачная коллективизация, вызвавшая голод, и разрыв с СССР.

Мао Цзэдун хорошо знал, что помешало Сталину решить принятую XVIII съездом ВКП(б) задачу — догнать в основном в 1942 г. по уровню промышленного развития США. Нападение гитлеровской Германии! Понимая, что Китай, рекламируя планы своего экономического развития, «засветился», руководители этой страны после разрыва с СССР перенесли центр тяжести своих усилий в военную область и сельское хозяйство. Нужно было в приемлемые сроки создать непробиваемую оборону и решить зерновую проблему, чтобы в случае войны не вымереть с голоду.

В результате развитие собственно тяжелой промышленности затормозилось. Оборонные же программы имели блестящий успех. В 60-е годы, судя по данным наблюдений из космоса, площади предприятий военной промышленности утроились («Нью-Йорк Таймс», 12.08.1980). Атомная бомба была испытана в 1964 г. Синхронно с ней — трехступенчатая баллистическая ракета («Чайна реконстрактс», 1984, № 10, 32). Китай теперь мог достать США. В 1967 г. Китай имел уже водородную бомбу. В 1970 г. — межконтинентальную ракету для ее доставки в США с любого направления. В середине 70-х годов в варианте Великий поход — 2 (ВП-2) она уже использовалась для запуска тяжелых спутников («Бэйцзин ревью» 1986, № 34, 23).

В том виде, какой они приобрели к 1985 г., стратегические силы КНР, по официальной оценке, уже были в состоянии решать задачи, возникающие при длительной ядерной войне, и, в частности, быстро реагировать на изменения в обстановке в ходе конфликта такого рода («Бэйцзин ревью», 1985, № 18, 20).

25 октября 1979 г. газета «Монд» опубликовала интервью являвшегося тогда заместителем начальника генштаба НОАК У Сюцюаня, заявившего, что цель КНР в военной области — выйти на уровень сверхдержав по состоянию на 1979 г. в 1990 г. и догнать их в 2000 г. Практически у Китая сегодня не меньше боеголовок, чем у США.

Летом 1989 г., когда США после изменений в пекинском руководстве взяли курс на наказание КНР санкциями, стало ясно, что сила Китая недостаточна, чтобы заставить американское руководство в новой обстановке безусловно считаться с ней.

Пекин быстро отреагировал и не счел нужным особенно скрывать свою реакцию.

Опубликованные по итогам 1989 г. данные дали такую картину: при увеличении национального дохода на 3,7% инвестиции в основные фонды в текущих ценах упали на 11%, а розничные продажи в постоянных ценах — на 7,6%.

Внимательный читатель может отсюда сделать вывод о росте военных расходов КНР в 1988—1989 гг. вдвое, до величины в 20% ВНП.

Между тем, по опубликованным в популярном ежегоднике «Милитэри бэланс» (1983—1984) данным ЦРУ, ВНП КНР в юанях в 2 раза больше видимого. Сейчас он сравним с американским.

Экономически Китай сейчас идет на обгон США, а это — деликатная процедура. С обгоняющим может что-то и случиться. Германия обогнала в начале XX века Англию, но тут возникла первая мировая война. СССР обогнал в конце 30-х годов и Англию, и Германию, и пошел на обгон США — и оказался жертвой гитлеровского нападения. Как ни вертелся Сталин, ему не удалось избежать войны. Япония, как считали ее лидеры, упредила события, и напала на Соединенные Штаты.

Пока США располагают тайваньскими позициями и системой баз на линии Филиппины — Япония, стратегические позиции КНР и США асимметричны. США могут задействовать против КНР большое количество систем передового и морского базирования, включая палубную авиацию, крылатые ракеты морского базирования. Аналогичные возможности у КНР практически отсутствуют.

Чтобы ликвидировать это положение, КНР необходимо установить контроль над Тайванем. Первая попытка в этом отношении была сделана в 1958 г., и она сразу поставила КНР на грань ядерного конфликта с США. Урок был усвоен. Свыше 30 лет Тайвань не трогали. Но так без конца продолжаться не будет.

Это — та пороговая ситуация, к которой приближается мир.

Как только КНР переступит через тайваньский порог, положение в Восточной Азии изменится. США окажутся перед перспективой ухода сначала с Филиппин, затем — из Южной Кореи, затем — с Японских островов.

Япония, как известно, ограничивается минимальными военными расходами. Говорят, что она глубоко осознала пагубность милитаристских увлечений. Однако возможен и другой взгляд на вещи, тот самый, которого, похоже, придерживаются в Японии: лишенная сырья и не располагающая крупным территориальным базисом, эта страна просто не может быть в современном мире великой военной державой. Тем более бессмысленно будет Японии предпринимать военные усилия после того, как Китай укрепит свой стратегический базис, воссоединившись с Тайванем.

Если СССР сохранит значение крупного военного фактора, силовое поле Китая им будет частично нейтрализовываться, и вероятность нейтралистской ориентации внешней политики Японии после воссоединения КНР и Тайваня будет выше. Если же на месте Сибири в результате суверенизации возникнет мозаика мелких государств, то потенциал китайского влияния на Японию после определенного переходного периода окажется достаточным, чтобы «сдернуть» ее с американской орбиты и включить в китайскую зону влияния. В Японии в свое время были активны дружественно настроенные к Китаю круги, виднейший представитель которых — премьер Танака в начале 70-х годов лишился власти после того, как — очень «вовремя» — обнаружилось, что он получил взятку от американской компании «Локхид». При усилении КНР и ослаблении СССР эти круги антиамериканской ориентации снова активизируются.

Уже в первом десятилетии XXI века Китай окажется перед перспективой серьезного сырьевого кризиса. Уже сейчас рост нефтедобычи в континентальных областях КНР практически прекратился. Добыча угля растет медленно. Экологическая обстановка — неблагоприятная. Продовольственная ситуация решительному улучшению не поддается. В этой ситуации растет заинтересованность Китая в доступе к сырьевым ресурсам относительно слабо освоенных в хозяйственном отношении территорий с небольшим населением. Это — Сибирь, Монголия и Австралия, частично — Юго-Восточная Азия.

Чем прочнее будут стратегические позиции КНР в Тихоокеанском регионе, тем легче получить ей доступ к ресурсам соответствующих территорий, тем большая часть их будет использоваться для покрытия китайских потребностей. В случае суверенизации сибирских территорий, а это — вариант, на который ориентируются влиятельные круги, Сибирь окажется в положении своеобразной маргинальной зоны между Европой (с доминирующим германским фактором), Китаем и США.

Существование СССР как более или ме-

нее сильного государства означает для Китая гарантию того, что сибирские территории не будут в той илн иной форме (союз или ассоциация) поглощены США. При «ливанизации» же СССР такая перспектива появится. А это автоматически активизирует сибнрскую политику КНР, и территориальный вопрос вновь будет поставлен Китаем в повестку дня.

Если СССР выйдет из игры, превратится в ассоциацию суверенных государств, так что его потенциал будет складываться из потенциалов этих государств и он будет много меньше, чем в настоящее время, то США практически невозможно отказаться от ядерного оружия. Сохраняет ли ядерное оружие СССР — не имеет значения.

Между тем США слабеют. США сегодня — в отличие от того, что было еще совсем недавно (вспомним Вьетнам), — ие в состоянии без санкции ООН идтн на конфликт со средней военной державой, какой является Ирак. На помощь зовут международнсе сообщество. Причем оказывается, что, по существу, очень много зависит от Китая — даст или не даст КНР санкцин на блокаду (дала), даст или не даст санкцию на военные операции против Ирака под флагом ООН (КНР не наложила «вето» на «войну в заливе»).

Сегодня в связи с созреванием тайваньской проблемы для решения КНР склонна придерживаться буквы международного права. В этом — отличие от маоцзэдуновской эпохи, когда преобладал идеологизированный подход. Однако возврат к идеологизированной международной практнке для КНР еще возможен.

Как бы то ни было, Китай — та гравитационная масса, вокруг которой начинает вращаться и американская политика.

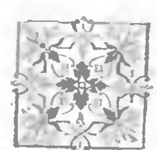
Демографическое давление является фактором, который в большинстве случаев ведет к индивидуализации политического поведения на международной арене. Поэтому рост демографического давления, несомненно, способствует увеличению клуба ядерных держав и вообще стран, обладающих средствами массового поражения. А это делает мировое равновесие все менее устойчивым.

«Ливанизация» СССР в этой обстановке при быстром изменении соотношения сил США и КНР означает, что жесткость мировой структуры резко падает. При этом автоматически увеличивается вероятность столкновения маневрирующих на мировой арене масс. Появляются и новые арены такого столкновения.

Если взять в расчет размеры китайской мощи, то, вероятно, наиболее рациональный для американской политики вариант — это отступление перед Китаем. Постепенная сдача ему позиции в западной части Тихого океана и осторожная политика в отношении советского пространства. Тогда и через 40 лет положение США будет завидным. Но доминирующая роль в Евразии перейдет к Китаю, влиянне которого ослабит связи Старого Света с Новым — сначала на Востоке, затем — на Западе.

В известном смысле восстановится положение, существовавшее в средние века. Новый Свет — сам по себе. Старый — сам по себе.

Такова будет конец политики Нового Света в отношении евразийского пространства... если Новый Свет будет разумен. Но это только одна из вероятностей.







АНАТОЛИЙ САЛУЦКИЙ

# НАЧАЛО КОНЦА ИЛИ КОНЕЦ НАЧАЛА?

ЖЕСТОКИЕ ЗАМЕТКИ

...Кстати, в стране нашей сложилась еще одна школа глазных лечений — профессора Алевтины Бровкиной. По шкале научных достижений она признана в мире самой передовой, однако в нашем Отечестве о ней мало известно. Почему бы Святославу Николаевичу не поддержать материально своих коллег, чтобы они прочнее встали на ноги, лечили бы сограждан, а заодно добывали для страны валюту? Ей-богу, с точки зрения народного здоровья это было бы куда патриотичнее, чем аграрно-политические упражнения. Или же тут вступают в силу законы конкуренции, вынуждающие других глазников прозябать в тени федоровской славы?

А боязно мне, когда слушаю Федорова, вот от чего. Святослав Николаевич — личность яркая, известная. И когда он активно пропагандирует свой глазной эксперимент,— а по этой части достижения действительно впечатляют! — доказывая, как плодотворна аренда, однако умалчивая об источниках своего первоначального накопления, а также о величине валютных выплат в бюджет, то у многих людей может возникнуть соблазн пойти федоровским путем, на это и расчет Федорова-политика. Но, увы, для рядовых людей, мечтающих о предпринимательстве, но не обладающих, как Федоров, стартовым капиталом, такой путь не чем иным, кроме разочарования, не обернется — так в жизни и происходит. Впрочем, и тут дело серьезнее: не отдельных людей, а всю страну неосторожно тщатся повернуть невесть куда, соблазняя исключительным примером. Результаты, к сожалению, уже налицо, да то ли еще будет?

Помнится, на XIX партийной конференции развернулась полемика между Юрием Бондарёвым и Святославом Федоровым. Бондарев говорил о том, что перестройка подобна самолету, который взлетел, не ведая аэродрома посадки. Федоров же утверждал, что знает место приземления. Свыше двух лет минуло с тех пор, и, похоже, прав-то оказался Бондарев, ибо неизвестность впереди все более сгущается, а горючее для двигателей перестройки, то есть доверие народное, явно на исходе. Однако же и Федоров не зря слово молвил. В тот год открывали в Калуге очередной МНТК, и на торжества прибыл Святослав Николаевич. После был дружеский ужин с соками, поскольку все еще процветала антиалкогольная кампания, лица, сопровождавшие Федорова, читали длинные заздравные вирши в его честь. А когда руководителю МНТК предложили познакомиться с калужской землей, он ответил, что спешит на самолет, чтобы лететь на Байкал, где егеря уже обложили для него медвежью берлогу и ждут на охоту. Так рассказывал мне один из участников того дружеского ужина, отмечая при этом, что Святослав Николаевич хорошо знает, куда лететь и где приземляться[1].

Совсем не лишним представляется мне напомнить и о другом Федорове — первом нашем кооператоре, открывшем знаменитое кафе в Москве, на Кропоткинской, 36,

Окончание. Начало в № 2 за 1991 год.

[1] Обозревая бурную коммерческо-политическую деятельность С. Федорова, невозможно обойти вниманием поразительный факт, ставший недавно достоянием общественности. Министерство обороны СССР для получения валюты намеревалось продать за рубеж на металлолом несколько устаревших подводных лодок. По существующим правилам 85% валютной выручки МО обязано передать в бюджет, оставив на свои нужды только 15%. В этой связи С. Федоров предложил перекупить металлолом для продажи на экспорт, утверждая, что добьется «наверху», чтобы 95% валютной выручки остались в его распоряжении. Военные были поражены такой оборотистостью за счет государства, умением добиваться для своей фирмы особо льготных условий. Тут кстати вспомнить, что в 70-е годы, когда пошлина на ввозимые в СССР автомобили иномарок составляла 100%, Федоров в порядке исключения добивался для себя пошлины только в 10%. Иными словами, Святославу Николаевичу вообще свойственно добиваться особых привилегий за счет государства. Учитывая это, нравственно ли выставлять себя напоказ в качестве примера?

всего-навсего в... бывшем доме князей Трубецких. Вспомним-ка, что писала в свое время о замыслах А. Федорова «Литературная газета»:

«Городские организации помогли первым кооператорам не только ремонтом старинного особняка (на это было затрачено 30 тысяч рублей), но и приобрели для него первоклассное оборудование на 25 тысяч рублей — финскую печь «Юно», компактные, но вместительные холодильники «Розенлев», гэдээровский привод (кухонное устройство, выполняющее 16 операций). Была куплена буфетная стойка — такая же красивая, как в импортных фильмах, в стол вмонтированы приспособления для моментального приготовления бутербродов, там можно сварить яйца, суп и пр. В кафе будут стоять две печи СВЧ».

С какой же это стати так расщедрился Главобщепит? Почему создал для кооператоров особо льготные условия? Почему снабдил материализованным в импортном оборудовании первоначальным капиталом? Хочу надеяться, не было здесь криминала, а был всего лишь торопливый чиновничий ответ на мощную кооперативную волну, шедшую в то время с политических высот, дружно поддержанную прессой. К тому же Федоров сулил предоставить москвичам прекрасное обслуживание. Вот как писала об этом «Литгазета»: «Посетителей должны привлечь не только скорость обслуживания и свежесть продуктов, но главным образом невысокие цены. Очень сытно позавтракать можно будет на рубль-полтора, очень сытно пообедать — на полтора-два... Итак, первое в Москве кооперативное кафе готовится распахнуть свои двери перед каждым прохожим».

Без слез эти строки сегодня читать невозможно. Какие полтора-два рубля! При чем тут каждый прохожий? Около кафе на Кропоткинской, 36 до полуночи стоят «мерседесы» и «вольво», «форды» и «тойоты», оно превратилось в дорогой ресторан для иностранцев с самыми изысканными деликатесами, здесь расплачиваются твердой валютой. Облапошил Федоров Главобщепит и нас с нами. Облапо-о-о-шил. Под шум верховных речей и пропагандистских статей, обещавших рядовым москвичам неслыханный сервис, урвал у государства распрекрасное оборудование, закупленное на валюту, и занялся своим бизнесом. Сегодня у входа в этот ресторан даже нет вывесок на русском языке,— только «по-аглицки».

И эта подмена выглядит поистине символической: вся перестройка такова — начинается с обещаний для народа, а оборачивается выгодами для толстосумов-дельцов.

И вот что еще любопытно. Недавно Телевизионная служба новостей сообщила, что в каком-то городе ограбили горкомовскую столовую, в результате чего вскрылось: в ней была хорошая колбаса и сыр, хотя магазины кругом пусты. Пропагандистский факт, по нынешним меркам достойный первой программы ЦТ. Но никто почему-то не интересуется, с какой базы снабжается А. Федоров — черной икрой, балыком, семужкой и прочими забытыми народом русскими деликатесами, привлекающими иностранцев. Причем не только Федоров, а и многие другие валютные, престижные кооперативные кафе. О времена, о нравы! — наступившие в наших замечательных демократических средствах массовой информации. Кстати, почему бы «Литгазете» не вернуться к старой теме и не предать гласности федоровскую метаморфозу?

Или же некоторые из работников «ЛГ» иногда ужинают на Кропоткинской, 36?

Возвращаясь к программе «500 дней», которая перво-наперво хотела отоварить «горячие деньги» теневиков, продав миллионщикам средства производства и благородно называя эту акцию стабилизацией рубля, хочу перевести вопрос из плоскости экономической в самую что ни на есть обиходную, психологическую — поверить великие преобразовательные рыночные планы прозой повседневной жизни.

Нет ныне ни в ком сомнений, что та часть «горячих миллиардов», какую держат в руках миллионщики, сколочена неправедно,— через шашлычные, где продавали магазинное мясо, через безналоговую перепродажу компьютеров, через мыльные, табачные и прочие крупномасштабные спекуляции. Теперь предлагают всем нам закрыть глаза на грязные истоки первоначального предпринимательского накопления и легализовать теневую экономику, предоставив ей право завладеть средствами производства,— в трогательной надежде на то, что, заполучив желанное, нынешние теневики мигом перевоплотятся в добропорядочных, благодетельных, цивилизованных предпринимателей, пекущихся о насыщении рынка товарами.

Более опасной и выдающейся политической наивности, на мой взгляд, представить невозможно! Если кооперативный грабитель-шашлычник, благодаря махинациям с магазинным мясом, выкачивал из кармана клиентов по 200 процентов прибыли, то с какой же это стати он превратится в честного владельца кафе, готового ограничиться, как во всем мире, 10—12 процентами чистого дохода? Да он из кожи вон вылезет, чтобы правдами-неправдами добывать более дешевое государственное мясо, в условиях неизбежного дефицита обкрадывая народ, до конца оголяя магазинные прилавки, оптом, подешевле скупая то, что предназначено для домашнего стола.

Если посредник вроде Тарасова вложит свои миллионы в мебельную или пуговичную фабрику, в заводик стройизделий или механические мастерские, то зачем ему надрываться на ниве производства в условиях напрочь разбалансированного материально-технического снабжения, каждодневно идя на риск срыва, да вдобавок даже при наилучшем ходе дел получая не больше 15 процентов чистой прибыли,— опять-таки, как во всем мире? Купить-то он заводик, пожалуй, и купит, дабы вложить несметные свои деревянные рубли, да скорее всего законсервирует собственность. Несмотря на некоторые издержки консервации, которые он с лихвой компенсирует продолжением высокодоходного посреднического бизнеса. А уж я не говорю о такой напасти, как мафиозные монопольные группировки, которые задавят, задушат того, кто попытает-



ся по совести, честно вести дело[2]. Если сегодня в Москве рыночная мафия по дешевке, оптом, прямо на вокзалах скупает крестьянский товар, жестко расправляясь с неуступчивыми, если она не позволяет снижать на рынках цены, сурово карая непослушных, то почему же в рыночных условиях она должна утихомириться? Наоборот, еще более расцветет!

Все это проходил нынешний цивилизованный капитализм сто пятьдесят лет назад, и лишь ценою многих тяжких десятилетий, через кровь, слезы и кризисы достиг нынешней стабилизации.

Однако же наши остродефицитные условия, в которых мы начинаем путь к рынку, и капитализму не снились. А потому ждут нас новые, неведомые западному миру хозяйственные болезни, излечивать которые никто еще не умеет. В этой связи вспоминается мне небезызвестный заводик стройизделий в Бутове, под Москвой,— тот широко разрекламированный арендный заводик, которым поначалу руководил нынешний депутат М. Бочаров, ведающий теперь всей экономической мыслью России. Сколько восторгов было по части того, что заводик после перехода на аренду сразу на 30 процентов повысил производительность труда,— об этом и президент напоминал. Но позволительно поинтересоваться: за счет чего успех достигнут? Вопрос этот возник вот по какой причине.

На лесоторговой базе близ Подольска, где продается бутовский пенопласт, несколько лет назад с большими трудами выездил я с десяток кусков этого утеплителя — величайшая в то время торговая редкость! Но заработала в Бутове аренда, и пенопласт стал появляться чаще, слегка спал дефицит. Да вот незадача: сравнил я новый бутовский пенопласт с прежним и ахнул: нынешний-то вполовину жиже, на просвет смотрится, из-за свирепой экономии материала качества никакого, а цена прежняя! Вот они, корни моментального роста производительности и прибыли: за качество арендной продукции государство уже ответственности не несет, пока дефицит, делай что хочешь, выкачивай деньги недобросовестным товаром. А сколько времени будет длиться этот дефицит, никто ответствовать не может, тем более, как показывает жизнь, немало людей, целые группировки заинтересованы в дефицитных кризисах.

И еще обращает на себя внимание святая, истинно кабинетная уверенность составителей «500 дней» в том, что все выброшенное ими на рынок государственное имущество будет распродано, и 200 миллиардов рублей вернутся в казну. Не убоятся ли многие нувориши обнародовать размеры личных капиталов, написав на фабриках и заводах свои имена? — не убоится ли гнева народного в том случае, если вместо ожидаемого благоденствия наступит хаос? И с другой стороны, найдутся ли сегодня в нашей стране те 150 тысяч фермеров, которые уже запланированы в «500 днях», как потенциальные покупщики земли разоряемых колхозов?

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.

Ведь с продажей населению квартир, которую горячо проповедовал академик О. Богомолов, уже обмишурились: не стал малоденежный народ выкупать у государства свои жилища. В Москве администрация Попова была вынуждена пойти на то, чтобы бесплатно передать квартиры в собственность жильцам. Не бескорыстно, впрочем, для моссоветовских стратегов, которые таким внешне благородным, а на самом-то деле хитроумным маневром уходят от жэковских коммунальных хлопот по содержанию жилого фонда, перекладывая на плечи москвичей многомиллиардные расходы: раздобудь-ка в условиях страшенного дефицита нужные ремонтные материалы, сговорись-ка при рыночной экономике с малярами или сантехниками — три шкуры сдерут за услуги, а схалтурят — и спросить не с кого. Думаю, когда в тяжкой маете и муках ремонтных разберутся москвичи, какой подвох учинили им новые люди в Моссовете, потребуют досрочных выборов.

Правда, в Ярославле план академика Богомолова все же начал осуществляться. В этом полумиллионном городе в 1989 году было выкуплено у государства... 16 квартир. Но в девяностом году выяснилось: все покупщики перебрались в другие места, перепродав свои квартиры по тройным ценам,— собственность! сколько хочу, столько и деру. Вот чем на деле оборачивается кабинетный академический замысел Богомолова, который активно пропагандировали «Аргументы и факты», почему-то прикусившие ныне язык на этот счет.

Да и вообще, если окинуть мысленным взглядом судьбу всех недавних экономических нововведений, которые подобрали на задах Европы иные экономисты, то с горечью приходится признать, что в неподходящей для этих новаций российской действительности почти все они оказались вывернутыми наизнанку, вместо блага принося одни лишь хлопоты и приведя страну к глубокому кризису.

Учиться и заимствовать у других стран, конечно же, полезно. Но еще и историю надобно знать хорошенько. Упиваясь по-

[2] Когда вводили индивидуально-трудовую деятельность, обнаружилось немало честных людей, желающих открыть свои маленькие мастерские по ремонту обуви, металлоизделий и так далее. Но, как известно, вопреки радужным надеждам прессы, такие услуги не привились, ничего у большинства кустарей не получилось. Изучение этого любопытного парадокса понуждает сделать еще один грустный вывод относительно дикости наших «рыночных» нравов, ломающих надежды на этот путь хозяйственного возрождения. Дело в том, что кустарю необходима первоэтажная мастерская на людной улице, но обращения по этому поводу в горисполкомы были бесполезными. Те нежилые помещения, которые удалось отвоевать у контор, отошли к шашлычным и прочим кооперативам. Как говорится, по сведениям из криминальных источников, взяточная такса муниципального чиновника за квадратный метр нежилой первоэтажной площади в Москве достигала полутора тысяч рублей. Разумеется, для брежневского цеховика, отмывшего миллионы через 3-процентный налог, отхватить таким манером весь первый этаж и шикарно отделать его деревом и металлом, вплоть до чеканки, было сущим пустяком. Но честный работяга-обувщик или блинопек, конечно, был не в состоянии «отстегнуть» 20—30-тысячную взятку за небольшую мастерскую.

литическими виражами Великой Французской революции, ища в ней аналогии перестройке и пугая термидором, неплохо бы получше освоить историю российскую. И если уж говорим мы о вопросах экономических, то не мешало бы нынешним лоцманам перестройки вспомнить о Российском торговом уставе, еще в 1667 году созданном главой Посольского приказа Афанасием Лаврентьевичем Ординым-Нащокиным. Западник, чистый западник был Нащокин, отстаивая насущную потребность перенятия зарубежного опыта. Однако же перечитайте его торговый устав, написанный добрым русским языком, и убедитесь, как глубоко и въедливо защищал он отечественные интересы, препятствуя хищной иноземной вольнице, не разрешая пришлым купцам торговать в розницу, а только оптом, не допуская их во внутренние города, не дозволяя им задешево скупать наши товары у мелких производителей, запрещая использование золотых и ефимков прусских, понуждая менять валюту в российской казне. В результате, как писал Соловьев, «борьба с иностранными купцами кончилась торжеством русских». В этом немало помог старинный русский торговый устав, подготовивший великую эпоху петровских преобразований, а потому ознакомиться с ним не мешало бы нынешним шмелевым, широко раскрывающим ворота навстречу зарубежному хищнику.

## НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Если внимательно присмотреться к сути нынешних международных отношений, то нетрудно увидеть, что они вступили в такую фазу, когда начался очередной передел мира. Пропагандистские штампы вроде «нового политического мышления» или «приоритета общечеловеческих ценностей»,— это всего лишь своего рода «поп-политика», «поп-дипломатия», рассчитанные на потребление малосведущих масс. А уж профессиональным-то политикам доподлинно известно, к чему клонится дело. Спустя пятнадцать лет после подписания соглашения в Хельсинки, на века закреплявшего послевоенное статус-кво в Европе, внезапно и стремительно произведен пересмотр итогов второй мировой войны. Но история,— а особенно судьба Версальского договора, заключенного летом 1919 года,— учит, что пересмотры итогов мировых войн — это не просто политико-дипломатические и пограничные процедуры. В такие переломные моменты воспламеняются реваншистские настроения побежденных, вспыхивают давние государственные и межнациональные конфликты, разгораются былые обиды, колеблются границы и непредсказуемо утрачивается стабильность мирового развития. Лишь святой наивец может предполагать, что попытка стереть с географической карты Кувейт случайно совпала по времени с упразднением ГДР. Хусейн точно выбрал сроки для осуществления давних планов.

Начался очередной передел мира, и в этом всеобщем возбуждении имело смысл рискнуть.

Нет здесь возможности полностью изложить историю мировых переделов — начиная с гибели трехтысячелетних египетских фараонских династий под ударом греко-римской цивилизации. Но если приблизиться к нашим дням и к родным очагам, то первый, так сказать, естественный передел мира исторически совпал с образованием Московского государства. Именно в ту пору различными способами, но в едином потоке завершался многовековой процесс, замечательно воссозданный долгопамятным историком Сергеем Михайловичем Соловьевым,— из мелких, разрозненных княжеств и герцогств формировалась в общих чертах нынешняя карта Европы.

Детонатором следующего мирового передела стала эпоха великих географических открытий, завершившаяся возникновением колониальной системы. В середине XVII века знаменитый немецкий ученый Лейбниц разработал концепцию Европейского союза для обеспечения вечного мира. Нет, речь вовсе не шла о взаимных обязательствах. Отражая простоту политических нравов той эпохи, Лейбниц безо всяких дипломатических увёрток утверждал: завоевательная энергия европейских стран должна выплеснуться в другие части света. Удовлетворив аппетиты за счет иноземных народов, европейцы между собой будут жить в мире. Каждая из крупных держав получала, по Лейбницу, свою долю мирового пирога: Англия и Дания — Северную Америку, Франция — Африку и Египет, Испания — Южную Америку, Голландия — Восточную Индию, а Швеция — Россию. Эта картина колониальной экспансии оказалась близкой к действительности, только Россия перечеркнула геополитическую стратегию Лейбница, прорвавшись к западному морю и, вместо колониальной участи, встав при Петре в ряд великих держав.

Известно, не своеволием царя, а насущной потребностью российского развития была продиктована эпоха петровских деяний. Петр явился великим выразителем великих стремлений, зревших в недрах народного сознания. Со времен Скифии и Сарматии Россия была повернута к востоку, откуда через широкие степные ворота между Уралом и Каспием вкатывались опустошительные нашествия. Только при Иване Грозном, покорившем Астраханское и Казанское царства, страна развернулась к западу, чтобы приобщиться к европейско-христианской цивилизации, которую Россия веками защищала от степняков, позволяя ей утрясать нелегкие средневековые проблемы без вторжения внешнего врага. России судьбой предназначено спасать Запад от Востока, а Восток от Запада,— писал впоследствии Бердяев.

Однако приобщение к передовым нациям было возможно лишь при равных отношениях. И страна, закаленная веками освободительных войн с Ордой, восстала против колониальных намерений иноземного купца и попыток духовного принижения со стороны иноверного проповедника,— а намерения эти и попытки выявились сразу по началу сношений.

Уже тогда обнаружилось, что Российское государство не предрасположено к иноземному порабощению,— будь то военное, экономическое или духовное. Внутренние вериги — опричнина, крепостничество, сталинщина,— этого на российском пути хватало с избытком. Но едва на горизонте возникал внешний враг — с мечом, в рясе или со скипетром,— народ, оставив раздоры и обиды, пробуждался для отпора. Сколько на российском престоле перебывало иноземцев из чужа — начиная с Рюрика, князя варяжского,— а и они не смогли привести страну в колониальное стойло для выдаивания. Более того, многих пришельцев духовно обротала великая страна, сделав своими патриотами и побудив верой и правдой служить Отечеству.

Парадокс мировой истории состоит в том, что европейская экспансия заморскую Индию колонизовать сумела, а Россию, куда пути пролегали более легкие — посуху, да и горы барьером не вставали,— Запад не одолел. Тайну этого парадокса поведал Соловьев, писавший, что «отсутствие резких физических границ было заменено для русского народа духовными границами, религиозным различием на востоке и юге, вероисповедным на западе; в этих-то границах крепко держалась русская народность и сохранила свою особность, самостоятельность».

Уже при первой попытке сблизиться с европейско-христианской цивилизацией Россия натолкнулась на диктат и окончательно осознала, что без выхода к морю уравняться с Западом невозможно. Веками длилось историческое движение страны «от востока к западу, от Азии к Европе, от степи к морю». И пришли сроки, когда отсутствие западного моря стало преградой на пути экономического и культурного развития, более того, ставило под вопрос политическое существование России. А море заперто на ключ, и ключ у шведов.

Иван III, затем Иван Грозный пытаются пробиться к Балтике — тщетно! И Грозный, обуздав характер, просительно предлагает передать русскую торговлю в руки англичанам, лишь бы с их помощью завладеть одной гаванью на Балтике,— но бесполезность просительства лишь усугубила горечь унижения. А царь Алексей Михайлович бьет челом герцогу Курляндскому, испрашивая позволения строить корабли в его портах. Политическая наивность, очевидно, вызвала у герцога усмешку, ибо ответ был дерзкий, без надежд.

И вот настал черед Петра.

Нет нужды описывать ход двадцатилетней Северной войны, смысл которой сводился к превращению изнемогавшей от блокады континентальной державы в морскую. Не буду напоминать и о колоссальных тяготах, выпавших в ту пору на долю народа,— даром, с легкостью историческое движение не дается. Но зато итогом почти двухвековой борьбы за выход к Балтике стал Ништадтский договор 1721 года, по которому «Швеция уступала Петру и его преемникам в полное, неотрицаемое, вечное владение и собственность завоеванные русским оружием Ингерманландию, часть Карелии, всю Эстляндию и Лифляндию с городами Ригa, Ревель, Дерпт, Нарва, Выборг, Кексгольм, островами Эзель и Даго».

Соловьев так оценивал новую ситуацию: «Одно из величайших событий европейской и всемирной истории свершилось: восточная половина Европы вошла в общую жизнь с западною; что бы ни задумывалось теперь на западе, взоры невольно обращались на восток». И хотя по торгово-промышленной части России не удалось ликвидировать разрыв, возникший из-за перипетий средневековой истории, но высочайший взлет российской культуры XIX века, этот духовный взрыв мирового значения, безусловно явился следствием выхода из континентальной изоляции.

Стремительное выдвижение России в разряд мировых держав знаменовало собой окончание очередного мирового передела. И оценивая его историческим взглядом, небесполезно вспомнить, как именно проходил тот процесс, который в истории государства Российского именуется собиранием земель. Достаточно посмотреть на карту, чтобы сразу понять: процесс этот был аналогичен формированию национальной территории Франции, которая постепенно включала в себя Бретань, Прованс, Лангедок, Корсику. Точно таким же путем в состав Англии вошли Шотландия и Уэльс, что было естественным для островного государства. Той же тропой позднее двинулись и Северо-американские штаты, присоединившие окраинные Техас и Калифорнию...

Хотя за минувший год я ни разу не встретил в нашей прессе слово «империализм», однако же невозможно отрицать тот общепризнанный факт, что первая мировая война явилась диким всплеском именно империалистических противоречий, требовавших для своего разрешения нового передела мира. Европейские киты Англия, Франция и Германия яростно грызлись за континентальные и заморские территории. Доктрина Монро, предполагавшая первенство США в Западном полушарии, получила импульс к глобализации — разбогатевшая Америка рвалась править судьбами мира, заменить уходящий в прошлое «Пакс Британика» системой «Пакс Американа», то есть «Мир по-американски». Со своей стороны, «мир по-тевтонски» требовал, среди прочего, немедленной аннексии Курляндии и Литвы.

А какие планы строились в отношении России? По мнению главного советника президента США Вудро Вильсона техасского полковника Хауза, самым приемлемым решением было бы расчленение России, поскольку (цитирую) «Россия слишком велика и однородна для безопасности мира». Конкретно, задумывалось отделение Сибири и раскол европейской России на три части. Если же говорить о более широких геополитических соображениях, то Вильсона страшило создание колоссального блока славянских народов, способного влиять на судьбу мира.

И сегодня, переосмысливая семнадцатый год, безнравственно ограничиваться только внутренними социально-политическими проблемами России. Как сложилась бы после первой мировой войны судьба Российского государства без октябрьского переворота? Можно лишь гадать, в какой мере удалось бы нашей стране избежать участи расчленения, уготованной для нее тогдашними воротилами нового миропорядка: может

быть, их планы реализовались, а возможно, и рухнули,— история не любит сослагательных наклонений. Но зато есть твердый, непреложный исторический факт: несмотря на Брестский мир и Тартуский, большевики в конечном итоге сумели сохранить великое Российское государство, созданное естественным многовековым собиранием земель.

И оценивая послеоктябрьскую эпоху, невозможно не считаться с этим, не класть эту заслугу на чашу весов.

Собирание земель в единый монолит издревле составляло одну из особенностей русской истории. И продажа Аляски, находящейся за Беринговым проливом, драгоценнейшей по нынешним стратегическим меркам Аляски, не явилась для России делом противоестественным, хотя нанесла колоссальный урон грядущим государственным интересам. Это была заморская территория, и с позиций верховной геопсихологии она не вписывалась в целостность великой континентальной державы. Аляской не особенно дорожили. Спустя века эта своеобразная геопсихология подспудно проявилась при хрущевском решении передать Украине Крым, не имевший общей границы с монолитом Российской Федерации. Снова геопсихология взяла верх над национальным интересом.

Ну, а от Крыма, как говорится, рукой подать до наших дней.

Когда первый съезд народных депутатов РСФСР провозгласил Декларацию о суверенитете России, надеждой встрепенулись сердца миллионов россиян, уставших от удручающего забвения республиканских интересов в угоду общесоюзным. Но оправдались ли надежды? Не вдаваясь в детальный анализ концепции российского суверенитета, хочу поставить основополагающий вопрос, о котором, похоже, и не задумались вовсе разработчики этой концепции, горячо, а вернее бы сказать, горячечно увлеченные сугубо сиюминутными соображениями. Напористо выясняя властные отношения с центром и политические с компартией, они подошли к делу внеисторически и забыли разобраться в главном. Сделав особый пропагандистский упор на понятии суверенитета, они не озаботились решающим вопросом: о какой России идет речь?

О России ампутированной — без Крыма и балтийского побережья, без выхода к южному и западному морю?

Снова, в который уже раз за последние годы имеем мы дело с подменой, на сей раз поистине роковой. Когда начались националистические брожения в прибалтийских республиках, западный мир испытал сильнейшее антисоветское возбуждение. «Развал коммунистической империи!», «Крах большевистского государства!» — эти громогласные вопли, раздававшиеся сперва по зарубежным голосам, а далее прозвучавшие и в нашей прессе, как бы сдвинули акценты с истории и географии в сферу идеологии и политики, коварно сведя территориальные вопросы исключительно к соперничеству двух социальных систем. Сиюминутная в масштабе тысячелетней истории политическая драма XX века полностью заслонила общеисторическую эпопею мировой цивилизации.

Конечно, во многом виновата в этом и наша пропаганда, семьдесят лет игнорировавшая вечное в угоду злободневному. Долго мы вели российское летосчисление только с семнадцатого года, делая исключение лишь для литературы и искусства, зато полностью предав забвению геополитические интересы государства, заменив их интересами идейно-политическими. Эту идеологическую догму охотно и отнюдь не бескорыстно подхватила западная мысль. И многие ли в состоянии сегодня соскоблить толстые пропагандистские набелы с глянцевой поверхности глобуса, чтобы увидеть под ними истинные, вечные, несмываемые никакими политическими растворами глобальные устремления крупных держав? Тот главный стержень политики, о котором поведал лорд Пальмерстон в своем знаменитом изречении: англичане не имеют постоянных друзей, а имеют постоянные интересы.

Да, нелегко докопаться сейчас до политической первоосновы, очищенной от идеологических напластований. Однако же надобно вспомнить, сколько немыслимого дипломатического коварства извечно чинила нам Англия на всех этапах истории государства Российского,— в попытках не допустить нас к Балтике. Надобно вспомнить наполеоновские планы. Надобно, наконец, вспомнить хитроумную европейскую балансировку американского президента Вудро Вильсона, правившего с 1912 по 1920 год и предложившего недолговечную систему послевоенного устройства Европы, закрепленную Версальским договором. Ну а что касается Германии, тут и вспоминать нечего — пакт Молотова — Риббентропа у всех на устах. И если собрать все эти воспоминания воедино, да если наложить их на нынешнюю международную ситуацию, то сами собой отпадут пропагандистские набелы и откроется истинная суть происходящего.

А она, как уже сказано, состоит в том, что идет очередной передел мира, и державы стремятся к осуществлению своих вековечных целей.

Да, идет новый передел, причем в условиях необычайно, невиданно выгодных для вершителей нынешних глобальных судеб. На сей раз дело поворачивается так, что им не придется прибегать к силе оружия: война выиграна без войны. Частично возможны аляскинские варианты — на новый, разумеется, пропагандистский лад. А если и запахнет в воздухе грозой, то вовсе не мировой, а гражданской — внутренним российским хаосом, на котором тоже можно погреть руки, исполняя давний, вожделенный замысел, расчленяя огромную страну, лишая ее величия и державности.

Как не понимают, не видят всего этого Президент Горбачев, российские парламентарии и их вождь Ельцин? Можно ли столь близоруко, внеисторически, столь сиюминутно рассматривать вопросы, которые уже не единожды вставали в российской истории и каждый раз влекли за собой серьезнейшие потрясения? Неужто дальше срока в пятьсот дней не идет мысль нынешних лидеров и законодателей?



Когда рухнула берлинская стена, памятуя извечный германский «динамизм», всполошились Франция и Польша, заволновались Англия и Америка, не говоря уже о настоящей панике в Израиле. И только Горбачев на киевской встрече с экстренно прибывшим в СССР Миттераном невозмутимо заявил, что «германский вопрос сегодня не актуален». Но Коль с блеском использовал свой исторический шанс: года не прошло, как ГДР исчезла с географической карты. Европейский расклад сил переменился в мгновение ока. Еще вчера диссидент Гавел критиковал бывшее чехословацкое руководство за подобострастие по отношению к Москве. А сегодня в Прагу прибывает Геншер, и президент Гавел подобострастно бежит навстречу столбом стоящему немецкому министру иностранных дел. Уже по этой телевизионной картинке ясно видны новые отношения в Европе. Теснят не только Москву, но и Америку — грядет дипломатия дойчемарки, которую даже в странах Ближнего и Среднего Востока уже сегодня берут куда охотнее, нежели доллар.

Восточная Европа, выйдя из сферы советского влияния, радостно бросилась в объятия Запада, ожидая манны небесной. Однако катастрофические экономические кризисы в Болгарии и Румынии, полная неясность польского варианта и резкое ухудшение социально-экономической ситуации в Венгрии и Чехословакии заставляют говорить об угрозе восточноевропейского тупика, чреватого новой перекройкой границ. Вот-вот распадется Югославия, тенденции к отделению нарастают в Словакии, усиливается напряженность среди венгерского меньшинства в Румынии. Пока главы государств обмениваются декоративными визитами, а министры иностранных дел демонстрируют шедевры трибунного красноречия, во встречах лидеров с глазу на глаз, в неофициальных беседах доверенных персон, в эшелонах власти, занятых стратегическим планированием — на этой тайной политической «кухне», где издавна готовятся блюда, подобные пакту Молотова — Риббентропа,— уже закладывают в мировой котел новые глобальные комбинации.

Не может быть иначе — к этому обязывает возникшая в мире нестабильность. Идет передел!

Появились и новые противоречия. По душе ли американцам германизированная Европа с подслащенным, внешне импозантным восточноевропейским неоколониализмом? Ведь именно неумеренного возрастания немецкого влияния опасались США на протяжении всего XX века... На чем будет основан новый порядок в Европе? После наполеоновских войн на Венском конгрессе 1815 года восторжествовала теория баланса сил, которая продержалась сто лет — от Ватерлоо до Сараево, обеспечив континенту длительный мир. Президент Вильсон, как уже говорилось, попытался заменить классический баланс сил системой соглашений и расчленением Европы, дабы было в ней поменьше соперников для США. Но Версальский договор очень скоро лопнул, и спустя двадцать лет разразилась новая мировая война.

Известный русский политолог и мыслитель Иван Александрович Ильин писал по этому поводу: «...идея расчленения европейских держав была однажды выдвинута на Версальском конгрессе. Тогда она была принята и осуществлена. И что же? В Европе появился ряд небольших и в самоотстаивании слабосильных государств: Эстония, Латвия и Литва... Ясно только, что приготовленное ими расчленение Европы, заключенной между германским и советским империализмом, было величайшей глупостью двадцатого века».

В ракетно-ядерную эпоху баланс сил, военный паритет между США и СССР позволил прожить без войны почти полстолетия. Но сегодня теория баланса отброшена, на смену ей пришло «облако в штанах», именуемое новым политическим мышлением. Ядерная война безусловно отдалилась,— однако не выльется ли возникшая нестабильность, очередной передел мира в новые формы острого соперничества мировых держав? Удастся ли бесчисленными заявлениями о стремлении к гармонии и сотрудничеству восстановить нарушенное мировое равновесие? Так называемая «реалполитик»— не заявления, а практические действия и факты уже сегодня вынуждают усомниться в искренности западных лидеров и их способности полностью контролировать ход событий. Вопреки правительственному соглашению в Польше уже возникло так называемое правительство Восточной Пруссии, распространяются листовки за подписью «волки Восточной Пруссии», требующие реванша и перекройки польских границ на старогерманский лад.

А в дипломатии идет самый обычный торг с использованием экономических рычагов — доллара, фунта, дойчемарки, испанских песет и даже турецкой лиры. И Горбачеву, видимо, приходится весьма часто вспоминать слова Вудро Вильсона, сказанные им применительно к Англии: «Как трудно сохранять с ней дружественные отношения, если ты не выполняешь всего того, что она хочет от тебя». В этой фразе обозначена именно та цена, которую нынешняя советская дипломатия платит за дружественные отношения с Западом.

А хочет Запад прежнего — расчленения России.

Да, после бурных перестроечных событий и полной легализации в СССР антикоммунизма идеологические и военные цели, которыми долго руководствовался Запад в отношениях с нами, стали второстепенными,— престиж советской идеи подорван, а кризис экономики резко ослабил потенциал великой державы. Сегодня она не опасна, и главная забота заключается в том, чтобы увековечить такое положение, устранить саму возможность российского возрождения. Путь к этому самый надежный — расчленение.

И хотя западная пропаганда все еще прокручивает идеологическую, большевистскую тему,— это все только на языке. На уме-то совсем-совсем другое: идет передел мира, и необходимо воспользоваться им в геополитических корыстно-экономических интересах.

Неужели, повторяю, невдомек все это Горбачеву, Ельцину и российским, украин-

ским, белорусским парламентариям, усиленно расшатывающим государство? Неужели идеологические шоры и сиюминутное политиканство застили им историю собирания России, в которой разноплеменные народы обрели прочность положения и успокоение после трагических бурь XVI—XVII веков? Неужели сталинско-хрущевско-брежневские издержки, от которых мы сейчас избавляемся, способны заслонить главное — великую обоюдную пользу единой могучей державы? Такой державы, в которой не было бы притеснения и ущемления никому, в том числе русскому народу.

Не так уж трудно спрогнозировать судьбу каждой республики в случае ее выделения из традиционного Российского государства, да еще в условиях начавшегося передела мира, когда сильно заколебались государственные границы. Армения, например, рискует оказаться зажатой мусульманскими странами, без выхода к морю, с блокированными наземными путями сообщения, почти без энергоресурсов. Расчет на богатую армянскую диаспору? Но американская журналистка, изучавшая ситуацию в Ереване, сказала мне: «Калифорнийские армяне не дадут ни единого доллара. Пусть не надеются».

Можно обозреть так все республики, но более всего волнует меня судьба той из них, которая дала само имя великой державе,— судьба России. Ее сейчас пытаются раздрать на части, растащить по национальным сусекам, расчленить то ли на пятьдесят независимых штатов, то ли на регионы со своими правительствами,— какие только идеи на этот счет не вынашиваются в воспаленных умах иных новоявленных политиков, еще более распаляющихся от поощрительного внимания Запада, но не желающих учитывать завет Ивана Ильина о роковой опасности расчленения держав, доказанной последствиями Версальского договора.

Впрочем, сегодня, когда государство наше под угрозой распада, нуждается в уточнении и само географическое понятие — Россия, в связи с чем неизбежно встает вопрос о Прибалтике.

Разве не понимают наши радетели отделения прибалтийских республик, что Россия, каким бы ни было ее завтрашнее государственное и политическое устройство, просто не может существовать — физически! — без свободного выхода к Балтийскому морю? И если в скором времени это невозможное все-таки свершится, то потворщиков сего история наречет временщиками, а народ проклянет как зачинщиков нового смутного времени. Ибо, повторяю, не сможет Россия нормально дышать без западных портов, начнет задыхаться, мучиться и снова, как не раз бывало в истории, грозно встанет на дыбы. Страшную, разрушительную мину под будущее закладывают те, кто потворствует отделению прибалтийских республик, наивно или сознательно прикрывая этот процесс сугубо политическими соображениями, не беря в расчет вековые геополитические интересы великой страны [3].

Понимаю, какой большой шум может подняться вокруг мною высказанного о невозможности российского существования без прибалтийского выхода к морю. Не исключаю, что немедля пустят в ход уже набившие оскомину «националистические» и «шовинистические» аргументы. Однако все это будет не более чем очередной сиюминутной политической трескотней, а говоря попросту,— чушью и бреднями, ибо речь идет о вековых реалиях, с которыми не вправе не считаться ни один здравомыслящий человек, о жизненных нуждах государства, которые игнорировать может либо не ведающий истины, либо подстрекатель.

Кстати, как отнеслись бы американцы к желанию Техаса, завоеванного позднее, выйти из состава США? Почему Канада, которая вместе со всем западным миром навязчиво учит нас, как поступать в Прибалтике, ни в какую не хочет дать вольную своим французским провинциям, а ищет так называемый «консенсус» для сохранения целостности государства? И правильно, между прочим, делает. Почему Испания не торопится бежать навстречу сепаратизму басков? Почему Индия не устает водворять порядок в штатах, требующих отделения?..

Раздумывая о завтрашней судьбе Советского Союза, Российской Федерации, обязаны мы сегодня мыслить в широких исторических масштабах, учитывая опыт прошлого и возможные последствия нынешней политической горячки. Между тем создается впечатление, что некоторые журналисты, особенно из молодых, не проникшихся еще чувством историзма,— речь не об интересе к истории, а именно о чувстве историзма, что далеко не одно и то же,— словно в опьянении от вседозволенности, беспечно подливают бензин в разгорающийся костер нового передела мира. В самый разгар прибалтийских прений и дебатов по проблеме немцев Поволжья телепрограмма «Взгляд» подала вдруг сюжет о Калининграде, называя его Кенигсбергом и подчеркивая, как много там немецкого, рассказывая об одном из немцев, приехавших туда с Волги. Конечно, этот злободневный, по-своему сенсационный, но политически безответственный сюжет, истинную суть которого сами его создатели, нынешние российские парламентарии, по младомыслию разгадать не сумели, через несколько месяцев аукнулся уже в мировом масштабе.

На следующий же день после подписания в Москве соглашения «2+4» о воссоединении двух Германий радиостанция «Свобода» передала интервью с одним из советских журналистов, в котором рассматривалась будущая судьба... Пруссии. Да, да, уже не Калининграда, а Пруссии! И журналист, потакая интервьюеру, охотно соглашался, что в недалеком будущем Пруссия снова войдет в состав Германии.

А следом прозвучали слова лидера поволжских немцев, подтвердившего, что такое развитие событий не исключено, и надо бы подумать о переселении в Калининград.

Повторяю, эта передача пошла на следующий же день после заключения Московского соглашения, обозначая тем самым ход последующих событий в Прибалтике. И не надо быть провидцем, чтобы предсказать дальнейшее: быстро переварив бывшую ГДР, большая Германия устремит свои взоры на Калининград, развив мощное торгово-политическое давление и пользуясь экономической слабостью России. Наша славная дипломатия поначалу завопит «Нет! Нет!» Однако позднее, сделав красивую мину, к чему ей в последние годы не привыкать, пойдет на аляскинский вариант. А почву для него будут интенсивно готовить «независимые» журналисты.

И снова на карте Европы появится Гданьский коридор, соединяющий Германию с Пруссией. Впрочем, не исключено, что прежде появится другой коридор — как бы зеркальное отображение Гданьского, но по названию Литовский, и будет он соединять Россию с Калининградом. Но европейская история показала, что все эти коридоры — жутко непрочная и взрывоопасная штуковина, что-то вроде бикфордова шнура. И как только такой бикфордов шнур будет проложен по карте Европы, новому политическому мышлению жить останется недолго, его быстро постигнет участь Версальского договора [4].

Таково наше тревожное завтра. А сегодня прямо на глазах хотят растащить Россию, совсем отрезать ее от Балтики, и пресса, совесть нации, не только не бьет в набат, а потворствует этому гиблому замыслу. Уверен, ни в одной стране мира нет и быть не может такой вольницы для таких антипатриотических, антинародных заявлений, унижающих государственное достоинство, как при нашей новоявленной «демократии». Попробовал бы кто-нибудь пискнуть нечто подобное в благословенной Америке! Общественное мнение до конца дней подвергло бы его остракизму.

Но опять-таки не то в нашем Отечестве. Газета «Молодежь Эстонии» глумится над государством, прогнозируя конец Советского Союза: «Первой выходит из состава Советского Союза Россия. После выхода России никто уже не может удерживать прибалтийские страны, и они окончательно порывают связи с Советским Союзом. Одна за другой закавказские республики заявляют о прекращении своего незаконного пребывания в составе Советского Союза. Так как Киев ничего не способен решить, самостийная украинская республика провозглашается во Львове. Формируется украинская освободительная армия, которая начинает двигаться на восток. В районе Донбасса стычки переходят в вооруженный конфликт между Украиной и Россией. Олжас Сулейменов призывает к освобождению исконных тюркско-татарских земель от русского владычества. Начинаются бои, в которых участвуют добровольцы из мусульманских стран. Естественная граница между Туркестаном и Россией должна пролегать по линии Казани. Япония получает свои «северные территории» навсегда, а остальные Курильские острова — в аренду на 99 лет».

Возможно, кому-то и весело читать этот «социально-утопический набросок», в котором, как утверждает «Молодежь Эстонии», «есть и основные черты сходства с жизнью». Автор, эстонский поэт Яан Каплинский, ничтоже сумняшеся отбрасывает Россию к временам Ивана Грозного. Но трагизм ситуации заключается в том, что попытка отшвырнуть Россию далеко назад, лишив ее стратегических в торгово-промышленном и оборонном отношении земель, попытка повернуть российскую историю вспять, в домосковскую эпоху, просматривается в действительности. И в этой связи приходится цитировать уже не утопический набросок из безответственной молодежной газеты, а серьезную, проблемную, прогнозную статью из самой что ни на есть официальной газеты «Известия».

Говоря о том, что Россия объявила суверенитет, автор статьи так комментирует это решение: «оно является просто эпохальным событием, не имеющим аналога в тысячелетней истории этого государства. Это означает полную переоценку всех высших ценностей, которые лежали в основе существования сначала самодержавной, а затем и большевистской России. Это, по сути, отказ от идеи «богоизбранности», «исключительности», «мессианства» (конец цитаты). И далее: «Да и само понятие «Россия» уже ставится под сомнение как собирательное, так как на этом географическом пространстве имеются многие национально-государственные образования».

Превращение России в «географическое пространство», происшедшее под пером кандидата исторических наук (!) А. Миграняна в главной официальной газете, удручает своей сиюминутной заполитизированностью, полной оторванностью от исторических реалий, а также элементарной путаницей понятий, очередной подменой тезисов. Мигранян, известный своими требованиями «железной руки», ведет речь о государственных свойствах России, но позволительно спросить: когда, в какие же это века, при каких правителях или вождях Российское государство выдвигало на острие своей политики идеи «богоизбранности, исключительности, мессианства»? В те века, когда оборонялось от кочевых нашествий? Когда отстаивало независимость в борьбе с князьями литовскими и шведами? С Наполеоном? Наконец, с Гитлером?.. Не перепутал ли Мигранян слагаемые в той формуле Николая Бердяева, которую я приводил выше, и не приписал ли России

---

[3] Когда Верховный Совет РСФСР обсуждал вопрос о статусе свободной зоны для Находки, главным доводом «за» стало именно то обстоятельство, что доступ к балтийским портам теперь крайне затруднен. Иными словами, депутаты понимают блокадную опасность, нависшую над российской морской торговлей: ведь Находка не в состоянии компенсировать потерю Балтики. И тем не менее именно российский парламент недальновидно, политикански, вопреки смыслу и опыту истории, поддерживает идею немедленного прибалтийского отделения.

[4] В газете «Лос-Анджелес таймс» весной 1990 года была опубликована моя статья под названием «Горбачев: судьба Вудро Вильсона?». В ней рассматривалось сходство некоторых аспектов внутренней политики двух президентов. Дело в том, что версальский триумфатор из-за внутриполитических ошибок лишился доверия американцев. Конгресс США даже принял решение о проведении расследования, какие и за что подарки получала чета Вильсонов в Европе... Но сегодня становятся актуальными и аналогии во внешней политике, если иметь в виду судьбу Версальского договора, детища Вудро Вильсона.

ту государственную идеологию, какой отличалась Германия, особенно при Адольфе? Или же он просто потрафляет расхожим ныне, модным суждениям, никакого отношения к российской государственности не имеющим, а пущенным в оборот нынешними политиканами для того, чтобы опорочить оппонентов, и только?

С холодным сердцем рассуждает Мигранян о будущих судьбах России, прогнозируя ликвидацию великой тысячелетней страны, в которой веками соседствовали многие народы. И не ведает, какую накликает на них страшную беду. Но ответом ему и прямым укором служат горячие, страстные, пророческие строки того же Ивана Ильина: «...расчленители России попытаются провести свой враждебный и нелепый опыт даже и в послебольшевистском хаосе, обманно выдавая его за высшее торжество «свободы», «демократии» и «федерализма»,— российским народам и племенам на погибель, авантюристам, жаждущим политической карьеры на «процветание», врагам России на торжество... И вот, когда после падения большевиков мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос лозунг «Народы бывшей России, расчленяйтесь!», то откроются две возможности: или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои руки крепкие «оразды правления», погасит этот гибельный лозунг и поведет Россию к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране; или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия. Начнутся всевозможные военные вмешательства... «Добрые соседи» снова пустят в ход все виды интервенции: дипломатическую угрозу, военную оккупацию, захват сырья, присвоение «концессий», расхищение военных запасов, одиночный, партийный и массовый подкуп организационно-наемных сепаратистских банд (под названием «национально-федеративных армий»)... Что же дает этот опыт российским народам?.. При самом скромном подсчете — до двадцати отдельных государств, не имеющих ни бесспорной территории, ни авторитетных правительств... И в эти образовавшиеся политические ямы, в эти водовороты сепаратистской анархии хлынет человеческая порочность: во-первых, вышколенные революцией авантюристы под новыми фамилиями, во-вторых, наймиты соседних держав (из русской эмиграции), в-третьих, иностранные искатели приключений, кондотьеры, спекулянты и миссионеры...»

Да, страшную беду кличет Мигранян, которым, видимо, движет желание быть оригинальным,— как в случае с «железной рукой», он не учитывает особой серьезности, я бы сказал, святости той темы, на которой беспечно резвится его мысль. Но очень хочется верить, что многие ответственные люди, так же беспечно играющие государственными интересами России, в том числе прибалтийскими, просто не ведают, что творят, поскольку им свет застили властолюбивые, идейно-политические и идеологические соображения, не позволяющие увидеть общую картину завтрашнего дня во всем ее трагизме, нарисованном Иваном Ильиным.

А что касается Прибалтики?.. Неужели Ельцин намерен последовать примеру царя Алексея Михайловича и наивно бить челом новому герцогу Курляндскому с просьбой разрешить пользование клочком балтийского побережья? Откуда этот яростный антипетровский пыл? Ведь все, все делается наоборот, наперекор тому, чего ценой колоссальных усилий достигла молодая петровская Россия. Ведь речь идет о судьбе страны, а этот вопрос не может служить предметом личных или межпартийных распрей, поскольку является делом общенациональным.

И еще до глубины души потрясает позиция многих зарубежных комментаторов радио «Свобода». Нетрудно понять их антикоммунистический, антисоветский азарт, более того, по-человечески он достоин снисхождения, ибо люди эти десятилетиями состоят в конфликте с советской властью, а сегодня настало удобное время свести счеты. И по этой части, повторяю, трудно предъявить нравственные претензии к тем, кто в согласии со своей жизнью и совестью от души воспользовался прекращением глушения зарубежных радиоголосов.

Но сегодня события принимают такой оборот, что речь идет уже о судьбе самой России. Между тем, круша и ломая «коммунистическую империю», в пылу политических страстей зарубежные наши «радиосоотечественники» мало задумываются о завтрашнем дне своей родины,— если учесть исконно российские интересы, о которых сказано выше, если иметь в виду целостность Российского государства, а не руководствоваться в очередной раз девизом «до основания разрушим». Пореволюционная русская эмиграция первой волны, жестоко пострадавшая от большевиков, вела себя иначе. Как бы ни относились те люди к идейным противникам в СССР, на первом месте для них всегда, до смертного часа, стояли судьбы родины,— и это окончательно проявилось в годы второй мировой войны, когда многие бывшие россияне помогали большевикам, а не фашистам. Например, сын белогвардейского генерала Краснова даже сражался вместе с бельгийскими партизанами и советскими офицерами, бежавшими из плена.

Примечательно в этой связи берлинское письмо Алексея Толстого (1922 г.) Н. В. Чайковскому: «Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата, один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть... Теперь позвольте мне указать на причины, заставившие меня вступить сотрудником в газету, которая ставит своей целью — укрепление русской государственности, восстановление в разоренной России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России. В существующем ныне большевистском правительстве газета «Накануне» видит ту реальную — единственную в реальном плане власть,— которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления ее иными странами».

Очень близко перекликаются эти слова с тем, что писал позднее Иван Ильин, и сегодня они особенно примечательны. Сегодня порабощение и разграбление, расчленение России — опасность весьма серьезная. Но эмигранты второй, а особенно третьей волны ведут себя во многом иначе, нежели их послереволюционные предшественники — в частности, и в вековом, острейшем для России прибалтийском вопросе, который они сладострастно раскручивают до опасного нарастания центробежных сил. Видимо, азарт политического и морального реванша в них настолько силен, что отодвинул на задний план чувство патриотизма — то истинное, высокое и непреходящее чувство патриотизма, которое отличало россиян при всех государственных устройствах и которое в дни опасности для Отечества верховенствовало над личными и политическими побуждениями[5].

А сегодня Отечество в опасности — эти набатные слова у всех на устах.

Но думая о судьбе России, не вправе мы забывать и о судьбах прибалтов, которые много столетий назад вплетены неразрывно в российскую историю. Было бы безнравственным не учитывать национальные устремления этих народов. И проблема сегодня заключается вовсе не в том, чтобы подчинить их российским интересам, а в том, чтобы наиболее полно и глубоко, не в сиюминутном, а в широком историческом контексте эти устремления выявить.

Над прибалтами сегодня слишком сильно довлеют политические обстоятельства и тяжкий груз недавнего прошлого, а точнее бы сказать, трагический личный опыт старших, ныне живущих поколений. Сталинские репрессии, хрущевские и брежневские притеснения, ущемлявшие развитие национального языка, самобытной культуры,— все это не могло минуть бесследно и закономерно выплеснулось отрицанием всего, что исходит из Москвы. Добавьте к этому идеологические факторы, которые также как бы сменили свой математический знак — с плюса на минус или, наоборот, с минуса на плюс, это уж кому как видится. И как всегда бывает при перемене веры, пусть и политической,— создалась обстановка, когда немедленные, ближние цели полностью заслонили перспективу, когда национальные прибалтийские лидеры, взвалившие на себя нелегкую миссию выразить интересы коренных народов, находятся под сильнейшим давлением идеологических и политических сил, остро противостоящих прежним порядкам. Силы эти лишь подернуты флером национального самосознания, а на деле стремятся именно к политическому реваншу.

Обличая события сорокового года, прибалтийские политики, по сути, идут тем же путем: захватить власть де-факто, а уж потом под полным контролем провести нечто похожее на референдум. Между тем в политическом угаре, обуявшем балтийские республики, пока остаются совершенно непроясненными такие коренные вопросы, как вопрос о земле, о собственности бывших владельцев и другие острейшие практические проблемы, которые придется решать не в противостоянии с коммунистами или Советским Союзом, то есть без идеологических и национальных рычагов, а внутри нации. При этом несомненно выявятся социальные конфликты, причем весьма жгучие,— если судить по произведениям прекрасной прибалтийской литературы, которая рассказала о былых бедствиях простых прибалтов.

Кстати, совсем недавно жизнь подтвердила, что прибалтийские лидеры движутся вперед методом проб и ошибок, будучи не в силах предвидеть завтрашние обстоятельства, прежде всего социально-экономические. Это, видимо, неизбежно в нынешних сверхполитизированных условиях. Помните, Эстония первой из союзных республик потребовала хозяйственной свободы для предприятий и отказалась от госзаказа. А сегодня именно Эстония снова первой вводит госзаказ, поскольку оказалась на грани экономического краха.

Этот частный пример показывает явную подчиненность прибалтийских экономических решений политическим и идеологическим намерениям. И возвращаясь к прежней теме, заглядывая не на месяцы, а на годы вперед, принимая во внимание затеянный сейчас новый передел мира и трагический опыт тридцатых годов, нелишне спросить: как будут складываться межгосударственные отношения между маленькими прибалтийскими государствами и нависающей над ними гигантской Россией, задыхающейся от нехватки торговых портов и военно-морских баз? (Надеюсь, никто не станет оспаривать право России на свой военно-морской флот.) Как будут складываться отношения с большой Германией, распираемой от экономической мощи? Да, как сложатся отношения прибалтов с гигантами Европы? Они станут такими, какими были отношения Америки с докастровской Кубой?.. Почему прибалтийские лидеры пребывают в такой святой уверенности, что их народы предпочтут задворки Европы, в лучшем случае став нациями официантов в дорогих приморских отелях, а не роль передовых республик в обновленной России? К тому же, неужели не ясно, что Россия, какой бы политический строй в ней ни утвердился, будет оказывать все возрастающее давление на прибалтийские государства — из чисто экономиче-

[5] Особенно отличается по части призывов к расчленению России комментатор радио «Свобода» Владимир Маленкович. С головой окунувшись в сиюминутную политическую борьбу, он, видимо, не чувствует, что потерял гражданские и нравственные ориентиры и, по существу, накликает на свою родину кровавую беду.

ских соображений. И сегодняшние заигрывания с Прибалтикой Ельцина — это не более, чем мимолетная ласка, продиктованная политическим моментом. В конце концов предвоенная история Европы, горькие уроки мировых переделов, в том числе пакт Молотова — Риббентропа, как раз и свидетельствуют о крайней нестабильности отдельного политического существования малых, слабых в «самоотстаивании», но стратегически расположенных прибрежных государств.

Как же совместить коренные, ближние и долгосрочные интересы в Прибалтике всех заинтересованных сторон? Вопрос этот крайне сложен, и сегодняшняя сверхполитизированная, сумбурная, остросюжетная жизнь не может дать на него достоверный ответ. Если кому-то кажется, будто он уже твердо знает, как и что надо делать, то это серьезное заблуждение. Время, конечно же, подскажет выход из сложной прибалтийской ситуации, но — только на путях спокойных многосторонних обсуждений, очищенных от политических напластований. Ясно лишь, что грядущие решения должны гарантировать прибалтийским народам полную свободу национального развития, возврат к прежнему исключен. Но, с другой стороны, должны быть надежно обеспечены и российские стратегические интересы на Балтике, это тоже ясно. И если отвлечься от текущей событийной горячки, от бесконечных конфронтаций и споров, то мне кажется, что в будущем наилучшей формой сопряжения всех истинно национальных и истинно народных (а не групповых политических!) интересов станет все-таки Большая Россия, выработавшая новые формы добровольного и согласного общежития разноплеменных народов.

Но это, повторяю, вопрос завтрашнего дня. А сегодняшняя боль состоит в том, как бы прежде времени не наломать дров.

Впрочем, в сегодняшнем восприятии вопрос о «дровах» — это уже вопрос сугубо политический. И о нем речь пойдет в последующих заметках.





*Отечественный архив*

---

# В. В. РОЗАНОВ и П. А. СТОЛЫПИН

В архиве замечательного русского писателя и философа В. В. Розанова (1856 — 1919) сохранилась рукопись его неизданной книги «Мимолетное». Это записи отдельных мыслей, размышления «на случай». В записи, сделанной 10 июня 1915 г., читаем:

«Единственно есть два способа повлиять на дела в России:

— Начать помогать тому, кто «везет воз», и чуть прибавлять свои советы, предостережения, помощь, указания... «Налево если — то как бы не ввалиться в яму», «направо очень — колесо застрянет — не вытащишь телегу». Лучше «прямо и вперед», потихоньку и помолясь Богу.

Это выбрал мудрый старик (Столыпин). Но есть и другой путь:

— Распрячь воз. Вон лошадей. Ломай телегу — негодящий инструмент. Мы сами и гужом:

Эх, дубинушка, ухнем.
Сама пойдет...
Сама дерёт...
эхма...

Хорошо. Но везший воз, пожалуй, даст по уху. И дает уже.

Это судьба радикализма и молодежи. И блудных жидков, — которые умны в банке, но вовсе не умны в политике».

Так писал Розанов, так думал П. А. Столыпин, стремившийся возродить Россию после первой русской революции, остановить процесс распада, приведший к краху 1917 года. Столыпина убили. Василий Васильевич же стал свидетелем того, что он назвал в своем «Апокалипсисе нашего времени» «рассыпанным царством».

Минуло много десятилетий, и теперь мы можем взглянуть на гибель Столыпина и смысл этого события для России по-новому. Как же оценивал это Розанов, приехавший в те осенние дни 1911 года в Киев на похороны Столыпина и опубликовавший тогда четыре статьи?

В первой статье о Столыпине — «Террор против русского национализма», появившейся в газете «Новое время» 4 сентября 1911 г., Розанов писал, что Столыпин положил «национальную идею в верно политики». «Центробежные силы в стране не ограничиваются сдержанным ропотом, но выступают вперед с правовым насилием. Они не хотят примириться с главенством великорусского племени; не допускают мысли, чтобы оно выдвигалось вперед в руководящую роль. Им мало того, что торговля, промыслы и ремесла частью перешли и все более переходят в их руки; перешли к ним хлеб, леса, нефть; им хотелось бы вообще разлиться по лицу Русской земли и стать над темным и, к несчастью, малообразованным населением в положение руководящего интеллигентного верхнего слоя».

На другой день после смерти П. А. Столыпина на первой полосе «Нового времени» появилась статья Розанова «К кончине премьер-министра: «Это такой вызов русскому народу, такая пощечина тысяче русских городов, такое внушение молодому русскому парламентаризму, такой плевок в глаза 17-му октября, от которого Россия, пошатнувшись, не могла не схватиться за сердце».

Розанов бесповоротно осуждает террор и революционизм: «Вот они, полувековые смертельные враги России, распинатели государственных людей ее, ее — по-старомосковскому — «служилых людей»; издевающиеся над всем русским, старым, новым и будущим». Революционерам «нужен не парламентаризм, а исполнение собственной мечты, зародившейся в парижских и женевских конспирациях. Россия для них, — да и не Россия одна, а все западноевропейские страны, — tabula rasa, чистый лист бумаги, где эти маньяки и злодеи чертят свои сумасшедшие воздушные замки».

Историческое значение Столыпина Розанов видел в попытке обустроить Россию после революции 1905 года и в предвидении новых потрясений. Развивая и как бы комментируя знаменитые столыпинские слова: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», — Розанов писал: «После развала революции, когда русские живьем испытали, что такое «безвластие» в стране и что такое стихии души человеческой, предоставленные самим себе и закону своего «автоном-

ного» действия, — все глаза устремились на эту твердую фигуру, которая сливалась с идеею «закона» всем существом своим. Все начало отшатываться от болотных огоньков революции, — особенно когда премьер-министр раскрыл в речах своих в Г. Думе, около какого нравственного омута и мерзости блуждали эти огоньки, куда они манили общество; когда в других речах он раскрыл все двуличие и государственное предательство «передовых личностей» общества, якшавшихся с парижскими и женевскими убийцами. Он вылущил существо революции и показал всей России, что если снять окутывающую ее шумиху фраз, притворства и ложных ссылок, то она сводится к убийству и грабежу. Сколько ни щебетали социал-демократические птички, сколько ни бились крылышками, — они застряли в этом приговоре страны, который похоронно прозвучал над ними после раскрытия закулисной стороны революции, ее темных подвалов и гнусных нор. Революция была побеждена в сущности через то, что она была вытащена к свету».

Столыпин не сумел, или, вернее, ему не дали остановить сползание страны к национальному краху. «Но великая заслуга Столыпина, — продолжает Розанов, — состояла в том, что он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции. Он понял, что космополитизм наш и родил революцию; и чтобы вырвать из-под нее почву, надо призвать к возрождению русское народное чувство».

Скорбью исполнились сердца русских при вести о смерти Столыпина, говорит Розанов. «Сегодня — день нравственной муки русского общества. Мука эта так велика, что задвигает собою государственные соображения. Не осматривают хозяйство, не исчисляют богатство, не считают убытки, когда в дому стоит гроб. Гроб — в России».

Третья статья Розанова — «Перед гробом Столыпина» — напечатана в «Новом времени» 1 октября 1911 г. Политика — это «черный котел с кипящей смолой», писал он. Черный котел с такими бешеными страстями, с таким адом ненависти, гнева, всякой ярости, что вот человек запускает штопор в брюхо человека, и, как тот ни кричит, он, нажимая коленом, ввинчивает и ввинчивает его дальше, больше, «в кишку бы», «в печень бы», «в становой хребет», чтобы все хрустело, рвалось и язвилось.

Политика как таковая — явление глубоко безнравственное, считал Василий Васильевич, утверждавший, что в основе государства должно лежать начало человеческое и, стало быть, нравственное: «Дайте мне только любящую семью, и я из этой ячейки построю вам вечное социальное здание».

Политика же — совсем иное. «Политика никогда не остановится, — писал Розанов. — Я хочу сказать, что ни единый настоящий «политик» никогда не произнесет: «Ну, *довольно:* всех победил, во всем успел; теперь *успокоюсь*»... Это было бы так, если бы политика была в самом деле «план» и не содержала в себе «дьяволова пекла». Но это — зверь, из породы которого устранено насыщение, и он чем больше ест, тем ему больше хочется. «Покорив весь свет, хочу покорить еще что-нибудь»; «усмирив все партии, хочу усмирить... хоть свою комнатную собачку». «Больше, дальше, вечно» — лозунг политики». Таким образом, «окончательного мира» никогда не настанет в политике и у политиков, ибо не за «счастье народов», партий, человечества они бьются: это только предлоги, поводы, «ссылка под чертой на странице огненного текста».

Мы предлагаем вниманию читателей последнюю, итоговую статью Розанова о Столыпине, опубликованную в газете «Новое время» 8 октября 1911 г.

**А. Н. НИКОЛЮКИН.**

---

## В. РОЗАНОВ

# ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ СТОЛЫПИНА

Что ценили в Столыпине? Я думаю, не программу, а человека; вот этого «воина», вставшего на защиту, в сущности, Руси. После долгого времени, долгих десятилетий, когда русские «для успехов по службе просили переменить свою фамилию на иностранную»[1], явился на вершине власти человек, который гордился тем именно, что он русский и хотел сработать с русскими. Это не политическая роль, а скорее культурная. Все большие дела решаются обстановкою; всякая вещь повивается из ее мелочей. Хотя, конечно, никто из русских «в правах» не обделен, но фактически так выходит, что на Руси русскому теснее, чем каждому инородцу или иностранцу; и они не так далеки от «привилегированного» положения турок в Турции, персов в Персии. Не в этих размерах, уже «окончательных», но *приближение* сюда — есть. Дело не в *голом праве*, а в использовании права. Робкая история Руси приучила «своего человека» сторониться, уступать, стушевываться; свободная история, *притом исполненная борьбы,* чужих стран, других народностей, приучила тоже «своих людей» не только к крепкому отстаиванию каждой буквы своего «законного права», но и к переступанию и захвату чужого права. Из обычая и истории это перешло наконец в кровь; как из духа нашей истории это тоже перешло в кровь. Вот это-то выше и главнее законов. Везде на Руси производитель — русский, но скупщик — нерусский, и скупщик оставляет русскому производителю 20 проц. стоимости сработанной им работы или выработанного им продукта. Судятся русские, но в 80 проц. его судят и особенно защищают перед судом лица не с русскими именами. Везде русское население представляет собою темную глыбу, барахтающуюся и бессильную в чужих тенетах. Знаем, что все это вышло «само собою», даже без ясных злоупотреблений; скажем — вышло беспричинно. Но в это «само собою» давно надо было начать вглядываться; и с этою «беспричинностью» как-нибудь разобраться. Ничего нет обыкновеннее, как встретить в России скромного, тихого человека, весь порок которого заключается в отсутствии нахальства и который не находит *никакого приложения* своим силам, способностям, нередко даже *таланту*, не говоря о готовности и прилежании. «Все *места заняты*», «все *работы* исполняются» людьми, которые умеют хорошо толкаться локтями. Это самое обычное зрелище; это зрелище везде на Руси. Везде русский отталкивается от дела, труда, должности, от заработка, капитала, первенствующего положения и даже от вторых ролей в профессии, производстве, торговле и оставляется на десятых ролях и в одиннадцатом положении. Везде он мало-помалу нисходит к роли «прислуги» и «раба»... незаметно, медленно, «само собою» и, в сущности, беспричинно, но *непрерывно* и *неодолимо*. Будущая роль «приказчика» и «на посылках мальчика», в своем же государстве, в своей родной земле, невольно вырисовывается для русских. Когда, в то же время, никто русским не отказывает ни в *уме*, ни в *таланте*. Но «все само собою так выходит»... И вот против этого векового уже направления всех дел встал большой своей и массивной фигурой Столыпин, за спиной которого засветились тысячи надежд, пробудилась тысяча маленьких пока усилий... Поэтому, когда его поразил удар, все почувствовали, что этот удар поразил всю Русь; это вошло не основною частью, но это вошло очень большою частью во впечатление от его гибели. Вся Русь почувствовала, что это *ее ударили*. Хотя главным образом вспыхнуло чувство не к программе, а к человеку.

* * *

На Столыпине не лежало ни одного *грязного пятна:* вещь страшно редкая и трудная для политического человека. Тихая и застенчивая Русь любила самую фигуру его, самый его образ, духовный и даже, я думаю, физический, как трудолюбивого и *чистого* провинциального человека, который немного неуклюже и неловко вышел на общерусскую арену и начал «по-провинциальному», по-саратовскому, делать петербургскую работу, всегда запутанную, хитрую и немного нечистоплотную. Так ей «на роду написано», так ее «мамка ушибла». Все было в высшей степени открыто и понятно в его работе; не было «хитрых петель лисицы», которые, может быть, и изумительны по уму, но которых никто не понимает, и в конце концов все в них путаются, кроме самой лисицы. Можно было кой-что укоротить в его делах, кое-что удлинить, одно замедлить, другому, и многому, дать большую быстроту; но Россия сливалась сочувствием с общим направлением его дел — с большим, главным ходом корабля, вне лавирования отдельных дней, в смысле и мотивах которого кто же разберется, кроме лоцмана. Все чувствовали, что это — русский корабль и что идет он прямым русским ходом. Дела его правления никогда не были партийными, групповыми, не были классовыми или сословными; разумеется, если не принимать за «сословие» — русских и за «партию» — самое Россию; вот этот «средний ход» поднял против него грызню партий, их жестокость; но она, вне единичного физического покушения, была бессильна, ибо *все-то* чувствовали, что злоба кипит единственно оттого, что он не жертвует *Россиею — партиям.* Inde irae[2], единственно... Он мог бы составить быстрый успех себе, быструю газетную популярность, если бы начал проводить «газетные реформы» и «газетные законы», которые известны наперечет. Но от этого главного «искушения» для всякого министра он удержался, предпочтя быть не «министром от общества», а министром «от народа», не реформатором «по газетному полю», а устроителем по «государственному полю». Крупно, тяжело ступая, не торопясь, без нервничанья, он шел и шел вперед, как саратовский земледелец, — и с несомненными чертами старопамятного служилого московского человека, с этою же упорною и не рассеянною преданностью России, одной России, до ран и изуродования и самой смерти. Вот эту крепость его пафоса в нем все оценили и ей понесли венки: понесли их благородному, безупречному человеку, которого могли ненавидеть, но и ненавидящие бессильны были *оклеветать, загрязнить,* даже *заподозрить.* Ведь ничего подобного никогда не раздавалось о нем ни при жизни, ни после смерти; смогли убить, но никто не смог сказать: он был *лживый, кривой* или *своекорыстный* человек. Не только не

[1] Известная насмешка Ермолова.

[2] Отсюда гнев (лат.).

говорили, но не шептали этого. Вообще, что поразительно для политического человека, о которых всегда бывают «сплетни», — о Столыпине не было никаких сплетен, никакого темного шепота. Всё дурное... виноват, всё *злобное* говорилось вслух, а вот «дурного» в смысле пачкающего никто не мог указать.

* * *

Революция при нем стала одолеваться *морально*, и одолеваться в мнении и сознании всего общества, массы его, вне «партий». И достигнуто было это не искусством его, а тем, что он был *вполне порядочный человек*. Притом — всем *видно* и для всякого *бесспорно*. Этим одним. Вся революция, без «привходящих ингредиентов», стояла и стоит на одном главном корне, который, может, и мифичен, но в этот миф все веровали: что в России нет и не может быть честного правительства; что правительство есть клика подобравшихся друг к другу господ, которая обирает и разоряет общество в личных интересах. Повторяю, может быть, это и миф; наверно — миф; но вот каждая сплетня, каждый дурной слух, всякий шепот подбавлял «веры в этот миф». Можно даже сказать, что это в общем есть миф, но в отдельных случаях это нередко бывает правдой. Единичные люди — плакали о России, десятки — смеялись над Россией. Это произвело общий взрыв чувств, собственно русских чувств, к которому присосалась социал-демократия, попыталась их обратить в свою пользу и частью действительно обратила. «Использовала момент и массу в партийных целях». Но не в социал-демократии дело; она «пахала», сидя «на рогах» совсем другого животного. Как только появился человек без «сплетни» и «шепота» около него, не заподозренный и не грязный, человек *явно не личного, а государственного и народного интереса*, так «нервный клубок», который подпирал к горлу, душил и заставлял хрипеть массив русских людей, материк русских людей, — опал, ослаб. А без него социал-демократия, в единственном числе, всегда была и останется для России шуткой. «Покушения» могут делать; «движения» никогда не сделают. Могут еще многих убить, но это — то же, что бешеная собака грызет угол каменного дома. «Черт с ней» — вот все о ней рассуждение.

За век и даже века действительно «злоупотреблений» или очень яркой глупости огромное тело России точно вспыхнуло как бы сотнями, тысячами остро болящих нарывов: которые не суть смерть и даже не суть болезнь всего организма, а именно болячки, но буквально по всему телу, везде. Можно было вскрывать их: и века пытались это делать. Вскроют: вытечет гной, заживет, а потом тут же опять нарывает. Все-таки революция промчалась не напрасно: бессмысленная и злая в частях, таковая особенно к исходу, при «издыхании» (экспроприации, убийства), она *в целом* и особенно на ранней фазе оживила организм, быстрее погнала кровь, ускорила дыхание, и вот это внутреннее *движение*, просто *движение*, много значило. Под «нарывным телом» переменилась постель, проветрили комнату вокруг, тело вытерли спиртом. Тело стало *крепче*, дурных *соков* меньше — и нарывы стали закрываться без ланцета и операции. Россия сейчас несомненно крепче, народнее, государственнее, — и она несомненно *гораздо устройчивее*, против других держав и инородцев, нежели не только в пору Японской войны, но и чем все последние 50 лет. Социально и *общественно она гораздо консолидированнее*. Всего этого просто нельзя было ожидать, пока текли эти нечистые 50 лет, которые вообще можно определить как полвека русского нигилизма, красного и белого, нижнего и верхнего. Русь перекрестилась и оглянулась. В этом оздоровлении Столыпин сыграл огромную роль — просто русского человека и просто нравственного человека, в котором не было ни йоты ни красного, ни белого нигилизма. Это надо очень отметить: в эпоху *типично* нигилистическую и *всеобъемлюще* нигилистическую, — Столыпин ни одной крупинкой тела и души не был нигилистом. Это очень хорошо выражается в его красивой, правильной фигуре; в фигуре «исторических тонов» или «исторического наследства». Смеющимся, даже улыбающимся я не умею его себе представить. Очень хорошо шло его воспитание: сын корпусного командира, землевладелец, питомец Московского университета, губернатор, — он принял в себя все эти крупные бытовые течения, все эти «слагаемые величины» русской «суммы», без преобладания которой-нибудь. Когда он был в гробу так окружен бюрократией, мне показалось — я не ошибался в чувстве, что вижу собственно сраженного *русского гражданина*, отнюдь не бюрократа и не сановника. В нем не было чванства; представить его себе осыпанным орденами — невозможно. Все это мелочи, но характерна их сумма. Он занят был всегда мыслью, делом; и никогда «своей персоной», суждениями о себе, слухами о себе. Его нельзя представить себе «ожидающим награды». Когда я его слыхал в Думе, ложилось впечатление: «Это говорит *свой* среди *своих*, а *не инородное Думе лицо*». Такого впечатления не было от речи Горемыкина, ни других представителей власти. Это очень надо оттенить. Он весь был монолитный, громоздкий; русские черноземы надышали в него много своего воздуха. Он выступил в высшей степени в свое время и в высшей степени соответственно своей натуре: искусственность парламентаризма в применении к русскому быту и характеру русских как-то стушевалась при личных чертах его ума, души и самого образа.

В высшей степени многозначительно, что первым настоящим русским премьером был человек без способности к интриге и без интереса к эффекту, — эффектному слову или эффектному поступку. Это — «скользкий путь» парламентаризма. Значение Столыпина, как образца и примера, сохранится на многие десятилетия; именно как образца вот этой *простоты*, вот этой *прямоты*. Их можно считать «завещанием Столыпина»: и завещание это надо помнить. Оно не блестит, но оно драгоценно. Конституционализму, довольно-таки вертлявому и иногда несимпатичному на Западе, он придал русскую бороду и дал русские рукавицы. И посадил его на крепкую русскую лавку, — вместо беганья по улицам, к чему он на первых шагах был склонен. Он незаметно самою натурою своею, чуть-чуть обывательскою, без резонерства и без теорий, «обрусил» парламентаризм: и вот это никогда не забудется. Особенно это вспомнится в критические эпохи, — когда вдруг окажется, что парламентаризм у нас гораздо национальнее и, следовательно, устойчивее, гораздо больше «прирос к мясу и костям», чем это можно вообще думать и чем это кажется, судя по его экстравагантному происхождению. Столыпин показал единственный *возможный путь* парламентаризма в России, которого ведь могло бы не быть очень долго, и может, даже никогда (теория славянофилов; взгляд Аксакова, Победоносцева, Достоевского, Толстого); он указал, что если парламентаризм будет у нас выражением народного духа и народного образа, то против него не найдется сильного протеста, и даже он станет многим и наконец всем дорог. Это — первое условие: *народность его*. Второе: парламентаризм должен вести постоянно вперед, он должен быть постоянным *улучшением страны* и всех дел в ней, мириад этих дел. Вот если он полетит на этих двух крыльях, он может лететь долго и далеко; но если изменить хотя одно крыло, он упадет. Россия решительно не вынесет парламентаризма ни как главы из «истории подражательности своей Западу», ни как расширение студенческой «Дубинушки» и «Гайда, братцы, вперед»... В двух последних случаях пошел бы вопрос о разгроме парламентаризма: и этого вулкана, который еще горяч под ногами, не нужно будить.

**Публикация А. Н. НИКОЛЮКИНА**





## *История Отечества: документы и судьбы*

СЕРГЕЙ МЕЛЬГУНОВ

# «КРАСНЫЙ ТЕРРОР»

### 3. Кровавая статистика

*«На развалинах старого — построим новое».*

*«Мечем не меч, а мир несем мы миру».*

Чрезвычайные комиссии — это органы не суда, а «беспощадной расправы», по терминологии центрального комитета коммунистической партии.

Чрезвычайная комиссия «это не следственная комиссия, не суд и не трибунал»,— определяет задачи Ч. К. сама чрезвычайная комиссия. «Это орган боевой, действующий по внутреннему фронту гражданской войны. Он врага не судит, а разит. Не милует, а испепеляет всякого, кто по ту сторону баррикад».

Нетрудно представить себе, как должна была в жизни твориться эта «беспощадная расправа», раз действует вместо «мертвого кодекса» законов лишь «революционный опыт» и «совесть». Совесть субъективна. И опыт неизбежно заменяется произволом, который приобретает вопиющие формы в зависимости от состава исполнителей.

«Мы не ведем войны против отдельных лиц,— писал Лацис в «Красном терроре» 1 ноября 1918 г.[1]— Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал *делом* или *словом* против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и «сущность красного террора». Лацис отнюдь не был оригинален, копируя лишь слова Робеспьера в Конвенте по поводу прериальского закона о массовом терроре: «чтобы казнить врагов отечества, достаточно установлять их личность. Требуется не наказание, а уничтожение их».

Не сказано ли подобной инструкцией судьям действительно все?

Однако чтобы понять, что такое в действительности красный террор, продолжающийся с неослабевающей энергией и до наших дней, мы должны прежде всего заняться выяснением вопроса о количестве жертв. Тот небывалый размах убийств со стороны правящих кругов, который мы видим в России, характеризует нам и всю систему применения «красного террора».

Кровавая статистика, в сущности, пока не поддается учету, да и вряд ли когда-нибудь будет исчислена. Когда публикуется, может быть, лишь одна сотая расстрелянных, когда смертная казнь творится в тайниках казематов, когда гибель человека подчас не оставляет никакого следа — нет возможности и историку в будущем восстановить подлинную картину действительности.

### 1918 г.

В упомянутых выше статьях Лацис в свое время писал: «наш обыватель и даже товарищеская среда пребывает в уверенности, что Ч. К. несет с собой десятки и сотни тысяч смертей». Это действительно так: недаром в общежитии начальные буквы В. Ч. К. читаются «всякому человеку капут». Лацис, приведи ту фантастическую цифру 22, о которой мы уже говорили, насчитывает за вторую половину 1918 г. $4^1/_2$ тысячи расстрелянных. «Это по всей России», т. е. в пределах 20 центральных губерний. «Если можно обвинить в чем-нибудь Ч. К.,— говорит Лацис,— то не в излишней ревности к расстрелам, а в недостаточности применения высшей меры наказания». «Строгая железная рука уменьшает всегда количество жертв. Эта истина не всегда имелась в виду чрезвычайными комиссиями. Но это можно ставить не столько в вину Ч. К., сколько всей политике советской власти. Мы все время были чересчур мягки, великодушны к *побежденному* врагу!»

Четырех с половиной тысяч Лацису мало! Он легко может убедиться, что его официальная статистика до чрезвычайности уменьшена. Интересно было бы знать, в какую рубрику, например, отнес Лацис расстрелянных в Ярославле после восстания, организованного в июле Савинковым. В выпуске первом «Красной Книги В. Ч. К.» (и такая есть), распространявшейся только в ответственных коммунистических кругах, напечатан был действительно «беспримерный» исторический документ. Председатель Германской Комиссии (действовавшей на основании Брестского договора) лейтенант Балк приказом за № 4, 21 июля 1918 г., объявлял гражданскому населению города Ярославля, что ярославский отряд Северной Добровольческой армии сдался вышеозначенной Германской Комиссии. Сдавшиеся были выданы большевистской власти, и в первую очередь 428 из них были расстреляны. По моей картотеке насчиталось за это время в тех же территориальных пределах 50004 карточки расстрелянных. Мои данные, как я говорил, случайны и неполны; это преимущественно то, что опубликовывалось в газетах и только в тех газетах, которые я мог достать[2].

Надо иметь в виду и то, что при лаконизме официальных отметок иногда затруднительно было решать вопрос о цифре. Например: уездная Клинская (Моск. губ.) чрезвычайная комиссия извещала, что ею расстреляно *несколько* контрреволюционеров; Воронежская Ч. К. сообщала, что среди арестованных «*много* расстрелянных»; Сестрорецкой Ч. К. (петербургской) производились «расстрелы после тщательного расследования в каждом случае». Такими укороченными сообщениями пестрят газеты. Мы брали в таких случаях коэффициент 1 или 3, т. е. цифру, значительно уменьшенную.

Из этой кровавой статистики совершенно *исключались* сведения о массовых убийствах, сопровождавших подавления всякого рода крестьянских и иных восстаний. Жертвы этих «эксцессов» гражданской войны не могут быть вовсе уже исчислены.

Мои цифры имеют показательное значение только в том смысле, что ясно оттеняют бесконечную преуменьшенность официальной статистики, приведенной Лацисом.

Постепенно расширяются пределы советской России, расширяется и территория «гуманной» деятельности чрезвычайных комиссий. В 1920 г.[3] Лацис дал уже пополненную статистику, по которой число расстрелянных в 1918 г. у него достигало 6185 человек. Причислил ли сюда Лацис те тысячи, которые, напр., расстреляны в 1918 году в Северо-Восточной России (Пермская губ. и др.), о которых говорят и так много все решительно английские донесения?[4]

«В британское консульство продолжают являться люди всех классов, главным образом, крестьяне, чтобы засвидетельствовать убийство своих родственников и другие насилия, совершенные большевиками в неистовстве»... (Элиот — Керзону 21 марта 1919 г.). Причислены ли сюда жертвы «офицерской» бойни в Киеве в 1918 г.? Их исчисляют в 2000 человек! Расстреливали и рубили прямо в театре, куда военные были вызваны для «проверки документов». Причислены ли сюда жертвы одесской бойни морских офицеров до прихода австрийских войск? «Позже,— сообщает один английский священник,— член австрийского штаба говорил мне, что им доставили список свыше 400 офицеров, убитых в Одесском округе!»[5] Причислены ли сюда жертвы севастопольской бойни офицеров? Причислены ли сюда те 1342 человека, убитые в январе-феврале 1918 г. в Армавире, как выяснила комиссия по расследованию деятельности большевиков, организованная по распоряжению ген. Деникина?[6] Наконец, гекатомбы Ставрополя, о которых рассказывает в своих воспоминаниях В. М. Краснов — расстрелы 67, 96 и т. д.?[7] Не было места, где появление большевиков не сопровождалось бы десятками и сотнями жертв, расстрелянных без суда или по приговорам чрезвычайной комиссии и аналогичных временных «революционных» трибуналов[8]. Мы этим бойням посвящаем особую главу — пусть будут это только эксцессы «гражданской войны».

### 1919 г.

Продолжая вести свою кровавую статистику, Лацис утверждает, что в 1919 году по постановлениям Ч. К. расстреляно 3456 человек, т. е. всего за два года 9641, из них контрреволюционеров 7068. Нужно запомнить, что по признанию самого Лациса таким образом выходит, что более $2^1/_2$ тысяч расстреляно не за «буржуазность», даже не за «контрреволюцию», а за обычные преступления (632 — преступ-

---

Окончание. Начало в №№ 1, 2 за 1991 год.

[1] То же в «Еженедельнике Чрез. Комисс. Казань», № 1, и в «Правде» от 25 декабря.

[2] У меня не было в то время, напр., сведений даже об известном расстреле 12 с.-р. в Астрахани 5 сент. 1918 г. после августовского местного восстания. «Рев. Россия», № 16—18.

[3] «Известия», 8 февраля.

[4] Livre blanc; Interim Report of Committee to collect information on Russia 1920; Report of the Committee to collect information on Russia 1921.

[5] Livre blanc, ст. 136.

[6] «Дело», № 56.

[7] «Архив революции», VIII, 159.

[8] Проверить число жертв нельзя было и при попытке собрать сведения непосредственно за уходом большевиков. Напр., харьковское отделение Деникинской комиссии, производившее свои расследования при участии представителей городской Думы, Совета профес. союзов, о-ва трудящ. женщин, обследовало 11 мест заключения, обнаружило 280 трупов, но оно считает, что действительно жертв было по крайней мере в три раза больше. Оно не могло обнаружить всех зарытых в парке и за парком.

ления по должности, 217 — спекуляция, 1204 — уголовные деяния). Этим самым признается, что большевики ввели смертную казнь уже не в качестве борьбы с буржуазией, как определенным классом, а как общую меру наказания, которая ни в одном мало-мальски культурном государстве не применяется в таких случаях.

Но оставим это в стороне. Всероссийской чрезвычайной комиссией, по данным Лациса, расстреляно в сентябре 1919 г. 140 человек, а между тем в это время в Москве ликвидировано было контрреволюционное дело, связанное с именем известного общественного деятеля Н. Н. Щепкина. В газетах опубликовано было 66 фамилий расстрелянных, но по признанию самих большевиков расстреляно было по этому делу более 150. В Кронштадте, по авторитетному свидетельству, были расстреляны в июле 19-го г. от 100—150 человек; опубликовано было лишь 19. На Украине, где свирепствовал сам Лацис, расстреляны были тысячи. Опубликованный в Англии отчет сестер милосердия русского Красного Креста для доклада международному Красному Кресту в Женеве насчитывает в одном Киеве 3000 расстрелов [9].

Колоссальные итоги Киевских расстрелов подводит автор упомянутой уже книги «Der Blutrausch des Bolschewismus» Нилостонский. Надо сказать, что автор проявляет вообще большую осведомленность по деятельности всех 16 киевских чрезвычайных комиссий — она сказывается уже в точной регистрации и подробном топографическом их описании. Автор помимо непосредственных наблюдений, по-видимому, пользовался материалами, добытыми комиссией по расследованию деяний большевиков ген. Рёрберга [10]. Комиссия эта также состояла отчасти из юристов и врачей. Она фотографировала трупы из разрытых могил (часть фотографий приведена в книге Нилостонского, остальная большая часть, говорит автор, находится в Берлине). Он утверждает, что, по данным комиссии Рёрберга, расстреляно 4800 человек — эти имена удалось установить. Общее число погибших в Киеве при большевиках, по мнению Нилостонского, не менее 12 000 человек. Пусть все эти цифры будут неточны, по совокупности они дают руководящую нить.

Необычайные формы, в которые вылился террор [11], вызвали деятельность особой комиссии для расследования дел У. Ч. К., назначенной из центра во главе с Мануильским и Феликсом Коном. Все заключенные в своих показаниях Деникинской комиссии отзываются об этой комиссии хорошо. Развитие террора было приостановлено до момента эвакуации Киева, когда в июле-августе снова повторились сцены массовых расстрелов. 16 августа в «Известиях» был опубликован список 127 расстрелянных — это были последние жертвы, официально опубликованные.

В Саратове за городом есть страшный овраг — здесь расстреливают людей. Впрочем, скажу о нем словами очевидца [12] из той изумительной книги, которую мы несколько раз цитировали и на которую будем еще много раз ссылаться.

Это книга «Че-Ка», материалы о деятельности чрезвычайных комиссий, изданная в Берлине партией социалистов-революционеров (1922 г.). Исключительная ценность этой книги состоит в том, что здесь собран материал иногда из первых рук, иногда в самой тюрьме от потерпевших, от очевидцев, от свидетелей; она написана людьми, знающими непосредственно то, о чем приходится им говорить. И эти живые впечатления говорят иногда больше, чем кипы сухих бумаг. Многих из этих людей я знаю лично и знаю, как тщательно они собирали свои материалы. «Че-Ка» останется навсегда историческим документом для характеристики нашего времени, и притом документом исключительной яркости. Один из саратовцев и дает нам описание оврага около Монастырской слободки, оврага, где со временем будет стоять, вероятно, памятник жертвам революции [13].

«К этому оврагу, как только стает снег, опасливо озираясь, идут группами и в одиночку родственники и знакомые погибших. Вначала за паломничество там же арестовывали, но приходивших было так много... и несмотря на аресты, они все-таки шли. Вешние воды, размывая землю, вскрывали жертвы коммунистического произвола. От перекинутого мостика, вниз по оврагу на протяжении сорока-пятидесяти саж., грудами навалены трупы. Сколько их? Едва ли кто может это сказать. Даже сама чрезвычайка не знает. За 1918 и 1919 гг. было расстреляно по спискам и без списков около 1500 человек. Но на овраг возили только летом и осенью, а зимой расстреливали где-то в других местах. Самые верхние — расстрелянные предыдущей поздней осенью — еще почти сохранились. В одном белье, со скрученными веревкой назад руками, иногда в мешке или совершенно раздетые...

Жутко и страшно глядеть на дно страшного оврага! Но смотрят, напряженно смотрят пришедшие, разыскивая глазами хоть какой-либо признак, по которому бы можно было узнать труп близкого человека...»

«...И этот овраг с каждой неделей становится страшнее и страшнее для саратовцев. Он поглощает все больше и больше жертв. После каждого расстрела крутой берег оврага обсыпается, вновь засыпая трупы; овраг становится шире. Но каждой весной вода открывает последние жертвы расстрела...»

Что же, все это неправда?

Авербух в своей не менее ужасной книге, изданной в Кишиневе в 1920 г., «Одесская Чрезвычайка», насчитывает 2200 жертв «красного террора» в Одессе за три месяца 1919 г. («красный террор» был объявлен большевиками в июле 1919 г., когда добровольческие войска заняли Харьков). Расстрелы начались задолго до официального объявления так называемого «красного террора» — через неделю-другую после вторичного занятия Одессы большевиками. С середины апреля — утверждают все свидетели, давшие показания в Деникинской комиссии,— начались массовые расстрелы. Идут публикации о расстреле 26, 16, 12 и т. д.

С обычным цинизмом одесские «Известия» писали в апреле 1919 г.: «Карась любит, чтобы его жарили в сметане. Буржуазия любит власть, которая свирепствует и убивает. Хорошо... С омерзением (?!) в душе мы должны взяться за приведение буржуазии в чувство сильно действующим средством. Если мы расстреляем несколько десятков этих негодяев и глупцов, если мы заставим их чистить улицы, а их жен мыть красноармейские казармы (честь немалая для них), то они поймут тогда, что власть у нас твердая, а на англичан и готтентотов надеяться нечего».

В июне — в момент приближения добровольческой армии расстрелы еще больше учащаются. Местный орган «Одесские Известия» писал в эти дни официального уже террора: «Красный террор пущен в ход. И загуляет он по буржуазным кварталам, затрещит буржуазия, зашипит контрреволюция под кровавым ударом красного террора... Каленым железом будем выгонять их... и самым кровавым образом расправимся с ними». И действительно, эта «беспощадная расправа» официально объявленная исполкомом, сопровождалась напечатанием ряда списков расстрелянных: часто без квалификации вины: расстрелян просто на основании объявления «Красного террора». Немало их приведено в книге Маргулиеса «Огненные годы» [14].

Эти списки в 20—30 человек — утверждают очевидцы — почти всегда преуменьшены. Одна из свидетельниц, по своему положению имевшая возможность делать некоторые наблюдения, говорит, что, когда в «Известиях» было опубликовано 18 фамилий, она насчитала до 50 расстрелянных; когда было 27, она считала 70 (в том числе было 7 женских трупов — о женщинах в официальной публикации не говорилось). В дни «красного террора», показывает один из арестованных чекистских следователей, каждую ночь расстреливали до 68 человек. По официальному подсчету Деникинской комиссии с 1 апреля по 1 августа расстреляно 1300 человек. Немецкий мемуарист Arnd. Niemann говорит, что общее количество жертв большевиков на юге надо исчислять в 13—14 тыс... [15].

В марте в Астрахани происходит рабочая забастовка. Очевидцы свидетельствуют, что эта забастовка была затоплена в крови рабочих [16].

«Десятитысячный митинг мирно обсуждавших свое тяжелое материальное положение рабочих был оцеплен пулеметчиками матросами и гранатчиками. После отказа рабочих разойтись был дан залп из винтовок. Затем затрещали пулеметы, направленные в плотную массу участников митинга, и с оглушительным треском начали рваться ручные гранаты.

Митинг дрогнул, прилег и жутко затих. За пулеметной трескотней не было слышно ни стона раненых, ни предсмертных криков убитых насмерть...

Город обезлюдел. Притих. Кто бежал, кто спрятался.

Не менее двух тысяч жертв было выхвачено из рабочих рядов.

Этим была закончена первая часть ужасной Астраханской трагедии.

Вторая — еще более ужасная — началась 12 марта. Часть рабочих была взята «победителями» в плен и размещена по шести комендатурам, по баркам и пароходам. Среди последних и выделился своими ужасами пароход «Гоголь». В центр полетели телеграммы о «восстании».

Председатель Рев. Воен. Совета Республики Л. Троцкий дал в ответ лаконичную телеграмму: *«расправиться беспощадно»*. И участь несчастных пленных рабочих была решена. Кровавое безумие царило на суше и на воде.

В подвалах чрезвычайных комендатур и просто во дворах расстреливали. С пароходов и барж бросали прямо в Волгу. Некоторым несчастным привязывали камни на шею. Некоторым вязали руки и ноги и бросали с борта. Один из рабочих, оставшийся незамеченным в трюме, где-то около машины и оставшийся в живых, рассказывал, что в одну ночь с парохода «Гоголь» было сброшено около ста восьмидесяти (180) человек. А в городе в чрезвычайных комендатурах было так много расстрелянных, что их едва успевали свозить ночами на кладбище, где они грудами сваливались под видом «тифозных».

Чрезвычайный комендант Чугунов издал распоряжение, которым под угрозой расстрела воспрещалось растеривание трупов по дороге к кладбищу. Почти каждое утро вставшие астраханцы находили среди улиц полураздетых, залитых кровью застреленных рабочих. И от трупа к трупу, при свете брезжившего утра живые разыскивали дорогих мертвецов.

13 и 14 марта расстреливали попрежнему только одних рабочих. Но потом власти, должно быть, спохватились. Ведь нельзя было даже свалить вину за расстрелы на восставшую «буржуазию». И власти решили, что «лучше поздно, чем никогда». Чтобы хоть чем-нибудь замаскировать наготу расправы с астраханским

---

[9] In the Shadow of Death. Statement of Red Cross sister on the Bolshewist Prisons in Kiev. Архив Революции VI.

[10] Оценку этой книги, а равно и других, см. в моем обзоре «Литература о терроре» в сборнике «На чужой стороне», № 3. Книга Нилостонского «Похмелье большевиков» принимает в своих заключительных строках определенный антисемитский характер, что дает возможность говорить о ее тенденциозности. Мы как-то уже привыкли не доверять литературным произведениям, выходящим из-под пера лиц, неспособных возвыситься даже при изложении жизненной трагедии над шаблонным зоологическим чувством узкого шовинизма. Но сведения, идущие из источников другого происхождения, подтверждают многое, о чем говорится в этой книге.

[11] См. ниже.

[12] «Из деятельности саратовской чрезвычайки». Сборник «Че-Ка».

[13] Че-Ка. «Из деятельности саратовской чрезвычайки», стр. 197.

[14] Эти бессудные казни вызвали протест рабочих. Митинги были разогнаны с помощью «военной части и запрещены» (Маргулиес, 279).

[15] «Fünf Monate Obrigkeit von unten. Erinnerungen aus en Odessaer Bolschewistentagen April—August 1919». Изд. «Der Firn».

[16] Че-Ка. «Астраханские расстрелы», стр. 251, 253.

пролетариатом, решили взять первых попавших под руку «буржуев» и расправиться с ними по очень простой схеме: брать каждого домовладельца, рыбопромышленника, владельца мелкой торговли, заведения и расстреливать...»

«К 15 марта едва ли было можно найти хоть один дом, где бы не оплакивали отца, брата, мужа. В некоторых домах исчезло по несколько человек.

Точную цифру расстрелянных можно было бы восстановить поголовным допросом граждан Астрахани. Сначала называли цифру две тысячи. Потом три... Потом власти стали опубликовывать сотнями списки расстрелянных «буржуев». К началу апреля называли четыре тысячи жертв. А репрессии все не стихали. Власть решила очевидно отомстить рабочим Астрахани за все забастовки, и за Тульские, и за Брянские, и за Петроградские, которые волной прокатились в марте 1919 года. Только к концу апреля расстрелы начали стихать.

Жуткую картину представляла Астрахань в это время. На улицах — полное безлюдье. В домах потоки слез. Заборы, витрины и окна правительственных учреждений были заклеены приказами, приказами и приказами...»

Возьмем отдаленный от центра Туркестан, где в январе произошло восстание русской части населения против деспотического режима, установленного большевиками. Восстание было подавлено. «Начались массовые повальные обыски»,— рассказывают очевидцы [17]. «Все казармы, все железнодорожные мастерские были переполнены арестованными. В ночь с 20 на 21 января были произведены массовые расстрелы. Груды тел были навалены на железнодорожное полотно. В эту страшную ночь было перебито свыше 2500 человек... 23 января был организован военно-полевой суд, в ведение которого было передано дело о январском восстании и который в течение всего 1919 г. продолжал арестовывать в расстреливать».

Почему Лацис не зачислил этих жертв в свою официальную статистику? Ведь в первые дни по крайней мере здесь действовали чекисты, да и «военно-полевой суд» — это та же Ч. К., даже по своему составу.

Ни «Правда», ни другие официальные органы большевистской печати не ответили на вопрос, заданный 20 мая 1919 г. анархической организацией «Труд и Воля» на основании сведений, появившихся в нелегальном бюллетене левых социал-революционеров (№ 4): «Правда ли, что в последние месяцы убиваются в В. Ч. К. без счета, почти ежедневно, 12, 15, 20, 22, 36 человек?» На это никто и никогда не ответит, потому что это была неподкрашенная правда. И правда, тем более режущая глаза, что в это самое время официально было постановлено передать право казни лишь Революционным Трибуналам. Можно сказать, накануне этого декрета в 20-х числах февраля и Всероссийская и Петроградская Ч. К. опубликовали новые списки расстрелянных, хотя по декрету за Ч. К. оставалось право расстреливать только в случае восстания. Никаких восстаний в это время ни в Москве, ни в Петрограде не было.

Не знаю, на основании каких данных эсеровская газета «Воля России» [18] подсчитывала, что за три первые месяца было расстреляно Ч. К. 13 850 человек. Это невероятно? Это так не вяжется с официальной цифрой в 3456, которая показана у Лациса? Думаю, что невероятность скорее всего в сторону уменьшения реальной, действительной цифры.

Московский орган центрального комитета коммунистической партии «Правда» по поводу опубликования в Англии данных, утверждавших, что число расстрелянных достигло 138 тысяч, писал 20 марта 1919 года: «было бы действительно ужасно, если бы это была правда». Однако цифра, которая кажется столь фантастичной большевистским публицистам, в действительности дает лишь бледное представление о том, что происходило в России.

## 1920 г.

Лацис не опубликовывал своей статистики за 1920 г. и за последующие годы. Не вел и я своей картотеки, ибо сам был на долгое время ввержен в большевистское узилище и надо мною был также занесен меч большевистского правосудия.

В феврале 1920 г. смертная казнь была вновь отменена. И Зиновьев, выступавший в Германии в Галле в октябре 1920 г., решился сказать, что после победы над Деникиным смертная казнь в России прекратилась. Мартов, выступавший на съезде немецких независимых 15 октября, уже тогда внес поправку: Зиновьев забыл сказать, что смертная казнь прекратилась на самое короткое время (да и прекратилась ли фактически? — *С. М.*) и теперь снова применяется в «ужасающих размерах». Мы имеем полное основание выражать сомнение в том, что эти казни прекратились, зная обычаи, господствующие в Ч К. Самый наглядный пример может дать ознакомление с делом амнистии.

Среди жутких надписей на стенах Особого Отдела В. Ч. К. в Москве, которые делали иногда смертники перед казнью, можно было найти и такие: «Ночь отмены (смертной казни) — стала ночью крови». Каждая амнистия для тюрьмы обозначала массовые расстрелы. Представители Ч. К. стремились поскорее покончить со своими жертвами. И бывало, что именно в ту ночь, когда в типографиях уже набиралось объявление об амнистии, долженствовавшее появиться на другой день утром в газетах, по тюрьмам производились массовые расстрелы. Это следует помнить тем, которые указывают на частое издание актов амнистии советской властью [19]. Как тревожны бывали ночи, когда ожидалась амнистия, скажет всякий, кому в это время приходилось коротать свои дни в тюремном заключении. Я помню эти ночи в 1920 г. в Бутырской тюрьме перед амнистией, изданной в годовщину октябрьской революции. Не успевали тогда привозить голые трупы людей, застреленных в затылок, на Калитниковское кладбище. Так было в Москве, так было и в провинции. Автор очерка Екатеринодарской тюрьмы в сборнике «Че-Ка» пишет: «После амнистии в память трехлетней годовщины октябрьской революции в Екатеринодарской Чека и Особом Отделе обычным чередом шли на расстрел, и это не помешало казенным большевистским публицистам в местной газете «Красное Знамя» поместить ряд статей, в которых цинично лгалось о милосердии и гуманности советской власти, издававшей амнистии и будто бы порою их применявшей ко всем своим врагам» [20]. Так было и позже. В 1921 г. накануне открытия II конгресса коминтерна в Бутырской тюрьме в одну ночь казнили около 70 человек и все по самым изумительным делам: за дачу взяток, за злоупотребление продовольственными карточками, за хищения со склада и так далее. Политические говорили, что это — жертвоприношения богам коминтерна. А фраера и уголовные радовались. Амнистию готовят. Поэтому, кого надо в спешном порядке порасстреляют, а остальных амнистируют в честь коминтерна [21].

«Ночь отмены смертной казни стала ночью крови..» У нас есть достаточное количество свидетельств, говорящих, что это именно так и было. Установилось как бы правило, что время, предшествующее периодическим отменам или смягчениям смертной казни, становилось временем усиленных смертных казней без всякого иного внешнего повода.

---

[17] «Воля России» от 7 декабря 1921 г.; «Рев. Россия» № 3.

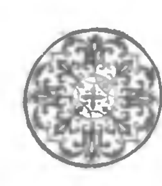
[18] 7 ноября 1920 г.

[19] А. В. Пешехонову в своей книге «Почему я не эмигрировал?», мне кажется, следовало бы быть осторожнее в своих оговорках, смягчающих большевистскую действительность. «Как ни жестоки большевики, — пишет он на стр. 8, — но, надо отдать им справедливость, осужденные в большинстве случаев не так уж долго томятся в их тюрьмах — во всяком случае гораздо меньше, чем пишется в приговорах». Еще бы! Я знаю приговор, присудивший человека к 120 годам заключения! Я знаю приговор Ч. К. (временного учреждения, по заявлению большевиков), присудивший человека к пожизненному заключению. В большевистском «правосудии» много действительно дикого. Но разве Пешехонов не знает, что тысячи годами уже сидят без соответствующих приговоров за никчемные вины или даже без вины — просто как «контрреволюционеры» in spe.

[20] «Че-Ка», стр. 227.

[21] Ib., стр. 102.

**От редакции.** На этом мы вынуждены прервать публикацию книги С. П. Мельгунова. Дело в том, что совсем недавно массовым тиражом вышло отдельное издание «Красного террора в России. 1918—1923» (Москва, СП «Puico», «P.S.»). В ближайшее время в нашей стране увидят свет и другие книги Мельгунова: «Золотой немецкий ключ большевиков» («Велес») и «Трагедия адмирала Колчака» («Молодая гвардия»).



# ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



## *Израильский публицист – гость журнала*

В отличие от «демократическо-плюралистической» прессы наш журнал осуществляет свободу слова реально и последовательно. Более того, мы печатаем материалы, отвергнутые многими «перестроечными» изданиями. Пример тому — статья известного израильского сиониста М. Агурского (1990, № 6).

В этом номере мы предоставляем слово другому публицисту из Израиля — Роберту Давиду, оценивающему сионизм через призму иных духовных ценностей. Его неожиданные, яркие публикации в нашей прессе уже обратили на себя внимание широкой общественности.

**РОБЕРТ ДАВИД**

# ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БАГДАДА

Самая страшная картина начала иракской войны на экранах: не жертвы, не налеты — нет, ликующие толпы американских вкладчиков на нью-йоркской бирже. Каждая капля арабской крови превращалась для них в доллары. Это была радость упырей, дорвавшихся до живой крови. «Доу Джонс», заменяющий жизненный тонус у нежити, пёр вверх. Акции и доллар шли в гору, а с ними — долги третьего мира и Советского Союза. Падали цены на нефть — арабскую и советскую. Росли цены на американское оружие, показавшее свою силу на жителях Багдада. Падали — на советское оружие, которое после поражения Ирака можно будет продать разве что Ландсбергису.

Иракская война — это трагедия. Трагедия для иракцев, которых в этой войне погибло столько, что Джорджу Бушу уже забронировано место в аду рядом с другими видными душегубами. Это трагедия для Ближнего Востока и всего третьего мира, превращаемых на еще десять-двадцать лет в американо-израильскую колонию. Это трагедия для честных американцев, видящих, как их народ превращается в нацию упырей. Но для Советского Союза это трагедия втройне: иракская война положила конец существованию СССР как великой державы, отрезала возможность возврата, привела его в кильватер американской политики и, как показали события в Литве, сделала его как никогда изолированным, одиноким, лишенным друзей и союзников. Его новые «друзья» останутся с ним только до тех пор, пока он выполняет команды из Вашингтона.

Битва за Кувейт — это прообраз третьей мировой войны, и на Багдад сыпались бомбы, уготованные Москве. Об этом дне мечтал Рональд Рейган, когда он, «пробуя голос», объявил в вашингтонской студии: через полчаса начнем бомбежку Москвы. Прошло не полчаса — семь лет, и вместо Москвы его преемнику Бушу пришлось отбомбиться на Багдад. Все по Чехову: ружье, висящее в первом акте, стреляет в последнем.

Том Клэнси, американский Юлиан Семенов, любимый автор Рейгана и ЦРУ, описал в одном из своих романов третью мировую войну. Ее ход удивительно похож на происходившее в Ираке: новейшая техника, самолеты «Стелс», налеты Б-52, разлад в стране противника, и в конце концов, используя внутренний раскол, — покорение врага.

Беда в том, что теперь Амеоику не остановишь. После очередного Вильнюса или Риги появится ультиматум Советскому Союзу: уйти, а не то...

Вспомним, что и у Гитлера были веские причины для нападения на Россию: он освобождал если не Кувейт, то Прибалтику и Украину от злых большевиков, он защищал Европу и свободный рынок. СССР был уже исключен из Лиги Наций после



начала финской кампании. Нет сомнений, если бы фюрер предварительно не атаковал Францию и Англию, а ограничился одной Россией, он получил бы и мандат тогдашней ООН — Лиги Наций.

И все же, вспоминая Сталинград, мы знаем, на чьей стороне наше сердце.

Сегодня винить некого — Советский Союз сам привел себя к потере союзников, доходов, репутации. Уже всем ясно — если бы не рука советского представителя, поднявшаяся в ООН 29 ноября за злосчастную военную резолюцию, всего этого не произошло бы: Америка не рискнула бы пойти на войну, арабский мир видел бы в России и впредь своего защитника и спасителя, остались бы в живых и сотни тысяч иракцев.

29 ноября — несчастливый день для Ближнего Востока. Дважды в этот день Америка и Москва заключали союз против жизненных интересов нашего региона. (Так магия чисел, скрещение планет подтвердили linkage, то есть связь судеб палестинского и кувейтского конфликтов, связь, теперь отметаемую сверхдержавами.) Первый раз — 29 ноября 1947 года, когда создатель ГУЛАГа и губитель Хиросимы приняли в ООН резолюцию о разделе Палестины. Не прошло и года, как три четверти миллиона палестинских крестьян лишились дома, родины, клочка поля во имя осуществления этой резолюции. Четыреста деревень было стерто с лица земли и целые поколения людей были обречены на жизнь в лагерях беженцев. Трагичными были последствия и для евреев — исчезли со всей своей культурой древние иудейские общины Ирака, Йемена, Магриба, и их члены стали, по выражению Хаима Вейцмана, «человеческой пылью», стройматериалом сионистской постройки.

29 ноября 1990 года Вашингтон и Москва вновь договорились в ООН и таким образом санкционировали массовое убийство сотен тысяч человек. А речь не идет о меньшем — бомбовый удар даже первых дней был равен по тротиловому эквиваленту двум Хиросимам. Древнему Багдаду, столице халифата Аббасидов, была уготована участь Минска и Дрездена.

Советский Союз изменил всей своей многолетней политике, отказался от плодов несчетных трудов советских людей, перечеркнул все свои достижения на Ближнем Востоке, и во имя чего? Во имя помощи, посылок? Не хочется в это верить. Во имя солидарности с Западом? Но Запад — это не только Джордж Буш или Оливер Норт, это еще и социал-демократия Европы, радикалы Америки, освободительные движения третьего мира. И не случайно все лучшие силы Запада — английский Тони Бенн, Даниэль Ортега из Никарагуа, Ганди, Вилли Брандт, Ньерере, Мандела, американский Джесси Джексон — объединились в борьбе за мир в районе залива и за вывод американских войск.

Но в Советском Союзе почти все газеты соревновались в преданности американским интересам. Говорили о гнусной агрессии, сравнивали Саддама Хусейна с Гитлером, писали о благородном демократическом Кувейте, растоптанном советскими танками агрессора.

Скажем сразу, что Кувейт был не более демократичным, чем Ирак. Ведь из его населения только одна четверть была полноправными гражданами и участвовала в дележе богатств. Три четверти были лишены элементарных прав и держались в положении московской лимиты. Даже хуже — кувейтская лимита была лишена самого элементарного: им не разрешали привозить с собой жен. Нэйпол рассказывает об этом безумном обществе, в котором пакистанцы и йеменцы могут только мечтать о надувной резиновой кукле для удовлетворения сексуальных потребностей.

И тут снова прослеживается связь с Палестиной: большая часть кувейтской лимиты — палестинские беженцы. Они сами, живущие в Кувейте с 1948 года, и их дети и внуки не были гражданами «демократического Кувейта», что, конечно, вполне соответствует эстонским или латышским представлениям о демократии, но, боюсь, ничьим другим. Сорок лет без паспорта и без перспектив. Конечно, быть лимитой в Кувейте лучше, чем на оккупированных территориях, но правящий клан ас-Сабахов не заслужил верности палестинцев. Именно при Саддаме вчерашняя лимита получила равные права с прочими кувейтцами. Уже поэтому насмешкой звучат слова резолюций Совета Безопасности ООН о «законном правительстве Кувейта», большинство населения которого не имело никаких прав. Победа американцев вылилась в почти не освещенный советской прессой погром палестинцев в «освобожденном Кувейте».

Кувейт существовал благодаря английской, а затем американской поддержке как охраняемая нефтяная скважина. Восхищаться им могли только советские газеты, открыто симпатизирующие Израилю. Так, именно в день иракского вторжения в Кувейт «Огонек» поместил длинный репортаж в цвете о прелестях Кувейта и заключил его словами: «Конечно, и у кувейтцев свои трудности, но, как говорится, — нам бы их заботы». (Я считаю это лучшим высказыванием года.) В своем последнем предвоенном номере «Огонек» помещает слюнявое «письмо кувейтских детей» в лучшей сталинской традиции, где «дети» жалуются, что у них отобрали портрет любимого лидера «папы шейха Сабаха» и дали другой портрет — бяки Саддама.

Кувейтский кризис стал лакмусовой бумажкой, разделяющей мир и советское общество. Не случайно эстонские боевики, занимающиеся пока установкой пограничных столбов в Псковской области, выразили готовность немедленно отправиться на помощь Америке подавить бунт «мигрантов» в Кувейте. Чем правее (а я не могу заставить себя пользоваться выдуманной оруэлловской терминологией, по которой антикоммунисты, сторонники «чистого капитализма» и долларопоклонники, называются «левыми», и слова этого им отдавать не хочу) газета или политическая сила — тем жестче она требует равнения на американского правофлангового. Другого нельзя и ожидать от, скажем, «ЛГ», заодно опубликовавшей очередной пасквиль против Никарагуа, или от яро сионистского «Нового времени», поместившего фото

палестинского муфтия с «нацистским лидером» (с которым, между прочим, снимались премьеры Англии и Франции). Обидно, что и «Правда» давала такие материалы — вроде слезливых статей Юлии Друниной, сравнившей беженцев из Кувейта, — на каждого из которых положено по миллиону долларов в западных банках, — с палестинскими беженцами, нищими и сверхэксплуатируемыми бедняками.

«Правде» стоило бы — впрочем, как и всей коммунистической партии — вспомнить слова Евангелия: «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон не попрание людям» (Мтф. 5, 13). Если орган ЦК КПСС будет последовательно отдавать свои позиции, то зачем — и кому? — он будет нужен?

И даже если мы забудем на минуту об идеологии и совести — и тогда для Советского Союза не было никаких оснований принимать близко к сердцу американские интересы в Персидском заливе. Америка пошла на войну в заливе из-за своих корыстных соображений. И дело не только в нефти: с исчезновением «советского врага» американская военная машина, ВПК оказались в сложном положении — вроде бы и нужды в них не стало. Так можно было дождаться и сокращения расходов на оборону и дойти, как в России, до переделки танков на тягачи. Поэтому американские военные пошли по пути создания образа нового врага в Персидском заливе и добились немалого: дополнительной финансовой помощи от Японии и Германии, договоров о продаже оружия Саудовской Аравии и эмиратам. И даже в Америке далеко не все стремились к войне: левые силы против пролития крови за нефть, и не только они. И вновь увязке с Палестиной: до вторжения в американском МИДе не существовало точной позиции в защиту Кувейта, скорее наоборот: из большинства речей и заявлений госсекретаря и верхушки МИДа США следовало, что Америка не вмешается. Что же изменилось? Израиль, этот мощный фактор американской (и советской) внутренней политики, решил, что наступил удобный момент разделаться с Ираком чужими руками.

Это не секрет: вполне правый комментатор Патрик Бучанан, сочинявший раньше речи президенту Рейгану, писал в своей «колонке комментатора», что только израильское лобби, сионисты в Америке хотят войны на Ближнем Востоке. Для этих сил захват Кувейта — просто повод, чтобы избавиться чужими, американскими руками от опасного врага. И действительно, такие известные сионисты, как Розенталь, бывший редактор «Нью-Йорк таймс», и Фоксмен, директор Лиги против диффамации масонско-сионистской Бнай Брит, выступают за войну, привычно интерпретируя слове Бучанана как «антисемитизм» («Ньюсуик», 1.10.90, с. 39). Для Израиля уничтожение Ирака — важнейшая цель, так как это единственная сильная и богатая страна на Ближнем Востоке, не ставшая в кильватер американо-израильской политики. Поэтому участились разговоры (в том числе и в советской прессе) о том, что мало вывода иракских войск из Кувейта — эту страну нужно еще и разоружить. В Америке есть силы, стоящие против подчинения американской политики израильскому диктату, в том числе известный писатель Гор Видал, но в СССР эти голоса не слышны.

Поэтому Израиль и его лобби в Америке сделали все возможное, чтобы сорвать любые попытки перемирия. Совместное советско-американское заявление — плод визита нового советского министра иностранных дел Бессмертных в Вашингтон — лишь упомянуло о возможности урегулирования палестинской проблемы, и сразу последовал окрик из Иерусалима, а президент Буш немедленно отмежевался, «прояснил свою позицию» — никакого урегулирования на Ближнем Востоке, только американо-израильский диктат. Более того, Бейкер утратил свое «первенство в кабинете Буша за то, что пошел на поводу» у русских.

После первых же налетов американской авиации стала ясна истинная цель войны — уничтожение Ирака. А главная цель впереди — мировое господство.

Эта цель манила американцев и раньше, но тогда в ойкумене была дыра — сфера влияния Советского Союза и лагеря социализма. Сейчас дыра затягивается и звездный флаг овевает мир.

И не стоило говорить о недопустимости иракской агрессии — не менее брутальная американская агрессия в Панаме всего несколько месяцев назад не привела ни к санкциям против Вашингтона, ни к блокаде Америки, ни к потоку гневных статей в советских газетах. Еще более точный пример — агрессия Индонезии против крошечного Тимора. Тимор получил независимость после португальской революции, там к власти пришли левые силы. Затем это государство было оккупировано соседней проамериканской антикоммунистической Индонезией со ссылкой даже не на семидесятилетней давности дела, как в случае Ирака и Кувейта, а на дела четырехсотлетней давности. Индонезийцы истребили половину населения Тимора и загнали в концлагеря уцелевших, привезли вместо них выходцев с Явы. Вопрос о Тиморе регулярно подымается в ООН уже в течение пятнадцати лет, но никто не ведет речь о блокаде Индонезии.

Можно ли говорить о недопустимости оккупации, когда Палестина, Южный Ливан и Южная Сирия оккупированы уже много лет благодаря американскому оружию? Ведь Америка отклонила предложение Ирака — увязать свой вывод войск из Кувейта с освобождением Палестины, а жаль. Помню, как мы радовались — вдвойне, — узнав об обмене Володи Буковского на Луиса Корвалана. Такие обмены просто замечательны. Тем более что тут увязка необходима, и Советскому Союзу следовало бы поддержать эту идею.

Теперь о заложниках. Судя по советской печати, большинство советских людей в Ираке вовсе не хотели уезжать оттуда. А расположение американских и английских граждан на иракских объектах было разумной мерой: у американцев и англичан





слишком легкое, расистское отношение к бомбежке «чурок», начиная с Хиросимы и продолжая Ханоем и Триполи. Если бы не заложники, американцы послали бы еще больше иракцев в рай к гуриям. «Каждый человек равноценен целому миру», учили мудрецы, каждый — а не только американец, каждый — и даже «чурка». И поэтому я рад, что белые тела американских господ защищали (хоть до Рождества) иракцев от ковровых бомбежек. Я был бы рад, если бы белые тела американских военных преступников — потому что не могу называть военнопленными убийц, уничтожающих мирное население с высоты в девять тысяч метров, — хоть немного защитили иракцев в ходе этой безнадежной войны.

Саддам Хусейн, видимо, неприятный человек. Но Альенде или госпожа Бхутто были людьми приятными, что ничуть не защитило их от гнева ЦРУ. Ведь еще Кеннеди сформулировал принцип: «Он сукин сын, но это н а ш сукин сын». Жаль, что Россия забыла об этом принципе.

Но почему я «заступаюсь» за Ирак? В 1968 году я писал «Руки прочь от Чехословакии» на стенах моего родного советского города, а в 1973 году попал под огонь иракской батареи в тридцати километрах от Дамаска. У меня нет личных причин быть за агрессию вообще или за Ирак в частности. Но Ирак — это первая независимая сила на Ближнем Востоке со времен Саладина. Наш регион слишком долго и плохо управлялся извне, сначала — турками, затем Англией и Францией, а теперь — неоколониалистской паутиной Америки и ее вассалов. Да, Саддам Хусейн, возможно, нехороший человек. Но, видимо, нехорошим человеком был и Сталин в годы второй мировой войны. Ближнему Востоку нужен «собиратель земель», который сможет со временем противостоять неоколониализму. А раздел ближневосточных земель, при котором нефть и доходы остаются в руках кучки коррумпированных шейхов, служит только неоколониализму.

Есть и вторая причина — это конец социалистической, альтернативной структуры мира. Мы вступаем в пору единой монолитной американской гегемонии. Несомненно, за Ираком последует Куба, и, боюсь, что года через три и Москве не избежать судьбы Багдада.

Есть и третья причина, внутриизраильская. Ирак нужен Ближнему Востоку хотя бы ввиду банкротства израильских «голубей» и крушения всех мирных инициатив по Палестине. Сейчас произраильские обозреватели (например, Авинери в откровенно сионистском «Новом времени») часто говорят, что из-за Саддама, мол, рухнули попытки урегулирования. Это, к сожалению, ложь. Попыток урегулирования не было, да и быть не могло — Израиль находится в положении сильного и ничего уступать не собирается. Ведь правительство Шамира однозначно торпедировало все мирные инициативы. Разговоры о них могли действовать какое-то время в качестве клочка сена, привязанного к оглобле, вне досягаемости челюстей тянущего телегу ишака. Но еще не родился такой глупый осел, чтобы тащить телегу вечно только из-за одного вида сена.

Палестинцам давно стало ясно, что от своих израильских господ им ничего не дождаться. СССР практически исчез как балансирующий американское влияние в регионе фактор. Поэтому Саддам, единственный арабский правитель, обладающий военной мощью и не купленный Америкой, воспринимался и воспринимается ими как единственный возможный избавитель от сионистского ига.

Израильские «голуби» оказались не на высоте: почти все, кроме коммунистов, отмежевались от палестинцев. Иоси Сарид, кумир либеральной левой, «послал им развод»: мы, мол, за вас заступались, а вы стали за Саддама, да пропади вы теперь пропадом. Конечно, от заступничества Сарида и других «голубей» палестинцам никакой пользы и раньше не было.

Позицию израильских «голубей» и «гуманистов» предвосхитил Илья Эренбург в «Хулио Хуренито» (гл. 11): когда египетские жрецы резали евреев и кропили землю еврейской кровью, гуманисты говорили, что зарезать несколько евреев, разумеется, полезно, но землю окроплять их кровью не следует. А когда в Южной Италии евреев закапывали живьем в землю, передовые люди были против, говоря, что закопанные окончательно растрясут землю.

Так, после кровавого расстрела на Храмовой горе «голуби» потребовали разобраться, почему полиция превысила полномочия, но в отличие от них израильские коммунисты дали свою кровь раненым и потребовали (правда, безуспешно) отставки правительства.

Крайняя практически нацистская партия Израиля «Моледет» («Отечество»), представленная в парламенте и пользующаяся большой поддержкой среди эмигрантов из России, послала приветствие израильским «голубям» и Иоси Сариду в частности, «наконец-то прозревшим». Позиция «голубей» похожа на реакцию русских либералов, «любивших народ» до 1905 года, когда тот посмел заговорить о своих нуждах и потребовал помещичьей земли, на чем их любовь к народу и окончилась.

Итак, к сожалению, надеяться палестинцам — кроме как на Саддама — не на кого.

## РУССКИЕ ЕВРЕИ И ВОЙНА В ЗАЛИВЕ

Одной из первых жертв иракской войны в Израиле стал старый советский еврей по фамилии Молдаванский, если я не путаю. Умер он, правда, от инфаркта во время ракетного удара по Тель-Авиву, а не от прямого попадания. Надо думать, что он не остался единственным «бывшим советским гражданином», погибшим в ходе конфликта, который начался как война за Кувейт, но быстро превратился в пятую арабо-израильскую войну. Жалко, конечно, Молдаванского и других, оказавшихся под ударом иракских «Скадов» людей, в целом невинных.

Но дело не в жалости, а в том, кто виноват. А виновато в первую очередь из-

раильское правительство, желавшее войны, е во-вторых, сионистское движение с его союзниками, заманившее в Израиль массы советских граждан. Правительство Шамира — самое реакционное, правое, махровое правительство за всю историю Израиля, — сделало все, что в его силах, чтобы сорвать любые попытки мирного урегулирования на Ближнем Востоке и вызвать нынешнюю страшную войну. Видимо, оно и останется единственным победителем в конфликте.

Ракеты по Тель-Авиву — это удар по подлинному инициатору войны в заливе. Вина Израиля и в нескончаемой бойне на оккупированных территориях, в Ливане, в Тунисе — всюду, где живут и умирают палестинцы. Сейчас впервые бомбы упали на головы израильтян, но израильские бомбы сыпались и сыплются на головы палестинцев ежедневно уже много лет. Войны на Ближнем Востоке происходят раз в десять лет — когда подрастает новое поколение солдат. Нынешняя война — не первая, не последняя. Их общая причина — нежелание Израиля дать палестинцам спокойно жить на своей земле. Эта причина не исчезнет и в ближайшие годы, а значит, и следующая война неизбежна.

Все это знали советские граждане, эмигрировавшие в Израиль. Ведь СССР, если угодно, виноват в агрессии Саддама, потому что крупнейший дестабилизирующий Ближний Восток фактор связан с Советским Союзом. Это массовая переброска советского населения в Израиль, начавшаяся год назад. Она заколотила последний гвоздь в гроб мирных инициатив. Ни Ицхак Шамир, ни Шимон Перес не пойдут ни на какие уступки палестинцам в условиях массивной подкачки людских ресурсов из СССР. Именно эта переброска вызвала у арабов острое ощущение неуверенности, разочарования, боли и привела, кроме прочего, ко вторжению в Кувейт.

При нынешней безудержной пропаганде «заграницы» приведу цитату из газеты: «Ну, конечно, на Западе уровень жизни неизмеримо выше... Можем ли мы себе представить, к примеру, ежедневные бесплатные ланчи, на которых круглый год подают свежую клубнику, салаты из свежих овощей и фруктов?» («ЛГ» от 28.11.90) и полном отсутствии объективных материалов, при информационной блокаде на происходящее в Израиле, только большой неприятный человек вроде Саддама Хусейна мог удержать еще большую лавину советских граждан — и удержал: за первые три недели года эмиграция в Израиль снизилась до 25% предвоенной. Уезжающие не сталкиваются с моральным осуждением, их «понимают». А ведь речь идет о прямом участии советских граждан в агрессии, затянувшейся агрессии против народа Палестины. Впрочем, равнодушно принимает общество и эмиграцию в ЮАР, когда сами потенциальные иммигранты ясно понимают: их зовут, чтобы вытеснить другой народ.

За несколько месяцев до войны я писал: «Я знаю многих уезжающих, и мне их искренне жаль. Это хорошие люди, и в Израиле они всем нравятся. Но они играют там ужасную роль...» Эти строки опубликовать в широкой советской печати оказалось невозможно. Их считали антисемитскими и одиозными. Поэтому в советской печати не звучало четких предупреждений эмигрантам.

Добавлю: ничего страшного нет, если тот или другой советский человек — русский, еврей, казах — влюбится в камни Святой земли и переедет в Израиль-Палестину: приезжали к нам люди и раньше. Но массовое переселение народов — это совсем из другой оперы.

А говоря о вине сионистского движения, я имею в виду в первую очередь невероятно раздутый миф о «Памяти». Через несколько месяцев после приезда в Советский Союз я писал в зарубежной газете (в Советском Союзе такие строчки опубликовать было невозможно):

«По-моему, никакой «Памяти» нету, то есть ее сторонников меньше, чем членов общества Плоской Земли, меньше, чем абонентов филармонии в Афуле или в том же Литтл Роке. Тем не менее, рекламу они получают мировую — и, конечно, самые оголтелые. Стоит одному из «памятников» сказать что-нибудь против антисемитизма или погромов, как пресса его забывает и переключается на более ярого. Так произошло с Васильевым, которого я интервьюировал летом — хоть и его в излишней любви к сынам Израиля не упрекнешь, сейчас он забыт, и все пишут о Сычеве, руководителе другой фракции, более задействованном на евреях.

Ко мне приходят и приезжают евреи и говорят о «Памяти» и обещанных на 25 августа, на 5 декабря, на 3 марта, на какое-то мартобря погромах. Странно: пообещали бы им приход коммунизма, или колготки, или выполнение плана на определенное число — не поверили бы, а в погромы верят. Я их успокаиваю, заверяю, что погромов не будет, затем проходит назначенный день, и евреи страшно разочарованы.

Причин погромам, прямо скажем, нет — евреев в торговле и на других местах, где сталкиваются имущие и неимущие, осталось мало, еврейская миграция в Россию из западных провинций давно окончилась, отток евреев продолжается. У слухов, однако, есть причины и распространители, по принципу qui bono, кому выгодно. А выгодно это в первую очередь инициаторам отъезда и самим уезжающим, нашедшим таким образом прекрасное алиби, отмазку для отъезда. Можно вспомнить волну подобных слухов перед массовой эмиграцией из Марокко и Ирака сорок лет назад — там они распространялись агентами «Моссада», что было с тех пор подтверждено документально.

Но не исключено, что эти вздорные слухи, не основанные на реальности, смогут вызвать изменение самой реальности. Ведь если постоянно внушать народу мысль о погромах, то так долго и вожделенно предсказываемое возьмет и сбудется.

Так, в моей любимой японской пьесе «Адачигахара», где монах встречает злого демона-людоеда, принявшего вид старушки, он наставляет бесовскую старуху на путь веры, и она преображается, забывает о своем демонском начале, становится духовно чистой. Но тут ее замечает слуга монаха, знающий о ее бесовской сущности, кричит от ужаса; она понимает, что ее разгадали, и превращается в страшного монстра. Возможно, евреи в России совершают ошибку, стараясь во что бы то ни стало доказать людоедство встреченного оборотня.

Важно и нужно говорить об аморальности оккупации, а тем более — депортации. Я бы посоветовал посмотреть фильм «Ночевала тучка золотая» всем тем, кто собирается колонизовать чужую родину. Некоторые советские гости, побывавшие в Израиле, поняли это сходство ситуаций, и у Булата Окуджавы хватило мужества и сердца пожелать огромной аудитории в Тель-Авиве не строить свое счастье на несчастье других.

Не будем забывать, что идеи «Памяти» уже реализованы в Израиле — применительно к палестинцам, включая процентную норму, ограничение должностей, экономическую блокаду. Например, недавно судья Верховного суда Израиля потребовал запретить любую партию, выступающую за равноправие (именно так) евреев и неевреев, так как она подрывала бы основы Израиля как еврейского государства.

Не со злорадством («Мы же вам говорили»), а с болью сердца смотрит израильская левая оппозиция на происходящее. Ведь погибают невинные люди. Но вина в этом — тех, кто завел еврейский народ в этот кровавый тупик.

## МОЖНО ЛИ ОТПУСТИТЬ ЛИТВУ

В январском номере «Московских новостей» появилась статья Константина Плешакова, где говорится о возможности возникновения связанного с НАТО и враждебного России блока в Восточной Европе. Плешаков пишет: «Американские войска могут оказаться непосредственно у самых границ Советского Союза, потому что их туда могут позвать Валенса и Гавел». По-моему, прогноз комментатора «МН» верен, чего нельзя сказать о его выводах. Его вывод — Россия (она же «Центр» или «СССР») должна вести себя хорошо, то есть так, чтобы это устраивало ее западных соседей. Более естествен другой вывод — внешняя политика Шеварднадзе по Восточной Европе (и Яковлева по Прибалтике) возвратила Россию к положению ante bellum Germanicum[1], когда на ее западной границе находилась цепочка враждебных ей государств. Продолжительный отказ Польши дать транзит даже грузам помощи из Германии в Россию — индикатор того, что Польша Валенсы идет по стопам Польши Пилсудского и воссоздает cordon sanitaire в новой форме.

Видимо, деколонизация Восточной Европы была проведена слишком поспешно и неумело, если к власти в этих странах смогли прийти противостоящие России силы. Не следует обольщаться их симпатиями к Ельцину и его альтернативной «России» — это просто поиски союзника в борьбе с Россией настоящей, во главе которой стоит Президент Горбачев. Если бы завтра Ельцин стал главой Российского государства, они стали бы и его врагами — разве что он согласился бы возвратить Россию ante bellum Livoniam[2].

Существуют геополитические реалии, не считаться с которыми невозможно. Так, Тегеран всегда поддержит Иерусалим — и это испытано временем, начиная с эпохи Кира Великого вплоть до ирано-иракской войны. Даже противостояние Дамаска и Багдада длится тысячи лет — от войн Хаддада с ассирийцами через конфликт Омейядов и Аббасидов до нынешней вражды Асада и Саддама. Могут ли Варшава и Каунас[3] быть независимыми и не враждебными России — на этот вопрос нужно найти ответ и убедить в нем Москву.

Глядя на вещи реалистически, ни одной крупной державе — а «урезанная» Россия все равно остается таковой — не удастся быть такой паинькой, чтобы не рассердить склонных к вражде соседей. Если не конфликт в Прибалтике, то наверняка найдутся другие причины и поводы, чтобы подпустить войска НАТО, прошедшие боевое крещение и знакомство с советской военной техникой в Ираке, к довоенным рубежам России.

Соединенные Штаты находились в таком «геополитическом конфликте» с Латинской Америкой — и поэтому они аннексировали половину Мексики (Техас, Нью-Мексико, Калифорния и т. д.) и только в этом веке провели более ста интервенций в странах Латинской Америки. И по сей день они ведут блокаду Кубы, судьба Панамы тоже известна. Конечно, это отвратительно, но так уж устроен наш мир.

Поэтому вопрос о независимости Литвы и Польши не должен решаться Россией, исходя лишь из спорных принципов права народов на самоопределение; но следует учитывать и законные интересы России — не оказаться вновь, как было в тридцатые годы, во враждебном окружении. Экономическая слабость России делает ее непривлекательным союзником для бывших восточноевропейских вассалов, если она не будет поставлять дешевую нефть и сырье.

В советском обществе спор о будущем этих регионов обычно связывается с судьбой переселенцев из России. Но это совсем не так важно: в Польше выходцев из России нет, в Литве их мало, но ответствен-

[1] До германской войны (лат.), то есть второй мировой. (Здесь и далее примечания редакции.)

[2] К положению «до Ливонской войны» (лат.) 1558—1583 гг. с Ливонским орденом, Швецией и Великим княжеством Литовским за выход России к Балтийскому морю.

[3] Каунас (б. Ковно) — столица Литовской республики в 1920—1940 гг. Вильнюс (б. Вильно) передан Литве СССР в 1939 г. в результате пакта Молотова—Риббентропа, характеризующегося нынешними демократами «саюдистами» как незаконный.

ное правительство Москвы не должно допустить превращения этих территорий во вражеский плацдарм. Иными словами, им можно было бы дать независимость лишь по «финляндскому образцу» 1944 года — с размещением советских военных баз, с правом беспрепятственного военного транзита, с договорами о дружбе и взаимной обороне, с обязательными политическими консультациями — и то лишь при условии, что Россия сильна, потому что такие условия в случае слабой России будут неизбежно нарушены.

Другой либеральный обозреватель «МН» сравнивает Прибалтику с Алжиром, а русских в Риге и Таллинне с французскими pied noir[4]. Его вывод: Россия должна пойти путем де Голля. Но аналогия хромает: Алжир отделен от Франции морем, и через него не могут прийти во Францию враждебные африканские войска.

Итак — западным провинциям можно дать свободу только на условиях их отказа от независимой внешней политики, а это, видимо, мало чем отличается от предлагаемых Горбачевым условий.

В то время как правительство Чехословакии ведет себя сдержанно (да и геополитически эта страна не входит в сферу российских интересов), польские и литовские власти явно взяли курс на противостояние Москве. Возможно, если уж открылся этот ящик Пандоры, следует еще раз обсудить договор Молотова — Риббентропа. Сейчас, в свете иракской войны, становится очевидной вся дипломатическая и политическая гениальность сталинского шага: ведь весьма вероятной была война Германии, Англии, Франции не друг против друга, а против России, против «кровавого диктатора» (недаром либеральные публицисты так любят сравнивать Саддама Хусейна[5] со Сталиным). Именно на такую войну и ставили довоенные правители Польши и лимитрофов[6].

Независимость этих государств и народов ликвидировалась неоднократно и быстро, что указывает на глубокие геополитические причины. Идеалисты в такие причины не верят. Но в реальном мире вслед за идеалистами наступает черед прагматиков. Конечно, идеалисты наломали немало дров в советской внешней политике и впервые со времен Екатерины II (не считая межвоенного интервала) поставили Россию в зависимость от доброй воли Варшавы. (Я уже не говорю о потере арабских союзников, а они также являлись геополитической необходимостью, учитывая Турцию с ее нацеленными на Москву американскими атомными боеголовками.) Все же это поправимо: страны НАТО вовлечены в бойню в Ираке, и Россия может — и должна — исправить промахи своей слишком поспешной — сродни другому плоду перестройки, антиалкогольной кампании, — деколонизации своих бывших провинций.

Это сравнение не случайно: в обоих случаях благородная цель — борьба с пьянством, предоставление свободы народам, — и совершенно головотяпский путь ее достижения. С алкоголизмом не борются вырубкой виноградников, а деколонизацию нельзя проводить одним махом, как показывает опыт Африки. В первую очередь следует исправить положение в Польше, а для этого надо дать понять полякам, что советские войска никогда — а не только не в этом году — не уйдут из Польши (и тем паче из Литвы). Опыт Гуантанамо, американской военной базы, торчащей на Кубе, несмотря на все протесты Гаваны, может послужить вдохновляющим примером для проамерикански настроенных жителей Восточной Европы.

Плебисциты, организованные мятежными правительствами балтов, конечно, дали запрограммированный ответ. Я не сомневаюсь в подобном результате и в случае плебисцита в нефтеносной Тюмени или в окрестностях алмазных копей СССР. Но право на самоопределение вплоть до отделения — это ленинская утопия. Мир и jus gentium[7] такого права не знают. Например, население Аландских островов, бесспорно шведского корня, говорит по-шведски и хотело стать частью Швеции немедленно после отложения Финляндии от России. Вопрос подымался в международном суде и был решен в пользу Финляндии, преемницы Российского суверена, а не в пользу народа спорной территории.

Даже право каждого народа жить так, как он хочет, — в культурном, экономическом, религиозном аспекте — и то не бесспорно, и отрицается, например, Израилем, этим любимцем Америки и советских либералов, в отношении палестинцев. Право же на политическое самоопределение и вовсе почти не существует. Ссылки на сталинскую Конституцию или Договор 1922 года и вовсе несерьезны — эти акты не были искренним волеизъявлением суверена-народа, но лишь сталинской правовой дымовой завесой. Ленин выступал за это право, потому что ему виделось вступление советской Германии, советской Венгрии в союз республик. Как известно, мировая революция остановилась на Висле, и с тех пор концепция Ленина полностью лишилась смысла.

Нынешние призывы Ландсбергиса и некоторых других руководителей к помощи США или ООН уже давно надо было квалифицироаать по статье 64 «Измена родине» еще не отмененного уголовного законодательства. Тогда можно было бы избежать кровопролитного столкновения с наивными сторонниками этих лидеров и не создать ложную ауру законности вокруг мятежных правителей бывших российских территорий. Ведь эти правители, называющие СССР «соседним государством» или «Центром», уже по одному этому стали мятежниками против законной власти, и сравнить их можно с лидерами мятежного Юга в американской гражданской войне.

Не проявленную вовремя жестокость все равно придется искупать. Это не безболезненно, но лучше (для России) того варианта, который так убедительно обрисовал автор «Московских новостей». Вариант, при котором следующая встреча в верхах мятежных лидеров произошла бы во Владимирской тюрьме, помог бы избежать кровавого финала Российской державы в ее советском воплощении.

А спасение России — насущная задача для всего мира. И тут я не согласен с Солженицыным, призывающим к самоизоляции России, к ее уходу на обдумывание и обустройство. Мировая политика — не шахматная партия, отложить ее невозможно. Она продолжается, и даже без активного участия России. Россия может проиграть. Игорь Шафаревич в статье в «Литературной России» в качестве примера разумного изоляционизма приводит доктрину Монро «Америка для американцев». Но доктрина Монро не была изоляционистской, напротив — она была экспансионистской и означала: Латинская Америка — для Соединенных Штатов. Ее эквивалентом и была доктрина Брежнева: ялтинская сфера влияния — Советскому Союзу.

Видимо, в современном жестоком мире ее следует сохранить как минимум, но лишь как минимум. И за пределами границ Ялтинской конференции помощь и влияние Советского Союза необходимы.

Несколько лет назад enfant terrible литературного зарубежья Эдуард Лимонов написал шуточный рассказ, недавно напечатанный и в Москве: что произошло бы в случае исчезновения России с лица земли. Одним из первых последствий, пишет он, было бы американское вторжение в Мексику. Он ошибся только в названии латиноамериканской страны. Американцы вторглись в Панаму.

При нынешнем положении дел кубинский «ракетный кризис» завершился бы вторжением на Кубу, вьетнамская война — покорением Северного Вьетнама, Никарагуа ждала бы судьба Панамы, а Намибия оставалась бы и поныне колонией Южной Африки.

Надо сказать прямо — даже в самые мрачные «застойные» годы Советский Союз хоть немного, но удерживал руку Америки, ограничивал ее имперские претензии. Поставим вещи в должную перспективу. Мощь Советского Союза была недостаточной для надежного ограничения Америки и ее союзников. Так, Россия не могла помешать Англии вести войну на уничтожение в послевоенной Греции, Малайе, Омане, не могла защитить Ливию от американских, а Сирию и Ливан от израильских бомбежек. Даже во время внешней активности Россия не смогла помешать Америке практически стереть с лица земли Северную Корею: к концу корейской войны американские летчики возвращались зачастую на свои базы, не обнаружив ни единой возможной мишени для бомб. Россия не смогла защитить Северный Вьетнам от налетов. Список этот можно продолжать.

Отношения между двумя сверхдержавами никогда не были «на равных»: Россия не посягала на глобальный авторитет мирового шерифа, что и к лучшему, ибо иначе третья мировая война не оставалась бы холодной. Попробовала бы Советская Россия бомбить Чили Пиночета, как Америка бомбила Вьетнам, или блокировать Турцию, как американцы блокировали Кубу. У России всегда было меньше денег для подкупа, куда меньше веры в собственное право править миром.

Если нужно историческое сравнение, Россия была парфянской империей, слабым, но единственным антагонистом нового Рима — Америки. На парфян полагались, к сожалению, попусту, мои предки в давней Иудее, бунтуя против всемогущего Рима, бежали к парфянам, когда значки легиона Фретензис появились в проломах иерусалимских стен. Парфяне были единственной альтернативой правителю ойкумены — Риму, но альтернативой слабой и далекой.

Так и Россия, несмотря на отсутствие симметрии, была символом выбора, надеждой стран третьего мира на спасение от имперской мощи Штатов. Вспомним о блистательной победе кубинско-советского оружия над регулярными танковыми соединениями ЮАР в Южной Анголе. Это была подлинно судьбоносная победа — после нее южноафриканцы согласились уйти из Намибии, после нее начался процесс реформ в ЮАР, пришел к власти де Клерк, вышел на свободу Мандела. Если бы не мужество кубинских солдат (пусть помнят об этом сегодняшние экономисты, сравнивающие цену кубинского сахара и тюменской нефти в американских долларах) и не самоотверженность советских людей, в Претории по-прежнему правил бы Питер Бота, а то и кто похуже — только поражение заставило южноафриканцев прислушаться к доводам разума.

Еще пример. Вспомним войну Судного дня, или войну 10 рамадана, попросту — арабо-израильскую войну 1973 года. Если бы не замечательное советское индивидуальное пехотное противотанковое и зенитное оружие, средства форсирования водных преград, армии Садата не удалось бы прорвать линию Бар Лева и войти в Синай. А ведь только ограниченная победа египтян смогла привести к мирным переговорам между Израилем и Египтом. Незадолго до войны тогдашний министр обороны Моше Даян бросил крылатое словцо: «Лучше Шарм аш-Шейх[8] без мира, чем мир без Шарм аш-Шейха». Израиль отклонял все предложения Египта о мирном урегулировании — пока мощный удар советского оружия в арабских руках не вывел израильскую общественную психику из состояния самоупоения и не привел за стол переговоров. Автор этих строк в те дни сам испытал мощь советских «катюш», что помогло и ему понять, что лучше мир без Шарм аш-Шейха. А сейчас исчезновение России с театра мировой политики уже

---

[4] Черноногими (фр.) — белыми французами, родившимися в колонии.

[5] И даже считают президента Ирака внебрачным сыном Якова Джугашвили. Безусловный приоритет «открытия» принадлежит газете Всегрузинского благотворительного общества Давида Строителя «Шираванди» («Megapolis Express», 1991, № 1, с. 19).

[6] Стран-соседей (фр.)

[7] Международное право (лат.).

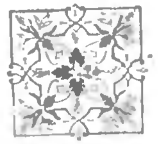
[8] Пролив, ведущий в Акабский залив Красного моря. В 1967 г. Египет закрыл Израилю этот единственный выход в Индийский океан.

ввело в правительство Израиля генерала Зееви, лидера партии «Моледет», по сравнению с которой меркнет «Память» Сычева, а Осташвили кажется рассудительным защитником прав человека.

Каковы цели Америки в несчастном (несмотря на полную победу рынка над планом) третьем мире? Отец структуральной лингвистики профессор Ноам Чомски, левый радикал, выступавший против вторжений в Чехословакию и Сальвадор, Афганистан и Вьетнам, так охарактеризовал американскую внешнюю политику в третьем мире: «Когда Франклин Д. Рузвельт провозгласил Четыре Свободы, за которые США и их союзники будут бороться с фашизмом (свободу слова, свободу совести, свободу от нужды и свободу от страха), он забыл упомянуть Пятую Свободу, которую грубо, но довольно точно можно определить как свободу (для США) грабить, эксплуатировать и господствовать. Когда Четыре Свободы не согласуются с Пятой, ими легко жертвуют во имя ее». Когда Куба, а впоследствии Никарагуа попытались провести социальные реформы, улучшить здравоохранение, разбить латифундии, Соединенные Штаты объявили этим странам неограниченную войну. Оптимальная цель этой войны, по Ноаму Чомски, — привести к власти правительства, поддерживающие Пятую Свободу (что уже достигнуто в Никарагуа), минимальная цель — сорвать программу реформ, превратить «бунтующую» страну в руины, в пугало, в наглядный пример тем, кто задумает восстать против могущества янки (эта задача достигнута во Вьетнаме).

Сейчас Америка уничтожает взбунтовавшийся Ирак, продолжает блокаду Кубы, уже одержала победу в Никарагуа и Польше. Советский Союз — а с ним и весь третий мир — проигрывает шаг за шагом. А ведь многим советская помощь, помощь России, необходима. Я с грустью и без оптимизма думаю о будущем палестинского народа. Против него уже многие годы ведет тотальную войну Израиль — сначала с помощью Сталина, а затем американским оружием и деньгами. Америка тратит ежегодно миллиарды долларов на войну с палестинцами, не щадит никаких затрат, и Советский Союз никогда, даже в лучшие годы, не мог противостоять этой лавине денег и оружия. Все же СССР хоть немного заступался за них. Сейчас их положение кажется безнадежным — поток советских евреев, идущий туда, скоро доведет их до положения американских индейцев или аборигенов Тасмании. А в СССР не звучит ни единого голоса морального осуждения мигрантам-оккупантам, ворующим чужую родину, нет и голоса в поддержку палестинцев. Вместо этого «Огонек» (миллионным тиражом) продолжает печатать статьи о «близящихся погромах (в России)» и о красотах кибуцов.

Итак, Россия необходима миру, и защитить ее необходимо. А для этого нужно ясно сказать периферийным республикам: вы вправе жить так, как вы хотите, но ваша внешняя политика, оборона и федеральные налоги, а также полноправие всех россиян — дело Москвы.







АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

# ПРИДВОРНЫЕ ДИССИДЕНТЫ И «ПОГИБШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

«Занимайте места согласно заранее купленным билетам». Покупали еще до перестройки — пачками, как и положено мафии. И только объявили начало представления, удобно устроились в партере, да и сами охотно поднимались на сцену. Лагерный стукач повествует читателям молодежного журнала об ужасах тоталитаризма. Егор Яковлев, по заслугам отмеченный за телесериал о вожде мирового пролетариата, именуется «либералом». И т. д. и т. п.

«Тошно слушать «антисоветские» тирады людей, немалые годы потрудившихся для советской культуры. По их мнению, они поступились минимумом... С нашей потусторонней точки зрения, это было достаточно много», — пишет О. Седакова в статье с длинным, но выразительным названием «О погибшем литературном поколении — памяти Лени Губанова» («Волга», 1990, № 6).

Ольга Седакова — поэтесса, моя ровесница. «Леня» Губанов был старше. Последний из «смогов» (союз молодых гениев), шумевших в шестидесятые годы по литературным гостиным, он спустя десятилетие был таким же непризнанным и отверженным, как молодые поэты нового поколения. «Лишенные всякой встречи с открытым читателем, лишенные даже критики и обличений и право быть упомянутыми публично», — характеризует Седакова это поколение. Завидна, пишет она, судьба писателей двадцатых годов, кого «погребли под массовым претворением в жизнь социализма... А нас — ни под чем. Вот своеобразие нашей художественной смерти». Поэтесса с едкой иронией замечает: «Зияние прикрывалось, правда, вечно юным поколением Евтушенко. Хватало возни с этими «сердитыми молодыми».

Я уже писал о двух путях, открывавшихся перед литераторами в семидесятые годы. Один, сравнительно благополучный, вел на Запад, другой, требовавший немалого мужества, уводил от столичной бюрократической иерархии в глубь России. По нему шли В. Шукшин, О. Куваев, В. Распутин, В. Белов, В. Астафьев, Н. Рубцов.

Но тогда же, в семидесятые, обнаружилось, что у тех, кто рожден в пятидесятые годы, отняли уже и саму возможность выбора литературного пути. Им попросту не было места в искусстве. Сошлюсь все на ту же статью в «Волге»: «...Кажется, наше поколение первым столкнулось с такой ситуацией, когда не идеи, не политические взгляды, не что иное — а *одаренность* сама по себе оказалась *политически нежелательным явлением*».

«Искусство андерграунда», о котором модно и престижно писать ныне? Нет. «Андерграунд» — подполье, а в подполье — воспользуюсь формулировкой одного из мужественных людей той эпохи — «живут только крысы». Сознательная изломанность, гротескность, профессиональное хохмачество, специализация на травестировании, вышучивании официозных деклараций — это тоже своеобразная форма компромисса.

Те, о ком я пишу, выбрали иное. Не ирония — лирический пафос, не модернизм — верность идеалам классического искусства. Это были люди больших целей. Один из них, ленинградец Виталий Дмитриев, с усмешкой сказал о своем позднем дебюте в советской прессе: «Велика ли заслуга за выслугой лет измельчать до журнального шрифта». Многие, как Л. Губанов, умерли, не дожив до сорока. Многие уехали по фиктивным справкам. «Андерграунд», пригнувшись, выжил. «Погибшее поколение» — как поколение — погибло.

Я знал многих из них.. Сегодня мои оппоненты время от времени напоминают мне и в нашей печати и в зарубежной («Новое русское слово»), что я «левачил».

Сожалею, ошибка. «Левачил» Брежнев, реанимировавший доктрину «пролетарского интернационализма», послав войска в Афганистан. «Левачили» его чиновники, в том числе и литературные. Я этим малопочтенным делом не занимался.

Но выпускал «Московское время» — единственное, насколько мне известно, периодическое издание независимой поэзии в середине семидесятых. На моей квартире собирались философские семинары. Читали Н. Бердяева, Л. Шестова, «Из-под глыб».

Помню, по поводу этой новинки мы заспорили особенно яростно. Сборник, раскрытый на статье И. Шафаревича о социализме, лежал на столе, и кто-то патетически провозглашал: «Прав Шафаревич...» Тут в дверь позвонили. Вошедший, подтянутый товарищ в элегантном заграничном костюме и с «дипломатом» (редкость по тем временам), отрекомендовался запросто: «Слесаря вызывали?» Эта комичная сценка закончилась по законам жанра. Матушка по простодушию своему решила, что «слесарь», хотя его и не вызывали, очень кстати, и, бросившись к пришедшему с жалобами на подтекающий кран и прочие неполадки, повлекла на кухню. «Слесарь», профессиональным взглядом фиксировавший собравшихся, был смущен, поражен, смят этим хозяйственным натиском и с воплем: «Потом, потом...» — позорно бежал из квартиры...

На семинары приходили в основном поэты — Ю. Кублановский, Б. Кенжеев, О. Седакова, А. Сопровский, А. Цветков. Кто-то обещал привести прозаика В. Кормера — совершенно неизвестного в Союзе, но получившего в Париже премию В. Даля за роман «Наследство». Кормер так и не пришел. Умер, не дожив до своего сорокавосьмилетия.

Я вспомнил все это, раскрыв журнал «Октябрь» с публикацией «Наследства» (1990, №№ 5—8). Признаюсь, повторное чтение меня разочаровало. Оставило чувство неловкости и недоумения. И воскрешенной саднящей боли. Все-таки нетрудно догадаться, чем привлекал роман когда-то.

Читая его впервые, я понял, что произведения пишутся не для абстрактного читателя и не об абстрактных людях. О поколении и для поколения. Это потом лучшее попадает в «большое литературное время», и читатели забывают о возрасте текста, о породившей его эпохе. Вечное заслоняет приметы времени. Живые люди становятся типами, ситуации, в которые они попадают, выстраиваются в сюжет, вопросы, стоящие перед ними, индивидуальные, требующие немедленного разрешения, обобщаются ученым термином «проблематика».

«Наследство» — роман о моем поколении. Все, чем эпоха грозила вступившим в нее неофитам, — стукачи, поставленные на прослушивание телефоны, бездомность, нищета, безысходность, — весь этот подневольный, подводный мир явлен в нем как в каком-то гигантском аквариуме.

Встречаясь, мы подбадривали друг друга: «Не забывай, где живешь». Это незамысловатое приветствие призвано было хоть как-то смягчить удары тотального хамства, начинавшегося, как в театре по Станиславскому, с вешалки, со входа. Требования к «окружающей среде» были минимальными: не посадили, ну так радуйся. Зато и отторжение среды было полным. Ах, как любили мои сверстники в ответ на очередное начальственное «ты должен» отчеканивать: «Я ничего и никому не должен!»

Наивно? Но постепенно мы сами выстрадали мысль — еще до того, как прочли у Бахтина, мы знали: «Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия...» Мы поняли: храня верность разоренной, утратившей веру предков, былое достоинство и величие, потерявшей само имя свое России, нельзя забывать о сегодняшнем ее дне. Прочувствовали: мы отвечаем за этот день не перед нынешними властями предержащими — перед Родиной.

Это входило в сознание не трескучими фразами казенной риторики — прорастало из сердца, рождалось из любви. Провожая уезжавших друзей, мысленно примеряя их судьбу, Александр Сопровский порывисто признавался:

Я холод от наших привычно стерплю,
Коснусь напоследок его
И крикну: Люблю тебя! Слышишь, люблю,
Справляй же свое торжество.

Заштатная газетка «Советский цирк». Чуть ли не единственная прижизненная его публикация. Он не уехал. Погиб в прошлом году, едва справив тридцатисемилетие.

Требовательность к себе, беспощадность (но не холодное равнодушие!) к «авторским героям» есть и в «Наследстве». Читая его и сейчас, с удовлетворением нахожу трезвые, безжалостные наблюдения. Вот о Мелике, несомненно дорогом для Кормера герое, оказавшемся в компании «ответственных», как их называли газеты, товарищей: «...Они делали все, что он должен был бы не принимать на дух (и всегда говорил себе, что не принимает), но сейчас он ничего не мог с собой поделать. Он обязан был бы возмущаться... Возразить... на их пошлые разглагольствования о сексуальной революции, о нищем Западе, о не зря прожитой жизни, их бездуховность могла бы внушить ему омерзение. Он знал, что ему следовало бы чувствовать все это, и не чувствовал ничего. Зависть к ним, к их здоровой, сытой, практичной жизни одолела его. Ему вдруг захотелось жить так же».

Мелкая капитуляция — ничего не мог с собой поделать. Вполне понятная, ибо речь идет о бездомном. Ее бы и простить, и даже опоэтизировать можно. В конце концов сказал же О. Мандельштам: «Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота, и спичка серная меня б согреть могла». Но Кормер не поэтизирует и не прощает. Не только героя — себя.

Ведь цепь мелких капитуляций, столь знакомых советскому интеллигенту, оборачивается заурядным конформизмом. Вот и О. Седакова, вспоминая о нищем «Лене», который по необходимости вел жизнь странствующего дервиша, заговаривает все о том же: «Существование «второй культуры» приобрело статус разрешенности, во всяком случае, дозволительности — и платить за это свой налог пришлось, как ни клянитесь, что нет, а пришлось. За нищенское собачье существование? Да, но на свободе. С этим уровнем приходится сравнивать, а не с удобными для совести секретарями Союза, как это делает Вас. Аксенов».

Статья Седаковой написана в 1986 году. С тех пор уже целую пятилетку представители литературного истеблишмента, в середине своей благополучной карьеры провояжировавшие на Запад или оставшиеся здесь, но умудрившиеся (в силу доступа к интеллектуальным спецблагам) ухватить выигрышный билет, талон на право именоваться «либералами», — вся эта спесивая, спевшаяся, спившаяся, спаявшаяся компания бесстыдно рекламирует свое «вольномыслие», выгодно оттеняемое на фоне деятельности секретарей писательского и любого другого «творческого» Союза.

Еще выписывая цитату из «Наследства», я хотел предложить: сравните авторское отношение к герою с отношением, скажем, Аксенова к его литературным «протеже» — всем этим «звездным мальчикам» ранних повестей и изрядно постаревшим плейбоям времен «Острова Крым». Но сейчас можно сопоставить нечто большее — писательские установки, представления о долге и чести.

Аксенов предпочитает красоваться на уродливом «секретариатском» фоне. Вдвойне бессовестно — ведь секретари, тот же грозный марксист Ю. Суровцев, ему благоволили, печатали, беспрепятственно выпускали из страны, а теперь, как только представилась возможность, впустили назад в роли триумфатора. В. Кормер казнит своего героя и себя самого: «...Как безобразно он устроил свою жизнь...».

И такому строгому суду подвергает себя не один автор «Наследства». «Они гнусны, но так ли чист я?» — с ужасом думает герой автобиографической повести П. Кожевникова «Личная неосторожность» («Юность», 1990, №№ 5—6). Петр Кожевников моложе Кормера, он мой ровесник. Живет в Ленинграде, активист движения зеленых, неоднократно участвовал в акциях против строительства пресловутой дамбы. Подвергался преследованиям, вплоть до судебных.

Его повесть об организации, созданной для очистки акватории Финского залива в районе Ленинграда. Внизу — «алкаши» и «олимпийцы», бывшие уголовники. Начальник, похохатывая, говорит о них в рифму: «От меня в тюрьму или на тот свет. Другого пути нет!» Наверху — жулики покрупнее рангом и потому не попадающие в поле зрения «органов». Алкаши не выходят на работу, а начальство разворовывает все, что оказывается под рукой.

И с такими людьми сравнивает себя автор, думая: «А чист ли я?» Правда, он тут же спохватывается — в скобках поставлено: «Ловушка». Но это не отказ от взыскательной самооценки — боязнь (и вполне оправданная) подыграть безнравственному руководству организации. Начальство всех рангов любит раскладывать собственную вину на окружающих. Попади повесть в руки какому-нибудь местному боссу, он наверняка с удовольствием потер бы руки: «Конечно, и ты нечист, вот и не суди». И авторская честность в мгновение ока обернется соглашательством. Нет, Кожевников не отказывается от права судить — других и себя самого. Себя — именно за то, что не сумел помешать начальским махинациям.

О руководстве Кожевников говорит с прямолинейностью, свидетельствующей, что боец-эколог одерживает верх над писателем: «Хищники, пожирающие ресурсы Отчизны». С горечью думает о «работягах»: «Враги внутри и вовне. Не сам ли народ — свой собственный враг? Кто заставляет спиваться миллионы людей? Кто заставляет их расправляться с последними здравомыслящими? — Ответа я не знаю!»

Повесть написана подчеркнуто современно, в жесткой динамичной манере. И тем неожиданнее и дороже для меня наивная старомодность ригористических признаний. Тем больше трогает сердце слово «Отчизна», написанное автором «Юности» (!) с большой буквы. Ответственность немыслима без *сродненности* со своими героями, народом, страной. Это тоже выстраданная моим поколением истина.

На грани восьмидесятых (задолго до перестройки, она здесь ни при чем) произошла показательная метаморфоза. Многие захотели «послужить». Послужить Отчизне — именно так, с большой буквы. Причем зачастую на работе незаметной и заведомо трудной. Но это было уже не «дворничество»— подчеркнутое отстранение от мира. Вот и Кожевников несколько лет проработал в приморской организации, пытался быть полезным городу, боролся за его здоровье.

Тогда же и я пошел работать в журнал «Наш современник». Юрий Селезнев призвал меня — послужить. Правда, после этого я потерял почти всех друзей. Но мне нечего стыдиться. «Наш современник» был единственным легально существовавшим *оппозиционным журналом первой половины восьмидесятых годов*. Он, а не «Новый мир», по инерции почитавшийся нашей, приверженной стереотипам интеллигенцией. Власти, удостоившие «Новый мир» высочайшей милости — права печатать воспоминания Л. И. Брежнева, в 1981 году разгромили «Наш современник», лишили работы и, по существу, обрекли на гибель молодого лидера русских патриотов Юрия Селезнева.

Активные импульсы времени раздробили былое единство поколения. Кто-то, уехав, потерял драгоценное чувство сродненности с Россией. Кажется (судя по нескольким публикациям в советской перестроечной прессе), это произошло с едва ли не самым талантливым поэтом поколения Алексеем Цветковым.

А есть и неожиданные, а потому и вдвойне радостные обретения. Прежде всего— Эдуард Лимонов. Я не успел с ним познакомиться, он эмигрировал, но в компании его вспоминали. Немного насмешливо: он, мол, такой же поэт, как портной. Живя в Москве, Лимонов зарабатывал «индивидуальным пошивом». Разумеется, что и поэтом он был неважным. По-провинциальному склонным к авангардизму. В столице предпочтение отдавали строгой форме, неоклассицизму.

И вот — заочное знакомство через полтора десятилетия. Повесть «...У нас была великая эпоха» («Знамя», 1989, № 11). Легкая, пластичная проза. Повесть просквожена — нет, не пресловутым «ветром эпохи» — чудесными домашними сквозняками, несущими запах жилья, свежести, и

со всем этим вместе, в единстве органическом, неразрывном, аромат времени. Она просвечена мощными потоками солнечного света, ярким украинским солнцем, льющимся сквозь широкие прямоугольники окон военного общежития, где прошло детство автора. Озвучена частушками, песнями — вчерашние крестьяне, сегодняшние младшие офицеры напевали их после службы. Прошита узорным орнаментом поговорок, присловий, одни из которых накрепко прикипели к эпохе (я помню, отец повторял их), другие уводят в глубь времени («деревней, Россией и стариной пахли многие отцовские и материнские словечки»).

Лимонов и на Западе не утратил бунтарской закваски! И здесь не оставляет в покое самодовольных нуворишей. Ходит по Парижу в шинели советского солдата. Он чувствует (и с каждым годом сильнее) связь с отцом, «советским офицером Вениамином Савенко, который прожил свою жизнь, любопытствуя, не пенясь, каждый день личным примером доказывая сыну преимущество золотых рук перед дырявыми». Он сознает себя «потомком воронежских крестьян».

В отличие от многих нынешних интеллектуалов Лимонов не стремится «клеймить» послевоенную эпоху, посылать проклятия, запоздавшие по крайней мере на сорок лет. Если обличители настолько принципиальны, ехидничает Лимонов, то почему они не убили Сталина. «Почему во всей нации не нашелся никто, не убрал Грузина, не пожертвовал собой для отечества, не выпустил ему в грудь восемь пуль из маузера?»

Пришедшие из первых рядов полюбоваться на зрелище перестройки не любят таких вопросов.

Примечательное совпадение. В одном номере «Знамени» сошлись две повести. Одну из них написал диссидент, преследовавшийся за «антисоветчину», автор другой (о маршале Жукове) — литературный чиновник высшего ранга, первый секретарь правления СП СССР. В те годы, когда Э. Лимонов вынужден был уехать, В. Карпов печатал воспоминания Брежнева, где, между прочим, один «вождь» с немалой симпатией повествовал о другом, Сталине. Теперь, выполняя новые директивы руководства, В. Карпов рисует образ «отца народов» методом Кукрыниксов — шаржируя, оглупляя до предела. А вот что пишет о Сталине тот, кому нет нужды заметать следы былого прислуживания вождям, кто может позволить себе руководствоваться не указаниями сверху, а собственным мнением: «В любом случае он оказался, ему посчастливилось оказаться вождем народов Союза Советских в самый героический период их истории. Хотим мы этого или не хотим. И он справился с задачей, следует признать, что неплохо. Иногда он достигал высот, сравнимых разве что с бронзовым жестом римских цезарей. Чего стоит, например, его величественно-бесчеловечное и героическое (разрядка моя. — А. К.), отрывистое по поводу предложенного тевтонами обмена пленного сына Якова на фельдмаршала Паулюса: «Я солдат на фельдмаршалов не обмениваю!» Так он им бросил. Я думаю, они его зауважали...»

Вызывающе самостоятельны и другие суждения Лимонова. Об американском президенте Трумэне он отзывается без ставшего привычным священного трепета: «...За Хиросиму и Нагасаки, за уничтожение гражданского населения его следовало бы судить и послать на электрический стул. Если бы существовала справедливость...» События последних месяцев сделали это высказывание мучительно актуальным.

Лимонов стремится к возможной объективности. Без хитроумных «идеологических» умолчаний он повествует о злом и добром, бесчеловечном и героическом.

Но его повесть не только правдива. Она написана мастерски, художественно.

Лимонов сроднен со своими героями. Он живет даже не рядом с ними — в их живом, тоскующем, смеющемся, хлопочущем по всевозможным делам единстве. И дела, и лица, и атмосферу автор выписывает с любовной подробностью.

Ему удается передать запах впервые выпитого парного молока, которое налила ему украинская крестьянка, запах машинного масла на разобранном отцовском револьвере, благоухание привезенной военными елки: «такой елки», какой не было даже на центральной площади Харькова. Автор вовлекает нас в людской водоворот. Общежитская малышня — партнеры по играм во дворе, рядом с «ароматными» штабными лошадьми в стойлах. Офицерские «афродиты», стремившиеся походить не столько на неизвестную им греческую богиню, сколько на Марлен Дитрих с трофейных кинолент. Рядовой Махитарьян (в повести дан не только его портрет и список благодеяний, оказанных им лейтенантскому сыну Эдику, но и сообщено о том, что после службы он удачно женился и нарожал кучу ребятишек). Старшина Шаповал (опять-таки приведена вся его обозримая биография). Местный Ромео и Гамлет в одном лице, романтический герой, то и дело попадающий в смешные положения, лейтенант Агибенин. Десятки лиц, праздничный избыток персонажей.

И все это на фоне послевоенных очередей за хлебом, не разобранных еще развалин, первых пущенных по восстановленным рельсам трамваев, на фоне бесконечных дощатых заборов, прикрывающих разрушения, и новеньких ажурных решеток заново разбитого городского сквера, на фоне снегопадов, осенней слякоти, июльских гроз, на безбрежном фоне загородных просторов, народных гуляний и базаров.

Описание пригородного харьковского базара не только красочно — оно позволяет почувствовать нерв художественной манеры Лимонова: «...Ветер срывал пыль с окрестных глиняных холмов и обдавал ею народные массы. Массы матерились, отирали лица, ругали начальников-дармоедов, не позволяющих народу собираться для насущно необходимых обменов товаром в более живописном, менее пыльном и грязном месте. Повинуясь своим прихотям, толпы вдруг сгущались в неожиданных местах, визжали, придавленные к заборам, мужики понаглее пользовались свалкой, чтобы облапить баб». Смотрите, вроде бы похоже на подобные сцены в «Чонкине». Войнович мог бы так написать. Но сцена не окончена, дальше идет то, чего никогда бы не смог и не захотел написать автор «Чонкина»: «Тот народ был куда проще народа нынешнего, грубее и честнее. Большинство тех людей видели смерть во многих видах. Проверенные на зуб войной, они знали, что они не фальшивка, но люди (разрядка моя. — А. К.)».

Когда два года назад «Юность» напечатала «Чонкина», многие порицали автора за вольность тона, несерьезность, сниженность повествования. И тут же зашумела литературная клака: ну еще бы, классическая ситуация — вольнолюбивый и смешливый автор против надутой официозной критики. Прочитав Лимонова, с досадой сознаешь — неуклюже, неумно полемизировали с Войновичем.

Вольность и даже сниженность стиля при обращении к «великим эпохам» сама по себе не порок. Лимонов предельно раскован, и это не оскорбляет нравственного чувства. Не оскорбляет потому, что писатель с усмешкой повествует о любимых им людях. Лучится смехом и любовью. Он свой среди героев. Достаточно потолкался с ними, помыкался, чтобы заслужить доверие. И не обманет, не обернет свой смех против них. Не случайно повесть заканчивается мемориальной сценой военных похорон, где все и всё — жители военного городка, прохожие, гремящий медью оркестр и сама природа, бухающая разрядами внезапно налетевшей грозы в такт оркестру — прощается с советским солдатом. Создателем? героем? жертвой? — человеком Великой эпохи.

А параллельно в «Юности» печатается очередная книга нескончаемого, как выяснилось, романа-анекдота В. Войновича. Параллельно там же на отечественную словесность наплывает огромного размера водянистый (вопреки названию) «Остров Крым» В. Аксенова (1990, №№ 1—5). Последышки возвращающейся «третьей волны».

Если повесть Лимонова — скромный памятник русскому (ну, пусть «русскому советскому») солдату, то роман Аксенова — воплощение одного из заветнейших устремлений советского истеблишмента. Оно неизменно при всех властителях, во все эпохи — полностью освободить себя от ответственности за происходящее в стране и со страной. Переложить ответственность на других. На кого — догадаться не трудно. На русский народ. Благо он занят повседневной работой и ему недосуг снять со своих плеч еще один навешенный на него хомут.

Конечно, «Крым» — это не только «историософские» искания подлецов. Это еще и сексуальное варево, приготовленное на западный манер. Хотя западного здесь мало. Но именно так представляли закордонные стандарты советские посетители Дома кино, где еще в семидесятые годы шли закрытые, для избранных, просмотры иностранной эротики. «Крым» — это и красочные виды, срисованные с цветных открыток французской Ривьеры. И демонстрация суперменских способностей главного, «авторского», героя Андрея Лучникова.

Однако, несмотря на все виды «оживляжа», «историософская» концепция проводится через роман с настойчивостью соцреалистических «мастеров пера». Она элементарна и доступна пересказу в нескольких словах. Немного фантазии — Крым изолируется от суши, становится островом. Немного политических параллелей — там, как и на китайском Тайване, удается удержаться антикоммунистическим силам, изгнанным с материка. Нещедрая психологическая приправа: герой — Лучников, главный редактор газеты «Русский курьер», глубоко переживает оторванность островитян от основной массы русского народа. Он формулирует и с помощью газеты активно пропагандирует Идею Общей Судьбы.

Понятно, чем этот анекдот кончится. Пока вдохновенный певец Идеи пропагандирует Общую Судьбу, советские десанты высаживаются в Крыму и устанавливают коммунистический режим. Я пишу: понятно, чем кончится, ибо в самом начале романа дан соответствующий посыл: «...Но раз и у нас (в Крыму. — А. К.) существует такая тенденция, значит, быть может, и не в тоталитаризме тут отгадка, а может быть, просто в некоторых чертах национального характера-с? Характерец-то, характеришка-то у нас особенный... Ну, а если все эти гадости из национального характера идут (вот она, авторская расшифровка Общей Судьбы. — А. К.), значит, все оправдано, все правильно, ведь мы же и говном себя называем, а вот англичанин «говном» себя не назовет».

Непонятно, правда, почему эта глобальная характеристика произносится от имени русских, при том что автор посвящает роман «моей матери Евгении Гинзбург». Ну да мало ли сейчас людей, стремящихся выкрикнуть свое «говно» непременно от имени (и по адресу, разумеется) русских.

Как бы то ни было, герой оказался либо слишком туповатым, либо слишком послушным авторскому произволу, если он на протяжении пяти журнальных номеров обдумывал простенький посыл: русские — дерьмо, и всегда у них будет плохо. Автор не задумывался над ним ни минуты.

Во-первых, потому, что он этот народ ненавидит. Даже героя-патриота он пытается англизировать всеми доступными ему средствами. А вот типичный русский смотрится у Аксенова по-иному: «Большой, чрезвычайно нескладный, мерин, выглядевший много старше своих лет, с отвратительной улыбкой, открывающей все десны и желтые вразнобой зубы, с прямым клином вечно грязных волос, страшно крикливый монологист, политический экстремист «ультраправой».

Вспомните аналогичные описания «русских патриотов» у Гроссмана, вспомните недавние пассажи в перестроечных газетных статьях — о великий, могучий соцреализм, уже восьмой десяток лет работающий одним набором малярных кистей и все: черной — белой, черной — белой.

Ненависть — лишь один резон. Второй

не менее важен. Аксенову позарез нужно доказать своим романом, что «все оправдано, все правильно». Эту психологическую потребность насильника гениально подметил Достоевский. Раскольников не просто убивает процентщицу, — ему важно себя уверить, что она и пользы никакой не приносит, да и все равно бы померла — старуха.

Аксенов из сил выбивается доказать, что, как бы ни сложилась судьба России,— рано или поздно воцарился бы в ней кровавый режим, ибо «характеришка-то у нас особенный». Он и прямее, директивнее выразится: «Революция накопилась в генетическом коде русского народа».

Кстати, почему это наши обличители, резко протестующие всякий раз, когда речь заходит о коллективной исторической ответственности какого-либо народа, с пеной у рта настаивают на ответственности русских за все и вся? А ведь даже не связанный с Россией публицист В. Варшавский заметил в нью-йоркском «Новом журнале»: «Разговоры о том, что русский народ ответствен за все преступления большевистского режима, какими бы ссылками эти разговоры ни подкреплялись, — такие же проявления примитивного сознания, как убеждение погромщиков, что все евреи ответственны за распятие Христа» («Новый журнал», 1975, № 118).

Свалив всю вину за революцию на русский народ, В. Аксенов не удержался, всплакнул над трагедией «одаренных людей» — Троцкого, Бухарина, Тухачевского, Блюхера. Да еще подчеркнул с нажимом: «Революция пожирает детей чужих. Троцкий, Бухарин, Блюхер, Тухачевский — это чужие дети». Ну конечно, не русского народа. И тут же с патетикой революционного марша: «Отчаянные гребцы, на мгновение возникающие в потоке».

Ба, да ведь это и впрямь Гроссман. У него из произведения в произведение: талантливые революционеры и варварская Россия. Правда, член правления сталинского союза писателей рекомендовался сторонником революции, а член пенклуба — противником. Что делать — веяния времени выветривают случайные элементы конструкции. Остается основное — костяк.

Похоже, у Аксенова получился совсем не тот результат, на который он рассчитывал. Вместо искомой неизменной тяги русских к кровавой диктатуре демонстрируется неизменная у определенной части художественной элиты ненависть к русскому народу.

Вот мы и подошли к уяснению характерной черты «третьей волны». Вознеслись на гребень прежде всего представители московской литературной элиты — В. Аксенов, В. Войнович, А. Янов, А. Синявский (да, до ареста и он принадлежал к «избранным»). С ними и сросся термин «третья волна». Ее густо окрасили родовые цвета советской номенклатуры, в том числе и художественной — высокомерное сознание собственной избранности и опасливая, жгучая ненависть к оставшимся внизу — к русскому народу. Они принесли с собой безответственность, свойственную нашему начальству. Они изумили мир чудесами хамелеонства — А. Кузнецов, биограф пламенных революционеров, А. Янов из «Молодого коммуниста», перебравшись на Запад, предстали палладинами антикоммунизма. Свежевыкрашенные казенные коридоры оставили на них несмываемую мету — творческую бескрылость. Психологизм, внимание к человеческой душе, к жизненной правде характера — этому не учили в «комбедах», спесиво прикрывшихся после войны именами престижных вузов. Они привычно мажут черным и белым там, где необходимы полутона.

То, что пишут авторы «третьей волны», в сущности, не литература — пропаганда. Сначала советская, потом антисоветская, но всегда и везде пропаганда. Они насилуют героя, превращая его в рупор заданных идей. Какой из супермена Лучникова теоретик Общей Судьбы? Однако автор говорит: надо! В этом смысле герой «Острова Крым» немногим отличается от Павла Нилина и Павла Корчагина. Пожалуй, эти хрестоматийные персонажи более тонко мотивированы психологически.

Тьма знакомых примет открывается внимательному глазу. Вернувшись, как бесстыдно бахвалятся они зарубежным признанием. «Я стал писателем международным», «Я подписался «член-корреспондент Баварской Академии изящных искусств, член-корреспондент международного пенклуба, почетный член американской академии Марка Твена», — из нового (которого по счету?) интервью В. Войновича «Юности» (№ 1, 1990).

С какой привычной жадностью советских нуворишей они бросились теперь делить пирог отечественной славы. Как нетерпимы к тем читателям, кто не записался в число поклонников. «Это негодяи»,— не раздумывая, рубит В. Войнович.

Когда я услышал, как Войнович по радио «Свобода» запел любимую песню советских бюрократов, объясняя стоящим в голодных очередях слушателям: не надо преувеличивать трудности, никто не умирает с голоду, все нормально, — я не удивился.

А вместе с этими вояжирующими громовержцами ехали на Запад и другие люди. Их не встречали торжественными спичами, не интервьюировали крикливые корреспонденты. Писатели эти были никому не известны, потому что не напечатали в Союзе ни строчки. Не подлаживались под вкусы литературного начальства, не сочиняли биографии революционеров, не рифмовали лозунги и не цитировали с видом фрондеров «раннего Маркса», потому что вообще не хотели его цитировать.

Я уже сказал об этих людях вначале. Быть может, чувство солидарности побуждает меня преувеличить литературное значение их творчества. Но, без сомнения, они сберегли свое писательское целомудрие и человеческую честь. И чтобы не смешивали их с иным потоком возвращающейся литературы, повторю, как литературный термин, скорбное и справедливое определение, предложенное О. Седаковой,— «погибшее поколение».



# КРИТИКА



## *Круг чтения*

### К НОВОМУ ДОСТОЕВСКОМУ

Моя заметка продиктована радостью филолога. Чему же может радоваться филолог? Конечно же, филолог радуется слову и букве. Он особенно радуется тогда, когда видит, что смысл и суть дела, — а они всегда отданы слову и букве, закреплены в них, в них находят себя, — проясняются и просветляются, в все оттого, что бережная рука и взволнованный неравнодушный взгляд усердно прошли по словам и буквам писателя, и очистили, и освежили их, и подправили пошатнувшееся, покривившееся от времени. Знаи, как важно, чтобы внимательный и строгий глаз не сходил со строк и страниц великих книг, филолог радуется, когда видит, что все совершается по совести, по справедливости и ровно так, как надо, — так, как надо бы, чтобы было всегда.

Кто-нибудь подумает: ну что там буква, когда речь идет об огромном создании литературы, например о тысячестраничном романе, о «Войне и мире», о «Братьях Карамазовых»! Что может переменить в них запятая, пропущенное слово? Сами авторы и так меняли и правили свой текст, — что же, какая беда в мелких неточностях, в чьей-то незамеченной небрежности? Тот, кто так думает, рассуждает точно так, как обновители нашего правописания семьдесят лет с лишком тому назад. Среди тех, кто готовил реформу русского правописания, были ученые с мировым именем; реформа же состоялась — не по замыслу русских грамматиков и языковедов — в тот исторический момент, когда приказано было отрекаться от старого мира: твердый знак, да буква ять, да фита, да прочие малозначительные тонкости и пали жертвой, превосходно продемонстрировав, как много могут маленькие и «лишние» буквы — все равно что лишние люди и нахлебники русской азбуки. Наблюдая теперь и дивясь тому, как трудно бывает среднему нашему школьнику правильно и складно прочитать нетрудный современный русский текст, уже вовсе не удивляешься тому, что русский же текст с ерами и ятями кимало не дается ему — все равно что китайская грамота. Вот тебе и успехи просвещения, достигнутые путем устранения лишних букв, и можно только вообразить себе, в какую недоступную никому бумажную массу вдруг обратились в 1918 г. книжные запасы страны для людей малограмотных и новообращенных. Запрет буквы ить да ера, сопровождаемый лязганьем оружия (чем и похвалялись, изгоняя упрямых наборщиков или аправляя им мозги), и был самым дельным, эффективным исполнением приказа об отречении. Целая филология выросла на почве культуры для бедных и на обязательности перевода всех русских классиков на чуждое им правописание — все это в такт с вычищением их текстов под стать себе: перемена правописания, его мнимое упрощение, зуд полунезаметно приноровлять классиков к своему разумению — все это способствовало небрежному виду издаваемых у нас текстов; перемены пунктуации — перестановка знаков препинания, так, как легче и как «правильнее», — подчиняла авторов аракчеевской узде мнимого порядка, отвлеченного ранжира. Когда в наши дни ловишь корректоров на том, что и цитаты из Библии — ничто перед ними, если не успел поймать за руку, — что и они подвергнутся исправлению, начинаешь понимать, как мало у нас, в массе, филологическое сознание, насколько отсутствует чувство стиля, чувство веса и достоинства слов.

А откуда же моя радость, и чему можно тут радоваться? А только тому, как, медленно и постепенно, возвращается к нам филологический здравый смысл — медленно, как только и способна двигаться такая «вещь», коренящаяся в сознании глубоко, мало поворотливая, трудно излечимая в случае болезни. Вот этому медленному-верному буквоеду-филологу и радуется. Потому что знает, что изучение малой буквы, когда она поставлена верно и прочно и утверждена на своем месте, очень велико, и тем более велико, если эта буква несет великий и страшный смысл. Тогда она своей точностью вооружилась, христианский воин против бесовства. А бесовство, лукавя с буквой и словом, ослепляет и отупляет их — как тяжелы глухие убийственные слова хулы и осуждения, слова лжи и оглупления, слова человеконенавистничества, слова поклонения идолам и кумирослужения.

Наша филология, долго возвращавшаяся к охаянному Достоевскому, уже достигла немалого. Только что закончен-

ный тридцатитомник Ф. М. Достоевского — итог долгих упорных трудов научного коллектива, которым руководил Г. М. Фридлендер, — достижение, которое нельзя переоценить. Но не поставлена последняя точка, да и нельзя в таком деле сделать все окончательно. И вот знаменательный новый шаг вперед — издание «Бесов», которое было подготовлено петрозаводским исследователем, профессором В. И. Захаровым.

Парадокс истории — вдруг появляется у нас сразу несколько отдельных изданий романа Достоевского, прежде для широкого читателя труднодоступного и отдельно не издававшегося в советское время, и отдельные издания эти совпадают по времени с новым разгулом старой бесовщины! Терпит бесовщина «Бесов», трепеща и веруя, — и в том слабость и сила бесов: мнят себя выше разоблачений, но уже не поднимают руку на несомненность художественного. А раньше — поднимали, и сходило с рук. Вот ведь ясен умысел, когда бесовское впархивает в текст великого писателя, бесчинствуя в нем так: «Но Сатана знает бога; как же может он отрицать его». Это — по старому изданию; да ведь и может же отрицать: текст писателя — о том, что не может сатана, текст филологов — о том, что может, и он может. Умаление Бога перед сатаной — вполне в духе приноровленной и ручной филологии. Теперь В. И. Захаров поправляет все это — просто возвращаясь к авторскому тексту. Вот тебе и наглядная демонстрация всего неизмеримого значения буквы, отдельной всего лишь буквы! Целая мировоззренческая противоположность вмещается в одну лишь букву — понижена она или повышена, строчная или заглавная. И оценим же по заслугам и ту «правильность» орфографии, которая по логике своей устраивала такую выходку посредине текста Достоевского...

Теперь же точный взгляд филолога прошелся по всему тексту романа и утвердил то, что было в нем на деле. Правда, «Бесы», изданные под редакцией В. И. Захарова, — это в целом все еще не научно установленный текст, для чего нужны немалые дополнительные, капитальные усилия, но это текст, который устраняет из романа прямую небрежность и мелкую людскую злобу против его создателя. И петрозаводское издательство «Карелия», насколько то в возможностях непривычного к строгой филологии издательства (да и какое у нас привычно, и какое не лепит от невнимательности опечатку за опечаткой!), пошло навстречу своевременному замыслу В. И. Захарова. Он же сам и поясняет свой подход к тексту и раскрывает перед читателями тонкость, какую писатель вкладывал в написание заглавных букв. Вот и слово «бог» вовсе не всегда идет у Достоевского с заглавной. «Упразднение в двадцатые годы нашего века прописного написания религиозной и церковной лексики имело катастрофические последствия для текстологии русской литературы. Орфографический вопрос, с какой буквы писать слово «бог», приобрел политический смысл. Сейчас, впадая в обычное преувеличение, мы готовы любое значение слова «бог» отмечать с заглавной буквы. Между тем с большой буквы писали это слово только для означения высшего существа, давшего начало и смысл миру. Языческое многобожие и еретическое мудрствование означались с малой буквы». Вот Достоевский и пишет: «о Боже», «ей-Богу», а в иных местах пишет — «бог», и всякий раз с глубоким смыслом. У Достоевского «заглавная буква — «метафизика» текста».

И такой же носитель смысла — пунктуация. Достоевский говорил: «У каждого автора свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика... Мне нет никакого дела до чужих правил! Я ставлю запятую перед что, где она мне нужна; а где я чувствую, что не надо перед что ставить запятую, там я не хочу, чтобы мне ее ставили!» Но ведь и ставят, и в этом петрозаводском издании вынужденно все еще дается неавторская пунктуация. А теперь, как я надеюсь, любой читатель знает уже, что чтение текстов, напечатанных по «правильной» орфографии, только мнимым образом упрощает дело, — текст с авторской орфографией и пунктуацией читать будет и потруднее, но зато читаться-то будет то, что автор написал. Сквозь авторское написание, пусть оно и будет даваться нам с трудом, светит авторский замысел, авторский смысл. Ради него ведь, не ради идеологической непогрешимости своей читаем мы Достоевского, читаем «Бесов». Я не думаю, что «Бесы» — это непременно зеркало или пророчество: проникая безжалостно в возможности человеческого, — значит, в те возможности, которые обнажились в человеческой душе и в человеческом уме, — Достоевский едва ли и мог ошибиться в своих предсказаниях, коль скоро историю повернуло на худо и соблазнила людей воля и безответственность воли. Это у Достоевского анализ художественный, то есть особо бесстрашный в самом своем страхе и схватывающий явление в его цельности, во внутренней логике такой, какую не разложишь по полочкам только умственно, учено. Такой анализ и можно назвать пророческим, но только сделано в мире так, что никто не слушается пророков и нередко побивают их каменьями.

Радуясь изданию В. И. Захарова — он и знаменитую главу «О Тихоне» поместил в двух редакциях, из которых одна не перепечатывалась с 1922 года, — мечтаю дожить с годами до такого издания Достоевского, которое во всем (насколько то в силах человеческих) будет верно духу и букве Достоевского. Мечтаю, но не твердо надеюсь. Между тем быть верным духу и букве и значит быть верным писателю, и значит хранить его, как велит долг. Потому что дух и буква, смысл и буква образуют в великом произведении неразрывный союз, и что отнято у одной, то отнято у другого, что отнято у одного, то отнято у другой.

Пока же всякому, кто захочет прочитать «Бесов» Достоевского или перечитать их, я бы рекомендовал взять в библиотеке именно это петрозаводское издание. Видно: светлый этот город, Петрозаводск, и есть в нем светлые умы.

**А. В. МИХАЙЛОВ.**



---

## ЕСТЬ И ВЕРА, И СВОБОДА

Юрий КУЗНЕЦОВ.
**ПОСЛЕ ВЕЧНОГО БОЯ. Стихи.**
Изд-во «Советский писатель» М., 1989.

Когда крупнейшие центры страны охватила безграничная эйфория по поводу очередных преобразований общества, Юрий Кузнецов, давно уже искушенный в политических играх, проявил интерес к жизни провинции. Ему хотелось понять, как воспринимают новые процессы российские обыватели, коих не единицы — миллионы. Обывателю же показалось: «Жизнь свихнулась, хоть ей не впервой, словно притче, идти по кривой и о цели гадать по туману». Где-то кричали о гласности, а он видел: «Там котел на полнеба рванет, там река не туда повернет, там Иуда народ продает». Только отчего всё это происходило, оставалось непонятно — здесь-то нечет отделывалась как раз самыми скупыми сообщениями.

В эти годы всеобщей, как еще недавно думалось, смелости обыватели «о главном и в мыслях молчат». Обвинить разом во всех бедах Сталина, Хрущева, Брежнева и их приспешников (и то — главным образом мертвых) было намного проще, чем вскрыть истинные причины тех страданий и бедствий, которые довелось испытать нашему народу. Клеймить прошлое оказалось легче, чем заниматься созиданием. Не поэтому ли большинство народа до сих пор молчит?

За спорами о «триумфе и трагедии» Сталина общество просмотрело, как

> Сплошь городская старина
> Влачит чужие имена.
> Искусства нет — одни новации.
> Обезголосел быт отцов.
> Молчите, Тряпкин и Рубцов,
> Поэты русской резервации.

Порой хочется думать, что в этих строках — не более чем поэтическое преувеличение, что не так уж велики действительные размеры переживаемой Россией трагедии. Но когда узнаешь количество взорванных за последние десятилетия храмов, снесенных памятников, уничтоженных сел, когда слышишь о том, как готовятся решения о создании в Подмосковье для иностранцев фермерских хозяйств, а в древнейшем русском городе Новгороде готовится к открытию свободная экономическая зона, понимаешь, что мы действительно подошли к последней роковой черте, за которой нас ожидает лишь одна пропасть.

Может, поэтому в лирике Кузнецова так часто встречаются мотивы всеобщей катастрофы: «В его невидимые крылья смертельный набивался дым...» («Полет»), «Мрак включен. Остерегайся впредь: ты задел невидимую сеть. Тут система, ну а мы стихия...» («Наваждение»), «Заколочено небо досками, на две трети деревня мертва...» («В деревне»).

Чем же вызваны эти мотивы? Думается, сказалось многолетнее воспитание народа на ложных идеалах. Шутка ли: целые десятилетия у нас сознательно разрушали то с помощью коллективизации, то через массовое укрупнение сел отцовский очаг, поощряли национальный нигилизм и беспамятство, сталкивали сына с отцом, брата натравливали против брата. В стихотворениях «Ложные святыни», «Триптих», «Захоронение в Кремлевской стене», «Занесли на Бога серп и молот», «Не дом — машина для жилья» Кузнецов размышляет о том, к чему привела утрата веры и подмена таких важных понятий, как долг, честь, патриотизм: люди стали «стирать черты из памяти народной и кланяться безликой пустоте».

А произошло это потому, что у народа была отнята настоящая история. Практически все семьдесят лет ему насаждали психологию гражданской войны. Общество было поделено, условно говоря, на белых и красных. Как теперь народ пытаются развести на сторонников и противников перестройки. Естественно, Кузнецов не может принять эти деления. Он давно уже призывает и белых, и красных всех поколений к национальному примирению. Ему хочется, чтобы поскорей наступило то долгожданное время, когда, пройдя по улице Буденного и выйдя на площадь Махно, можно будет встретить и такую картину:

> Все узнаются, улыбаются,
> И воздух свеж, как после гроз.
> Как прежде, братья обнимаются
> И не стыдятся новых слез.

Пора уже затянуться сквозным ранам гражданской войны: народ должен слиться с народом.

Кузнецов не случайно стремится к постижению государственного мышления, идеи державности. Ему чужд дух сепаратизма. В идее государственности он видит силу нашего народа, возможность подлинного возрождения национальных традиций и культуры. Поэт убежден, что у России свой путь развития. Она не должна повторять ни Запад, ни Восток. А иначе, если слепо копировать Европу, держава быстро рухнет. Тогда уж точно, как иронично заметил Кузнецов, все услышат: «стук молотка раздается — это Петр забивает окно».

В свое время поэт, задавшись целью вылепить образ Генерального штаба, сумел выделить самую главную черту в современном военном мышлении (это мышление он, кстати, считает неотъемлемой частью государственной идеи) — прогнозирование. В книге «После вечного боя» Кузнецов убеждает, что не менее важно для постижения государственного мышления знание истории и мифологии.

Россия не раз стояла на краю гибели. По всем законам исторического развития она давно должна была исчезнуть с лица земли. Но всякий раз ее спасало Чудо. «Что нам смерть! На кабы и авось столько раз воскресало славянство», — замечает поэт. Не случайно в одном из стихотворений («Друг от друга все реже стоим...») он упоминает о Голубиной книге. В прошлом эта книга была чрезвычайно популярна на Руси. Созданная под влиянием библейских текстов и апокрифов, она рассказывала о воззрениях древних людей и во многом рассматривала мир как вечный бой Бога с дьяволом.

Кузнецову порой кажется, что этот бой Бога с дьяволом в чем-то определил и развитие России. Об этом он размышляет, к примеру, в стихотворении «Портрет учителя». Герой поэта считает, что

Три битвы, три войны идут от века.
Одна идет, сокрыта тишиной,
Между свободной волей человека
И первородно-личною виной.
Вторая битва
　　　　　меж добром и злом,
Она шумит по всем земным дорогам.
А третья —
　　　　　между дьяволом и Богом.
Она гремит на небе голубом.

Но если две первые войны, как считает герой Кузнецова, возможно одолеть, то «о третьей битве говорить не смею», ибо она, во многом еще непознанная, — самая страшная и разрушительная.

Как ее остановить, чем ее победить? В поисках ответа поэт тянется к контактам. Он не признает древнего изречения «Познай самого себя». Эта формула кажется Кузнецову «ловушкой человеческого «я». Она требует прежде всего погружения в собственную личность. Поэтому же хочется понять, что творится в других мирах. Он неустанно ищет выход из себя к другому человеку, к другим культурам, к другим цивилизациям. Может быть, именно поэтому многие его стихи построены на диалогах. И, видимо, именно здесь кроется одна из главных причин его обращения к творчеству Байрона, Китса, Рембо, Мицкевича, других деятелей мировой культуры.

В поисках других миров поэт преодолевает множество коллизий, столкновений. Он в очередной раз демонстрирует удаль, размах своей поэтической натуры.

Вообще ощущение пространства, вольности, шири — одна из главных черт творчества Юрия Кузнецова. Это видно уже по названиям большей части его книг: «Во мне и рядом — даль», «Край света — за первым углом», «Выходя на дорогу, душа оглянулась», «Отпущу свою душу на волю», «Душа верна неведомым пределам». В свое время Кузнецов, размышляя о родине, с болью писал:

Прошу у отчизны не хлеба,
А воли и ясного неба.
Идти мне желанным путем
И знать, что случится потом.

Он доказывал, что категория пространства является неотъемлемой чертой русского характера.

В сборнике «После вечного боя» поэт продолжает это осмысление. Он размышляет о совести и чести — тех важнейших понятиях, на которых всегда держался жизненный уклад нашего народа, призывая людей услышать благую весть с небес, иначе общество придет к окончательному помрачению.

И коль речь зашла о названиях книг, то замечу, что обычно у Кузнецова все заголовки выражают важные формулы человеческого бытия. Вспомним его сборник «Ни рано ни поздно». В этом названии четко выражена объективная необходимость своевременного прихода на историческую арену человека действия. Если рано придет герой — народ его не услышит и не пойдет за ним; поздно — ему уже не исполнить до конца своей миссии. Сергий Радонежский (а именно ему посвящено одно из самых важных стихотворений этого сборника) появился именно в такой момент — ни рано ни поздно, сыграв выдающуюся роль в становлении русской государственности. Такой герой необходим и в наше смутное время — человек решительных поступков, обладающий высокой силой духа.

А в названии нового сборника — призыв задуматься о том, что ждет человечество после вечного боя. Если «битва идей в ураган превращает людей», то для мира необходимо милосердие. Вот к чему надо стремиться.

Сегодня всю нашу дальнейшую жизнь пытаются подчинить законам наживы. Купле-продаже хотят подчинить свободу, человеческую душу, совесть. Катастрофа кажется неизбежной. И все-таки у Кузнецова есть ощущение перспективы. Его герой пока еще пытается изо всех сил сопротивляться натиску бездуховности, чем вызывает искреннее умиление старушки, воспитанной на старых традициях:

Так, значит, есть и вера, и свобода
Раз молится святая простота
О возвращенье блудного народа
В объятия распятого Христа.

Поэту хочется поддержать искры этой веры. Кто знает, возможно, и впрямь удастся возродить величие России и русского народа.

Одно время Юрия Кузнецова упрекали за то, что он постоянно подчеркивает свое одиночество, ставя ему в вину строки: «Я в поколенье друга не нашел...» и «Одинокий в столетье родном...». Но это действительно так. В поэтическом мире Кузнецов ни на кого не похож. В литературе вообще не может быть поколений — только одиночки, которые творят искусство. Юрий Кузнецов представляется именно такой фигурой.

Вячеслав ОГРЫЗКО.



# ГОРЬКИЙ ДАР

Светлана КУЗНЕЦОВА.
**ВТОРОЕ ГАДАНИЕ СВЕТЛАНЫ.** Стихи.
Изд-во «Советский писатель», М., 1989.

С чем сравню эту книгу, обложка которой, словно черный мрамор с высеченными буквами... Вглядевшись, прочитаем имя: Светлана Кузнецова. Сама она сказала об этой книге слова скорбные и светлые: «свое поминанье пишу...» И мне не найти более точного определения.

Не только имена родные — матери, тень которой «скользит вон там вдали, над темными лесами, переплетясь с травой земли своими волосами», брата, отца, погибшего по «воле рока»,— но душа разоренной земли, порубленного бора, разграбленного собора, погубленного слова поминается здесь со слезами на глазах:

Как метишь ты, Господь, рабов своих!
Но ты не избирал. Избрал другой.
И смолкнул чей-то неугодный стих,
как колокольчик под дугой.

И даже имя каждого цветка, умершего на затопленной ли рукотворным потопом земле, на изувеченной ли деревенской поляне, удостаивается отдельного поминального листка. Купавы — янтарные кусочки света, тысячелистник, словно «зарею обрызганный саван», ромашки — «разорванные письма ниоткуда», одуванчик — «невесомый пушистый комочек, похожий на зверька», — незабвенные милые цветы русского венка! Но особенно горестно произносится древнее, как заговор, горчащее имя кладбищенского цветка «марьины коренья». В одноименном стихотворении необычайно поражают такие строки:

Ушло под воду кладбище отцово,
освободив для духа рубежи.

Этот библейский образ страшен тем, что в нем заключена только мощь опустошения. Не дух созидания носится над водой, но «бедный, слабый дух, дитя неверья...»:

Но бедный, слабый дух, дитя неверья,
восстал, пригубив вечности глоток:
ушли под воду марьины коренья,
наш родовой кладбищенский цветок

И потому, как яркие заплаты
на рубище обещанных чудес,
пурпурно-розоватые закаты
цветут сегодня над Иркутской ГЭС.

Стих Светланы Кузнецовой чаще всего «в белой схиме зимы», стих, в котором «белое свеченье покрова», «снеговая завеса», «поздневечерняя заря», «предпоследний свет» — не выносит яркого света, густых красок, но еще более чужд ему беспросветный мрак и угрюмость. Сказочность образов, напевность звуков спасает его. Вот прелестные строки, в которых печаль смягчена напевностью, они поются как духовный стих:

Собирала Богородица
богородскую траву,
горевала, что не родится
никого уже в хлеву.

Ни пресветлого ребеночка,
ни домашнего скота.
Затянула хлев, как пленочка,
мировая пустота...

В книге этой слышится мне и рыданье и пенье. Кажется, она заставит растрогаться и самое черствое сердце. Тема гибели то «сквозящим железным огнем», то траурным цветком вплетается почти в каждое стихотворение. Видится поэту пепелище России, увенчанное иван-чаем, а дальше...

А дальше все дали закрыты,
все мимо на милой Руси,
и рядом все те, кто зарыты,
и милости ты не проси.

А над головою белесой,
над миром твоим молодым,
над будущим — синей завесой
Отечества сирого дым.

Предчувствуя свою собственную смерть, поэт разрывает последние земные оковы — страха и злой печали. Все прежние видения ее — подступающей, неотвратимой, когда мир хрустит под ногами, как зеркальные осколки, пространство суживается до нуля и до горошины сжимается земля, а «могучее теченье вдалеке» уже кажется тонкой голубой жилкой, — все эти видения отодвигаются, и остается одно:

Но средь тумана
　　　　　нежданная дверь отворилась,
дверь, за которой иные миры просияли.
Там утолила душа моя злые печали.

Незаметно прожил и ушел от нас еще один поэт современности. О достоинстве и красоте говорят знавшие Светлану Кузнецову. О горьком даре п о м н и т ь скажут узнавшие ее стихи.

Наблюдая публицистический бум последних лет, мы любим нынче повторять строки из Тютчева: «Теперь тебе не до стихов, о слово русское, родное!» Но знаю я, что в России не перевелись еще читатели и ценители настоящей поэзии. Несомненно, книга Светланы Кузнецовой займет прочное место и в их сердцах, и на их книжных полках, если, конечно, они смогут ее купить.

Нина ОРЛОВА.

*Из нашей почты*

## НАШ БРАТ — ЭКВАТОР?

**Республика, откуда пришло письмо, находится в экваториальной зоне Африки. Рядом — Того, Кот-Дивуар, Бенин, Нигерия. Об их проблемах, весьма схожих теперь с нашими, и письмо Валентины Хаидеевой, откликнувшейся на статьи «Рынок: панацея или ловушка!»**

Временно живу вдали от отечества, но думой и помыслами — со своей страной, со своим народом. Верю, что только прозрение и единство уберегут Россию от бездны, к которой нас подвигают, только совместный отпор очнувшихся от губительного космополитического гипноза позволит нам устоять перед бешеным натиском опаснейшего мыслящего вируса — вируса безнационального Момона, разъедающего идею социализма, а заодно и монолит правды о тысячелетней истории Великой Руси. Намерения очевидны — разрушить любые национальные структуры и превратить в конце концов «земшар» в гигантскую трудовую казарму, где обезмозжевший белок покорно последует любому приказу за возможность насытиться и воспроизвести себе подобного. Это и будет то «идеальное» рабство, в которое пытаются сегодня втянуть народы.

Из моего теперешнего далека — с африканского экватора — удушающая петля их экономического Лаокоона особенно различима.

Об Африке, почти повсеместно взятой в клещи так называемым Мировым банком развития, сейчас принято говорить только ободрительно — дескать, прогресс, несомый Западом, ничего, кроме положительного, дать не может. Казалось — радоваться бы, да только то, что вижу собственными глазами, не дает оснований для этого.

Золото и серебро, черное и красное дерево, алюминий и тимбер (добротный строительный лес), малахит и слоновая кость, какао и кофе — все утекает за рубеж, практически в необработанном виде, чтобы, не дай бог, чернокожей голытьбе не досталось хотя бы второсортных отходов! А взамен желтого, красного, черного и зеленого золота экватор получает упакованные в нарядную мишуру колониальные товары — главным образом не пользующиеся спросом Запада продукты питания, предметы обихода и припоздинившуюся по срокам моды одежду.

Убийственна разница между экваторианскими столицами, центр которых напоминает не то миниатюрный Марсель, не то игрушечный Рио-де-Жанейро, и селениями, начинающимися буквально за кольцевой дорогой. Убожество последних не поддается описанию. Несколько тряпок, котел для варки пищи и вязанка хвороста составляют здесь зачастую все богатство многодетной семьи. Суточный рацион питания — исключительно растительный. Грязь, болезни и голод ежегодно уносят десятки тысяч людей.

Западный прогресс в эти селения наведаться не спешит, потому что взять ему здесь нечего. Столицы — другое дело. Там правительства, которые можно уговорить либо припугнуть, а то и поменять на более лояльные. Там министерства, продажные чиновники которых за ничтожную взятку оформят и подпишут любой договор. Там, наконец, свободные предприниматели, а попросту — дельцы, готовые сглотнуть и выгодно перепродать неискушенному народу любой товар.

Конечно, нельзя, справедливости ради, не упомянуть о фирмах «Картерпиллер», «Ниссан» и прочих поставщиках разной автомобильной и бытовой техники, но это опять же предметы экспорта, доступные лишь горстке чернокожей буржуазии, готовой для личного процветания пустить с молотка все — до последнего кокоса. Основной же народ может довольствоваться лишь очень ограниченной квотой в смешанных компаниях по разработке местных ресурсов либо чахоточной работой на американских и английских заводах по выплавке металлов или перегонке нефти. Заводы эти почти не знают забастовок. Работающие на них чернокожие не имеют времени бороться за свои права. Да и смелости тоже, потому что каждому из них надо кормить семью.

Можно, конечно, простому смертному экваторианцу устроиться еще на слюдяной или химический комбинат, выдувающий из трубных ноздрей разноцветные дымы. Можно! Зарплата — примерно та же, не превышающая в месяц, за редким исключением, ста долларов в местных дензнаках. И болезни те же: гнилые легкие, аллергия, рак — добавка к родным и привычным уже малярии, амебе, лягунному червю, полиомиелиту.

Правда, вонь на химгигантах гораздо сильней и непереносимей, чем на прочих, но что поделаешь — куда еще пойдешь? Только в змеиные буши от зари до зари тяпать мотыгой, причем каждый раз на новом месте: плодородия земли хватает только на один урожай, а современное земледелие бедняку не по карману. Если же не остается сил — иди просить милостыню.

Нищих в Африке, пожалуй, больше, чем здоровых. Счастливчиком считается тот, кого сильней обезобразила природа: чаще жалеют, щедрее подают. Особый расчет, конечно же, на белых. Не зря здесь молодые матери, пусть даже и не нищие, на всякий случай учат ребенка еще сызмальства низко клаияться, хлопая тылом одной ладошки о фронт другой. Не зря в числе первых осмысленных слов малыша есть и фраза: «Ай бег ю, гив ми!» — «Умоляю, подайте!»

Не к такому ли будущему зовут и активно готовят нас доморощенные совбуры, подпитываемые московским филиалом Момона?

Признаемся — уже сейчас в алчности элитарных кругов мы не слишком розниmся. Напялившие на себя окаменелые доспехи чинуш или кособокие маски кооператоров, наши скороспелые буржуи ничуть не лучше здешних, африканских «буров». Так же раскатывают на иномарках, присланных благодетельными хозяевами из-за бугра, так же обжираются ворованными у народа продуктами, так же нагло жульничают и спекулируют, растлевая и понуждая оголодавшую духом молодежь на грабежи и насилия.

Сравниваю и не примечаю особой разницы между пресловутым нашим Рижским и всяческими местными «Маркетами». И там и здесь — самостроки, демонстрирующие неуемную жажду к заморскому и к наживе. И там, и здесь — немыслимо изобретательные махинации с содержимым продуктовых пакетов, коробок, склянок. И так же, как у нас, в банке из-под икры принесешь домой бог весть что, как и тут, купишь оливковое масло, пахнущее солидолом, или в тюбике крема «кокоа-баттер» обнаружишь залежалый вазелин.

Что же касается респектабельных магазинов, то и они — даже они! — мало чем отличаются от наших. Разве что дефицит не складах не припрятан, а так... То же подобострастие продавцов к власть имущим и обладателям тугих кошельков, то же презрение к покупателю, вынужденному беречь копейку. И те же, отнюдь не гнушающие заморским своеобразием, аферы и спекуляции.

Примеры можно бы продолжить, но нет смысла. Имя подобному — собственная экономическая беспомощность. И валютный индикатор четко фиксирует это: за один доллар здесь платят примерно триста пятьдесят местных дензнаков. А всего два-три года назад этот дензнак котировался по отношению к доллару даже несколько выше, чем наш теперешний расхожий рубль. Не правда ли, ввергаясь в свободную рыночную экономику, мы быстро двигаемся к тому же?

Экваториальные толстосумы, многие научные и политические умы предпочитают жить и работать в Европе либо в Америке. Или, не худой конец, часто курсировать туда и обратно в деловых поездках. (Как, впрочем, и наши, советские: одни «межрегионалы», совершающие турне за турне, чего стоят!) Пустуют здесь громадные, шикарно обставленные виллы, годами дожидаясь хозяина, если, конечно, тот пожелает взглянуть на нищую родину. Родину, в основной массе своей до сих пор выгребающую пальцами из зеленого листа скудный обед «кинки» — по вкусу нечто вроде застывшей мамалыги с картофельным пюре — стоимостью в пятнадцать американских центов. Родину, на пороге двадцать первого века все еще использующую по любой нужде вместо отсутствующих общественных туалетов городские придорожные канавки или почти сплошь загаженный берег лазурного океана.

Нет, не принесли западные инвестиции ни облегчения, ни, тем более, счастья простому африканскому люду. Не просачивается к нему, в его социальные низы, ни единая капля золотого дождя цивилизации. Все оседает в верхних слоях. (Думаю, не стоит и нашему народу обольщаться многочисленными иностранными займами, которые посыпались вдруг словно из рога изобилия. Несановитому россиянину они все равно не достанутся.)

Даже милосердие — святое понятие!— здесь профанируется белыми посланцами. Лично знаю представителя международного Красного Креста, присланного сюда с благородной миссией профилактики СПИДа и беременностей у несовершеннолетних. Человек этот, брошенный в свое время женой, тут, в благодатном африканском климате вкусивший, наконец, материально беззаботной жизни, по его собственному признанию, потерял уже счет своим темнокожим послушницам.

Вообще эти глубоко раскрепощенные ребята — англичане, ирландцы, французы — отнюдь не чуждаются возможности иметь чернокожую любовницу. Они даже таскают ее везде за собой как законную «половину». Но оформить официальный брак и увезти ее с собой на родину — подобная мысль, высказанная вами, повергает их в состояние удушья, вызванного то ли смехом, то ли шоком. В подавляющем большинстве случаев связь завершается передачей любовницы другу или преемнику по работе.

Безнравственность по отношению к африканцам в реальной жизни соседствует здесь с эфемерной и притворно-трогательной заботой об их человеческом достоинстве на страницах прессы. Передо мной небольшая заметка, напечатанная в августовском номере журнала «Западная Африка» под заголовком «Русское хамство» и подписанная неким Джерри А. Фримпонгом, жителем американского города Нью-Йорка. Привожу ее полностью:

«Как бывший студент, обучавшийся в коммунистической Румынии, я по опыту пребывания там и поездок по Восточной Европе могу сказать, что 90 процентов их населения питают расистские убеждения по отношению к чернокожим. Но только 10 процентов расистов можно отнести к лицам, которые не имеют достоверной информации о «черных». Большинство из белых верят, что негры живут на деревьях, несмотря на тот факт, что белые туристы, главы государств, политики, сотрудники посольств прибывают на африканский континент ежедневно.

Тот факт, что только 16 процентов русских верят, что «черные» — тоже человеческие существа, доказывает, что их расизм является врожденным, а не следствием невежества или отсутствия информации».

Что, знакомая песенка? «Русские — расисты, русские — фашисты», — вот что старается внушить африканцам озабоченный их человеческим достоинством американский фермер-студент.

Возможно, что мистер Фримпонг действительно обеспокоен расовыми проблемами, возможно, что и сам он чернокожий, — для Америки это не диво. Удивительно другое — махровое невежество автора заметки. Был ли он студентом вообще, если даже не знает (вспомним заголовок заметки!), что Румыния — это не Россия, что Восточная Европа — это далеко не вся Россия...

Совершенно очевидно, что проценты, упоминаемые в статье, — грязная «липа», что свои, с позволения сказать, «знания» и «факты» автор почерпнул не из серьезных источников, не из наблюдений за жизнью нашей Родины, где, скорее всего, вообще не бывал, а из пошлых пивнушечных анекдотов. Впрочем, суть дела не только и не столько в бывшем студенте. Кому-то ведь было выгодно напечатать эту заметку. Кто они, старательно взращивающие ростки русофобии на далеком и вроде бы не связанном с нами экваторе? Вроде бы... Но, думается, если отвлечься от исполнителей и поразмыслить о режиссерах, то нетрудно проследить, что журнал «Западная Африка» издается в Лондоне людьми, в основном находящимися в оппозиции к официальным африканским режимам. То есть попросту говоря беглой «диссидой». И идеи свои они черпают у тех, кто их подкармливает. А подкармливают их все те же рыцари безнационального Момона, политика которого во всем мире одна: разделяй и властвуй. И, конечно, обогащайся.

Африка, как известно, уже давно разделена на прорву всяких стран, республик и республичек. Глотать ее по кускам легко и удобно. Правда, национальные движения порой становятся костью в горле, но тут как раз и помогает сеющая хаос и панику «диссида». Сейчас Момон намерен проделать ту же процедуру деления и с Советским государством, точно так же подключая нашу левую «диссиду». А чтобы мы в понимании своих национальных проблем не «стакнулись» с Африкой, нас хотят натравить друг на друга; увлеченные взаимной схваткой, мы вряд ли сумеем разглядеть, кто и сколько воровски тянет из наших все более пустеющих карманов.

Экваторианские школы задыхаются без знающих учителей, госпиталя — без квалифицированных врачей. И школ, и госпиталей катастрофически не хватает. Отечественная научно-техническая мысль сознательно глушится заботливыми кураторами и консультантами инвестирующих стран, чтобы ни на йоту не утратилось здесь иностранное влияние.

Существует, например, ирландская фирма, в течение вот уже восемнадцати лет консультирующая местных специалистов, как эксплуатировать гидроэлектростанцию. За два десятилетия не научить группу людей пользоваться ординарным гидросооружением — это надо умудриться! Медведя и то... «А мы и не скрываем своих интересов в электробизнесе здешнего региона,— с обезоруживающей искренностью пояснил мне один из инженеров-консультантов. — Чем дольше мы не научим их, тем больше денег перетечет в наш карман!»

Не то ли будет и с нами, если подобные фирмы разгуляются по нашей стране — только впусти! И уже впускаем. Уже позволяем нашей элите опиваться импортными сливками прогресса, а себя — уподобить безнадежным в дрессировке медведям и дворнягам, Топтыгиным и Шарикам.

Кстати, по поводу Шариков, Шариковых...

Когда здесь, на экваторе, круглый год ровно в шесть вечера словно подрубленная, валится на землю непроглядная ночь, — моя душа подвергается особой, неведомой прежде пытке. Поначалу глухо, а ближе к полночи, все больше расходясь, заводят жуткий концерт глотки тоскующих собак. Начинают, как правило, бродячие. Завезли их сюда бог весть откуда, как шутят африканцы — «космополитэн кайнд», а образовались они, по всеобщему утверждению, от скрещивания с шакалами. Оказывается, они вообще не умеют лаять, только воют. И удивительное дело: когда бы ни вышел человек разгонять зловещих хористов, обязательно бродячие подстрекатели успевают улизнуть первыми, оставив для расправы тех немногих, в ком не точится их подлая кровь.

Так вот, внимая этой ночной пытке, этой психической заразе, этому голосу распада, я почему-то ловлю себя на чувстве крепнущей любви к русскому псу, на чувстве благодарности природе, начавшей когда-то его — угрюмого лохматого, могучего и редко, но по делу, взлаивающего, — от родства с волком, а не с шакалом!

И хватит иносказаний. Нетрудно понять, что для того и нудит в наши уши денно и нощно этот надрывный шакалий вой о «тысячелетней рабе» России, чтобы подготовить нас, как послушных иноков, к постригу нищенства, к едва ли не добровольному возложению на себя ярма третьесортной колонии. Чтобы так же, как в Африке, уселись вдоль дорог те из нас, кто уцелеет, и, глядя, как проносятся мимо в слепящих лаком лимузинах заморские хозяева и их местные надсмотрщики, сиречь наша элита, униженно хлопали бы ладошкой о ладошку, заведенно повторяя: «Ай бег ю, гив ми!»

Мчатся по дорогам знойного и беззащитного экватора иностранные траки, несутся в режущем синевой небе залетные авиалайнеры, вспарывают носом строптивую океанскую волну чужедальные пароходы, во всех своих кузовах, грузовых отсеках и трюмах вывозя чуть ли не дармовые унции, тонны и кубометры.

Неужели допустим, чтобы и нашу русскую землю обирали, а вернее,— обворовывали так же бесстыдно и жадно, отдариваясь стеклянными бусами или до хруста высушенными картофельными стружками? Неужели и по нашим учреждениям, институтам и заводам будут так же вольготно шнырять замаскированные цэрэушники и прочие юркие мокрицы, прикрываясь благими вывесками глобальных фондов помощи, а на деле вынюхивая все, что еще осталось неведомым его мультимиллионерскому величеству Момону, что еще не зациклилось на его бездонный карман?

---

## ВСЕМ РУССКИМ МАТЕРЯМ

Дорогая Мама, золотая моя Надежда свет Васильевна!

Сколько раз люди говорят — вот жаль, думал и не сказал. Действительно, сколько раз я думал о Тебе, сколько раз Тебя вспоминал, сколько раз переживал теплую ласку и любовь и сколько раз думал, надо об этом написать.

Тебе, дорогая Мать, я обязан жизнью, в Твоих милых глазах светится вечный свет любви, и Ты вся для меня являешься отражением Русского Христианства, живой молитвой о нас всех, русских сыновьях, дочерях и родных.

С самых малых лет я вижу Твою родную фигуру, нежно сгибающуюся надо мной, сквозь тысячи миль расстояния слышу Твой голос, всегда заботливый, нежный, чувствую силу Твоей молитвы.

Ты кончаешь свои письма... «да хранит Вас Господь и Пресвятая Богородица», и я знаю, что сила Твоей молитвы сохраняет нас в нашем нелегком эмигрантском житии. Как все русские матери, Ты знаешь силу этой молитвы, Ты знаешь, как молиться, как просить и получать от Бога Всевышнего милость детям своим. И есть в Твоих письмах что-то, чего нет ни у кого другого, есть в них вечное упование на Бога и Его Святую Мать.

Сколько было бурь в нашей русской земле, сколько было горя, потрясений и несчастий, но и сколько было радости, веселья, побед и триумфов. Во все моменты нашей истории Ты покорно несла свое материнское бремя, исполняла свой высший христианский долг, растила крестьян, тружеников, рабочих, солдат, офицеров, научных работников, гениев, поколения строивших великую нацию.

За станками заводов, за сохой, в окопах войны, на сценах театров и опер, в стихах и слове вспоминают русские люди свою Мать, и где бы они ни были — шлют Ей свои самые теплые чувства:

..Ты жива еще, моя старушка,  
Жив и я. привет Тебе, привет,  
Пусть струится над Твоей лачужкой  
тот небесный, несказанный свет...

В этом небесном, несказанном свете весь залог нашей русской Правды, нашей силы и Веры, с нею мы живем и с нею мы переживем лихолетья. С нею, с русской правдой, переданной нам от Матерей, мы вынесем наше русское, горькое бремя, сохраним ее и передадим нашим детям. И наши жены, следуя примеру наших русских Матерей, понесут с собой тот же дух материнства и передадут нашим детям.

Проходили столетия, родились и умирали поколения, но Ты, Мама, была всегда такой же спокойной, верующей и русской. Да и впрямь, как же могло быть иначе. В Тебе Россия, Москва, с Твоим мужем, донским офицером, Ты и есть то, что в России переживет всех и вся и выйдет сияя чистым светом русской Правды. Уходили воины на войну, уходили белые на Дон, уходили красные на белых. Ты всех их провожала крестом, всех едино любила, о всех молилась, о всех лила горькие слезы, на всех призывала Покров Пресвятыя Богородицы.

В Твоем сердце, полном любви и прощения, и в Твоих руках, благословляющих Твоих детей, Ты несла крест материнства и дух живой России.

Этот дух Ты передала нам, с юных лет. Ты нам помогала с Медным Всадником, с Тарасом Бульбой, с Александром Невским, с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, Кутузовым, Нахимовым и всеми, кто когда-то были Твоими детьми, детьми русской Матери. Это Ты примером великопостной молитвы, поста горела в сердцах наших ярко зажженной свечой православия, патриотизма, русскости и веры в Россию.

И до сих пор горит в глазах Твоих чистый свет Православия, в Твоей мягкой московской речи журчит красота великого русского языка, и во всей Твоей жизненной философии я вижу отражение Твоих слов, подкрепляемых примером и делом.

Как трудно выразить простыми словами все чувства, которые человек переживает, думая о Матери, ибо это одно слово совокупляет в себе самые красивые начала и идеалы человечества. Душа Матери бессмертна, она, как свет во тьме, сияет указателем пути, и она является всем своим детям во все времена их жизни. И есть в словах Матери сила неземная, возвышенная, сила, не знающая ни преград, ни времени.

.. есть сила благодатная  
в созвучье слов живых,  
и дышит благодатная,  
святая сила в них...

В этих словах радость жизни, калейдоскоп радуги, самая возвышенная гамма чувств и самая скромная радость Матери. Это Она создала в душе детей своих образ Святой Руси, посеяла любовь ко всему своему родному, ко всему высшему, благородному и правдивому. И от первой улыбки младенца до сердечной, осмысленной благодарности взрослого человека, до болезненного воспоминания дорогого прошлого проходит золотая нить душевной связи между Матерью и Ее чадами.

Ты, Мама дорогая, пошла с Твоим мужем, белым русским офицером, тернистым путем изгнания, Ты воспитывала Твоих сыновей, Ты обучала их русскому языку, нашим обычаям и нравам, Ты водила нас в церковь, Ты учила любить все свое, гордиться русским, уважать других и чужое, это Ты заложила в груди сыновей горячий ком, который всегда подходит к горлу и давит в груди при мысли о моей и Твоей родине.

И это Ты, Мама, привила нам верность России, ее народу и вере православной. Твоими простыми словами, Твоей теплой лаской Ты посеяла в душе детей Твоих любовь к просторам земли Твоей, к белым березам, развесистым липам и каштанам, к соломенным вехам крестьянских изб и к золотистым куполам русских храмов. Твоими глазами мы увидали Ивана Царевича, Трех Богатырей, Град Китеж и белокаменную Москву. И на Тебе, русская Мать, сошлись все наши лучшие чувства верности, гостеприимства, патриотизма, гордости и христианства.

И не волнуйся, Мама, если мы хромаем на нашем жизненном пути. Твои дети, как все люди, со слабостями. Но заложенные Тобою силы в наши русские сердца никогда не оскудеют и в самые трудные моменты нашей жизни и нашей истории пронесут и вынесут нас из всех наших падений.

В заключение хочу Тебе сказать — эти чудные буквы РОССИЯ, которые Ты так любовно сеяла в сердцах детей Твоих с самых ранних лет нашей истории и самых ранних лет нашей жизни, всегда будут гореть неугасимым огнем Правды Русской, как вечные свидетели Твоего великого, бесценного вклада, на который способна только Мать.

**Г. М. МОИСЕЕВ.**

---

## ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ...

Печальная картина непрерывного растранжиривания национальных богатств Российского государства на протяжении всего послереволюционного периода его истории невольно заставляет вспомнить поговорку: «что имеем — не храним, потерявши — плачем». В последние годы некоторые публикации рассказали о том, как в 20-е — 30-е годы вывозились за границу уникальные произведения искусства из музеев и коллекций, как продавались награбленные у Церкви православные святыни. Малая осведомленность общественности о хранящихся в стране сокровищах позволяла власть имущим в угоду своим интересам совершать за спиной народа махинации, в результате которых уплывали за рубеж величайшие ценности. Мы негодующе ахаем, узнавая о сделках, некогда совершенных дельцами типа Арманда Хаммера, но вряд ли многие догадываются, что попытки тайных договоренностей о передаче иностранным гражданам или организациям принадлежащих СССР ценностей мирового значения вовсе не остались в прошлом. Иной раз мы узнаем о том, что принадлежало стране, только когда оно обнаруживается за морями и океанами; в иных случаях — уже никогда не узнаем, хозяевами чего когда-то были и как то или иное сокровище исчезло из страны.

Ныне, когда между СССР и Израилем ото дня на день крепнут и развиваются контакты, определенные круги в нашей стране, похоже, готовы закрепить намечающуюся дружбу ценным подарком. Поскольку о хранящихся в СССР драгоценных рукописях иудейского происхождения широкая общественность никогда не информировалась, представляется полезным сказать несколько слов о них и о происходящем вокруг них.

Еврейскими религиозно-политическими организациями в Израиле и США поднимается вопрос о рукописном фонде барона Давида Горациевича Гинзбурга (1857—1910), владельца Ленских приисков и знатока Каббалы. Фонд находится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Это второе в мире (после Британского музея) по величине и по ценности собрание средневековых еврейских рукописей, насчитывающее около 2 000 рукописных книг. В фонде хранятся уникальные произведения талмудической и каббалистической литературы, спо-

собные произвести революцию в текстологии Талмуда, если их опубликовать.

Учителем отца Д. Г. Гинзбурга Горация Осиповича Гинзбурга был известный гебраист Мордехай Сухоставер (1790 — 1880) — ученик знаменитого раввина Крохмаля, бессменного многолетнего секретаря деда Д. Г. Гинзбурга — Евзеля (Осипа) Гинзбурга. И сам Д. Г. Гинзбург был пристроен к двум знаменитостям в мире науки, а именно: к Нейбауэру — профессору раввинской литературы в Оскфордском университете и к Кишу — главному раввину Праги.

Это открыло ему доступ не только к богатейшей сокровищнице талмудической науки, но и обеспечило авторитет среди российского еврейства. Не случайно Д. Г. Гинзбург занимал сразу два очень важных поста: председателя Общества распространения просвещения среди евреев России и председателя Еврейского колонизационного общества в России, основателем которых был, между прочим, его отец.

Занятие этих постов определило и направление его деятельности по собиранию богатейшей библиотеки, где были представлены рукописи и инкунабулы XVI — XVII вв. Как знаток Талмуда и Каббалы Д. Г. Гинзбург задался целью открыть мировому еврейству новый центр талмудической и каббалистической науки, который до него был неизвестен широким кругам иудейских богословов.

Речь идет о судьбе так называемой «германской ветви» каббалистической литературы в Западной Белоруссии, которая начиная с XVII века превратилась в доминирующий жанр еврейской духовной традиции вообще.

По мнению Д. Г. Гинзбурга и его сторонников, материал этот для исследовательской работы талмудиста и гебраиста поистине уникален: 2/3 рукописей представляют собой неизвестные мировой юдаике (гебраистике) тексты (или фрагменты текстов) того, что именуется на языке талмудистов-текстологов «сетама де гемара», т.е. скрытая, тайная часть Талмуда.

Все это, естественно, обеспечивает удорожание во много, много раз каждой из единиц хранения среди этих рукописей. Только за одну из них несколько лет назад канадский раввин предлагал ГБЛ всю свою библиотеку стоимостью в миллион долларов.

Можно по-разному относиться к религиозным убеждениям талмудистов. Однако, вне зависимости от этого, следует ясно представлять — собрание Д. Г. Гинзбурга, как и все коллекции средневековых манускриптов, представляет ценность мирового значения как по содержащейся в ней информации, так даже и чисто в денежном выражении.

Однако, кроме уникальных древних манускриптов, в фонде находится документы, представляющие и иной, исторический интерес: в материалах фонда Гинзбурга обширно представлена рукописная гомилетика, где на все лады каббалистами обсуждается одна тема (хотя и в завуалированной форме): «Положение о евреях в России», обнародованное в 1835 г. Императором Николаем I. Именно этим правовым актом была санкционирована идея мирового еврейства о «колонизации» России евреями с целью ее расчленения и уничтожения. В рукописях, собранных Д. Г. Гинзбургом со всей России, обсуждаются практические меры по реализации этой идеи. В этом Д. Г. Гинзбург был верен памяти своего отца, который приложил немало усилий по мобилизации евреев Европы на осуществление задачи порабощения России. Именно для этой цели и был основан еще дедом Д. Г. Гинзбурга Банкирский дом (1859 г.) в Петербурге. Этот Банкирский дом был тесно связан с банкирскими монополиями Варбург, Мендельсон и Блейхредер (Берлин), Госкье (Париж) и др.

Анализ переписки Д. Г. Гинзбурга конца XIX — начала XX века с еврейскими общинами России, и особенно Палестины, показывает, что Д. Г. Гинзбург руководствовался известной запиской своего деда Евзеля, представленной в 1862 г. Царю Александру II, о необходимости насаждения земледельческого труда среди евреев.

В фонде имеются также (частью в автографах, частью в копиях) любопытные письма известных русских писателей, ученых, обращенные к Гинзбургу.

«Я от всей души сочувствую сионистскому движению, как протесту против того глубоко возмутительного отношения к евреям, которое господствует в современном образованном обществе как России, так и западной Европы. Сионистское движение вызывает симпатию с моей стороны также и потому, что я вижу в нем проявление высокого идеализма». Так пишет экономист М. Туган-Барановский (15. 02. 1901). А вот П. Н. Милюков: «Принципиально я вполне сочувствую смелой идее сионизма и могу лишь пожелать ему выйти победителем из тех серьезных затруднений и противоречий, которые возникают на его пути...» Высказав осторожные опасения, что сионизм, как движение национальное, может отвлечь евреев от борьбы с правительством за социальные права, он прибавляет, что «для очень значительной части массы путь к национальному самосознанию и к гражданскому правосознанию идет до известного пункта в одном и том же направлении. Это обстоятельство дает возможность — и даже налагает обязанность — горячо приветствовать сионизм...» (31. 01. 1901). Яркие художественные выражения имеются в письме М. Горького: «...мне глубоко симпатичен великий в своих страданиях еврейский народ, я преклоняюсь перед силой его измученной веками тяжких несправедливостей души, измученной, но горячо и смело мечтающей о свободе. Хорошая, огненная кровь течет в жилах вашего народа. Мне говорят, что сионизм утопия; не знаю,— может быть. Но поскольку в этой утопии я вижу непобедимую, страстную жажду свободы — для меня это реальность, для меня это дело жизни».

Что же происходит вокруг уникального фонда средневековых манускриптов и ценнейших исторических документов, который был национализирован после революции?

В начале 30-х годов «Еврейское агентство» по поручению библиотеки Иерусалимского университета направило наркому просвещения А. Луначарскому письмо, в котором утверждалось, что вдова Д.Г.Гинзбурга завещала его рукописное собрание Иерусалимскому университету. Наркомпрос, исходя из анализа документов Совнаркома по национализации рукописных сокровищ, обратился с запросом в Еврейскую теологическую семинарию в Нью-Йорке, в архиве которой имелась наиболее полная переписка по этому вопросу, в том числе с вдовой Д. Г. Гинзбурга. По запросу Наркомпроса завещания представлено не было. С этого момента вопрос о рукописях был снят и возник вновь только спустя полвека, в наши дни.

Вопрос о передаче рукописного собрания Д. Г. Гинзбурга в Израиль был поднят в 1979 году на встрече академика Е.Велихова с раввином А.Штейнзальцем, сопредседателем Мировой лаборатории от США и Израиля. Е. Велихов, один из основателей Академии мировых цивилизаций, в руководство которой вошел и А. Штейнзальц, вел в 1986-87 гг. официальные переговоры о судьбе собрания Гинзбурга с зам. директора ГБЛ И. В. Морозовой, переговоры, однако, закончились ничем.

Тогда же президент Израиля Хаим Герцог направил М. С. Горбачеву официальное письмо с просьбой передать в распоряжение Израиля собрание рукописей Гинзбурга, которое предварительно получило в Израиле статус «национальной святыни еврейского народа». Письмо передал лично Арманд Хаммер. Он же обсуждал вопрос о передаче рукописей с министром культуры СССР Н. Губенко.

Стал известен также любопытный документ, направленный из МИД СССР к и. о. директора ГБЛ А. П. Волику. В письме начальника управления стран Ближнего Востока и Северной Африки МИД СССР В. Колотуши за исх. № 1112/УБВСА от 06. 11. 90 говорится: «Израильская сторона проявляет интерес к находящейся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина коллекции барона Д. Гинзбурга, которая, по заявлениям израильтян и имеющимся публикациям, была завещана им еврейской публичной библиотеке в Иерусалиме (ныне Еврейская национальная и университетская библиотека). Прошу сообщить, что можно было бы ответить на обращение представителей Израиля по существу данного вопроса, включая фактическое состояние «фонда Гинцбурга», его юридический статус, возможности сотрудничества с израильской стороной по поводу этой коллекции».

Вскоре после этого запроса Москву посетил президент Всемирного еврейского конгресса Бронфман, встречавшийся с М. С. Горбачевым. По некоторым сведениям, вопрос о собрании еврейских рукописей был одним из ключевых на переговорах М. С. Горбачева с Бронфманом.

В настоящее время израильские раввины непрерывно посещают дирекцию ГБЛ, ведя переговоры о передаче фонда в Израиль.

Для тех, кому все еще кажется невероятным, что в «эпоху гласности» возможны загадочные закулисные операции с историческими ценностями, сообщим здесь о судьбе еще одного фонда.

Осенью 1989 года на Московской таможне была задержана при попытке вывезти в Израиль архив покойного ученого-этимолога Аарона Приблуды его племянница. Помимо фундаментальных исследований по этимологии еврейских фамилий А. Приблуда собрал материалы по истории еврейства в СССР. В архиве, занимавшем 13 больших коробок, находились в частности: картотеки евреев — членов всех революционных организаций, таких, как социал-демократы (большевики и меньшевики), анархисты, Бунд (с тщательной родословной и характеристикой каждого члена организации), картотека членов особых «троек» по всем губерниям, также с характеристиками, списки членов еврейской секции и еврейского бюро первого Политбюро, наркомата по делам евреев; множество картотек с характеристиками евреев: политических деятелей, военных, историков, писателей, артистов, врачей, членов Академии наук, Героев Советского Союза, Социалистического Труда, орденоносцев (хронологически эти картотеки были доведены до конца 70-х годов). Эта уникальнейшая коллекция содержала также ссылки на источники информации, на корреспондентов. Конфискованный таможней архив решением суда был признан государственной собственностью. Было решено передать фонд в Отдел рукописей ГБЛ (где находится и фонд Гинзбурга). В начале 1990 года были оформлены надлежащие бумаги для передачи фонда с баланса таможни на баланс библиотеки. Однако в последнюю минуту Главное управление таможенного контроля при Совете Министров СССР сообщило в отдел отечественного комплектования ГБЛ, что по указанию ЦК КПСС, от аппарата члена Политбюро А. Н. Яковлева фонд был вывезен на Старую площадь и после молниеносной (в течение одного часа!) экспертизы пожелавшего остаться неизвестным специалиста передан в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Так *государственная* собственность превратилась в *партийную*, хотя фонд мог быть очень интересен и для других партий и организаций. Для специалиста бросается в глаза, что по правилам Главного Архивного Управления профильными для ИМЛ считаются фонды деятелей международного коммунистического и рабочего движения, фонд же ученого-этимолога, хотя и содержал среди прочего сведения о революционерах, никак не должен считаться профильным для Института марксизма-ленинизма.

Какая судьба ожидает фонд А. Приблуды? На несколько лет он будет «на законных основаниях» закрыт для исследователей, как находящийся в обработке. Потом он вполне может быть за-

конио списан как непрофильный — и вновь, по частям или целиком, вывезен в Израиль.

Собрание Д. Г. Гинзбурга, конечно, мелкими манипуляциями переместить за пределы СССР невозможно. Но ввиду упоминавшихся выше дипломатических действий представляется не очень-то неверотным, что в результате акции «нового политического мышления», например, по президентскому указу, уникальное собрание уедет к нашим ближневосточным «друзьям». Наиболее вероятным каналом передачи фонда Гинзбурга может стать официальное соглашение, подписанное президентом АН СССР Г. Марчуком с Израильской академией наук о сотрудничестве в области научных исследований, которое уже дает свои плоды. Несколько месяцев назад, в ноябре 1990 года, руководство ГБЛ посетила представительная делегация в лице ученого секретаря отделения мировой экономики и международных отношений АН СССР А. И. Семенова и заместителя директора Института востоковедения АН СССР В. В. Наумкина, которые откровенно прощупывали почву о намерениях руководства Отдела рукописей и дирекции ГБЛ по поводу судьбы рукописей фонда Гинзбурга.

Вероятен также вариант заключения неравноправного договора с Израилем о публикации материалов фонда. Тайна, окружающая переговоры о судьбе фонда Д. Г. Гинзбурга, должна быть рассеяна.

М. МИХАЙЛОВ.
г. Москва.

---

## «РОД ПРАВЫХ БЛАГОСЛОВИТСЯ» [1]

Все очевиднее за последнее время становится разделение определенных слоев нашего общества на два лагеря, условно обозначаемых как лево-радикалы и консерваторы, или иначе: левые и правые. Такое разделение затронуло и Церковь. «Независимая христианская общественность», движение «Церковь и перестройка», Российское христианское демократическое движение, ХДС — вот левое крыло церковной жизни наших дней. Характерной особенностью этого экуменического по своему составу течения является крайняя политизация религиозного сознания его представителей, примат социального аспекта христианства над его мистической стороной, использование для достижения своих целей светских политических методов борьбы, другими словами, отрицание если не на словах, то на практике «благой части Марии» за счет Марфы, причем в протестантствующем ее виде.

Методы деятельности светских и церковных лево-радикалов аналогичны: у одних это борьба с аппаратом, у других — с епископатом; объединяющей доминантой у тех и других является ориентация на «цивилизованный» Запад.

Очень характерно и само наименование церковных лево-радикалов: демохристиане (так и напрашивается в середину этого словосочетания частица «но»)!

Известный литературный критик и публицист Вадим Кожинов очень точно подметил, что лево-радикализм, пользующийся ныне широкой популярностью, принес нашему Отечеству самые тяжкие беды: это и красный террор, погромные акции «Союза воинствующих безбожников», ликвидация кулачества, раскрестьянивание, раскazачивание, это и проекты переброски северных рек и уничтожение «неперспективных» деревень. Представляется, что по аналогии со светским лево-радикализмом, повторяющим путь революционеров, церковный лево-радикализм, или «демохристианство», есть также повторение пути *обновленчества*; движение «Церковь и перестройка» неизбежно встанет на стези движения «Живой Церкви», то есть раскола. Можно предвидеть возражение: мол, представители «независимой церковной общественности» все же борются с подавлением свободы Церкви со стороны безбожных коммунистических властей! Но где гарантия того, что, когда у власти окажутся идеологи теперешнего лево-радикализма, которому так симпатизируют демохристиане, они не установят над Церковью жесточайший «демократический» контроль взамен коммунистического или не вспомнят методы своих единокровных предшественников периода 20-х годов. Ведь даже такой апологет свободы и демократии, как академик А. Сахаров, в свое время крайне резко выступал против возрождения Православия в нашей стране, усматривая в нем националистическую и изоляционистскую направленность, которая является утопичной и потенциально опасной (А. Сахаров. «Тревога и надежда». М., 1990, стр. 71—72). Для лево-радикальных демократов внешне уважительное отношение к Церкви и вообще христианской тематике служит сугубо прагматической цели: обрести в лице Церкви политического союзника для демонтажа «империи», оставаясь абсолютно чуждыми самой христианской идее. Но убеждаясь, что втянуть Церковь в свою орбиту лево-радикализма им не удается, несмотря на всяческие заигрывания с ней, демократы перестраиваются на поддержку критикующего священноначалие церковного диссидентства и откровенных раскольников с целью расчленения на куски в конечном итоге не только государства, но и Русской Церкви.

Новое мышление — один из главных лозунгов перестройки. Также и перестройка церковная предполагает появление «нового» *церковного* мышления или обновление «застойного» религиозного сознания. Обновленчество в свое время было именно *обновлением* традиционного церковного мышления. Примеры *нового* церковного мышления обильно проявляются в последнее время. Вот мы видим в ряду первомайской демонстрации на Красной площади среди портретов Ленина, Сахарова, Ельцина появляется и... огромное Распятие, которое несет священник в рясе. Ленин — Сахаров — Ельцин — Христос!!! Обновленное церковное мышление несомненно предполагает и активное участие священника в воскресный день не в храме за Божественной литургией (какой пещерный консерватизм!), а в многотысячном политическом митинге у ресторана «Москва», где через мощные усилители среди бесчисленных «Долой!» раздаются здравицы в честь новой февральской революции и призывы брать штурмом Лубянку. Примечательно, что уже ни один крупный политический митинг лево-радикалов в Москве не обходится без *активного* участия народного депутата в рясе, с его «воскресными проповедями».

Но все это уже было в нашей истории. Сразу напрашивается историческая аналогия с героем «красного воскресенья» 9 января 1905 года и вдохновителем многих революционных выступлений начала века священником Георгием Гапоном. В те годы лево-радикальная пресса всячески покровительствовала популярному священнику-агитатору, подстрекая его к участию в митингах и манифестациях, где отец Георгий прямо призывал к вооруженному сопротивлению власти, к разгрому оружейных магазинов, к захвату тюрем, телеграфа и телефона, ко всеобщему восстанию. Так что, как видим, прецедент уже был, и довольно печальный. О таких священнослужителях пишет в своем первом Послании св. апостол Иоанн Богослов: «Они вышли от нас, но не были наши» (I Ин. 2, 19). Как современно в этой связи звучат слова святого патриарха Тихона, написанные более 70 лет назад и обращенные к служителям Церкви, которые «по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памятовать канонические правила святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических демонстраций» (из Послания святейшего Патриарха Тихона от 25 сен./8 окт. 1919 г.).

Для сознания православного верующего крайне важно разобраться, представляет ли в высшем органе народной власти депутат в рясе *Церковь* или же только *самого себя*, свою политическую самость, тем более что в телеинтервью священник-депутат не без удовлетворения заявил, что баллотировался он в народные депутаты без благословения правящего архиерея (то есть вопреки решениям Архиерейского Собора 1989 г.), следовательно, без благословения *Церкви*, ибо согласно св. Игнатию Антиохийскому «никто ничего, относящегося к Церкви, не может совершать без епископа, ибо без него нет Церкви».

Церковный лево-радикализм, то есть обновленчество, несовместим с глубинной сутью Православия (ортодоксией, неизменяемостью Христова учения и церковного Предания), ибо Церковь православная по природе своей всегда *консервативна*: Христос не был ни лево-радикалом, ни демократом, ни революционером, ни реформатором, и именно в этой ортодоксальности Церкви, ее консервативности и, говоря современным языком, «неплюралистичности» ее учения заключается сила Церкви и залог неодолимости ее вратами адовыми (Мф. 16, 18).

Церковь свидетельствует об абсурдности идеи прогресса, то есть об утопичности построения Царства Божиего на Земле. Именно поэтому Церковь была и остается *самым главным* врагом для масонства (духовного средоточия всей левой идеологии) как раз в силу диаметрально противоположного отношения масонства и Церкви к идее построения на Земле Царства Божиего. Поэтому, примыкая к лево-радикальному движению, верующий человек, а тем более пастырь, тем самым на деле подтверждает свое *неверие* в Божественное Откровение и учение Церкви Христовой, поклоняясь ложным идеалам всечеловеческой «свободы, равенства и братства» и, может быть, невольно становясь одним из «прорабов» возведения очередной Вавилонской башни, ибо думает не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16, 23).

Еще несколько лет назад Русскую Церковь и ее служителей обвиняли в *мракобесии*. Во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа иудеи обвиняли Его в том, что Он творит чудеса и изгоняет бесов силой вельзевула, князя бесовского (Мф. 9,34; 12,24). И это обвинение абсолютно *тождественно* обвинению Церкви в мракобесии: следовательно, такое обвинение свидетельствовало о духовной силе Церкви: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Если хозяина дома назвали вельзевулом, не тем ли более домашних его?» (Мф. 10, 24, 25). За последнее время Церковь

[1] Псалмы III, 2.

перестали обвинять в мракобесии, и это обстоятельство следует считать в некоторой степени опасным для нее симптомом, ибо Церковь, как и ее Глава, непрестанно свидетельствует, что «люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин. 3, 19), должна неизбежио вызывать в мире неприязненную реакцию. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо» (Лк. 6, 26). Другими словами, Церковь должна быть «неудобной» для мира, должна «кусаться»! Однако «кусаться» не как представители «независимой христианской общественности», «кусающие» исключительно государство, иерархию, Патриарха и Сталина. Церковь должна быть «неудобной» своим отношением к безумию мира сего и к проявляющимся все более заметно признакам пришествия в мир антихриста, который будет не коммунистом даже, по учению святых отцов, не атеистом, а будет религиозным обманщиком.

Вспомним св. праведного отца Иоанна Кронштадтского, которого при его жизни свирепо ненавидела лево-радикальная еврейская пресса, не гнушаясь никакой клеветой и откровенным глумлением, ибо он для нее был **опасен**: он обличал лево-радикализм разрастающейся революции, готовящей разложение государства, ратовал за обуздание безнравственной печати, сеявшей безверие в русском народе, и напоминал власти о ее обязанности, согласно Апостолу (Рим. 13, 4), употреблять меч во имя защиты общества, государства и Церкви. Ненависть к отцу Иоанну со стороны лево-радикалов была абсолютно аналогична ненависти древних иудеев к Иисусу Христу.

В заключение приведем выдержки из заметки Зинаиды Шаховской «Еще о правых и левых» («Литературная Россия», 1990, № 2):

«Недавно в дружеском кругу (французов) зашел разговор об этом, и началась игра «Ответьте: почему вы определяете себя правым?» По-русски вопрос звучит глупо: кто же хочет быть неправым?

Вопрос этот был задан и мне, ни к какой политической партии не принадлежащей. Я перевела вопрос в другую плоскость: правое место — почетное место. В правом углу висят иконы, по правую руку от хозяйки сажают почетного гостя, правую руку подают тем, кто рукопожатия достоин. Левой рукой наливают вино палачу, в левую сторону дует восприемник при крещении младенца, отрекаясь за него от сатаны. Наконец, как человек верующий, я надеюсь, что при всем моем недостоинстве во время Страшного суда для меня найдется хоть самое маленькое место по правую сторону моего Создателя, вместе с агнцами, а не на левой — среди козлищ...

И вот отчего все, что гордится своей левизной, кажется мне подозрительным».

К этим словам можно еще добавить, что из двух разбойников, распятых вместе со Христом, по **праву**ю от Него сторону был «разбойник благоразумный», сподобившийся спасения «во едином часе», тогда как по **леву**ю сторону висел разбойник, злословящий Спасителя, то есть в определенном смысле предшественник революционеров-атеистов более поздних веков. Такое промыслительное разделение да послужит напоминанием для всех, выбравших для себя и возлюбивших **левые** пути, неизбежно ведущие в погибель и проклятие (Мф. 25, 41).

**Сергей НОСОВ.**

